

ЗАРУБЕЖНАЯ
РОССИЯ
И
ГРИБОЕДОВ

Лицо
и
Гений

**ЗАРУБЕЖНАЯ РОССИЯ
и ГРИБОЕДОВ**

**ИЗ НАСЛЕДИЯ
РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ**

УДК 929 Грибоедов
ББК 83.3 (2 Рос=Рус) 1
Л 65

Составитель и автор вступительной статьи *М. Д. Филин* Комментарии и
общая редакция *В. А. Кожевников*
Художник *В. М. Мельников*

Л 65 **Лицо и Гений. Зарубежная Россия и Грибоедов.** / Сост. и предисл. *М.Д. Филина*.
Ред. и коммент. *В. А. Кожевникова*. — М.: Русский миръ, 2001. — 320 с., ил.
ISBN 5-89577-029-0

«Грибоедов в русском сознании еще не поставлен на должную высоту», — эти слова одного из русских пореволюционных эмигрантов можно считать девизом отношения граждан Зарубежной России к личности создателя «Горя от ума». В течение многих десятилетий представители «первой волны» эмиграции изучали жизнь и деятельность замечательного писателя, государственного деятеля и патриота, создав целый корпус работ, имеющих непреходящую ценность.

Вошедшие в данный сборник избранные труды изгнанников о Грибоедове отличаются жанровым разнообразием; здесь представлены историко-литературные и биографические очерки, философская публицистика, научные штудии, рецензии и др. Эти сочинения были написаны в 1920-1980 гг. и опубликованы в Праге, Берлине, Париже, Белграде, Риге, Кламаре, Нью-Йорке и других центрах русского рассеяния.

УДК 929 Грибоедов ББК 83.3 (2Рос=Рус)1

© Составление, вступительная статья.
М. Д. Филин. 2001
© Комментарии, указатели.
В. А. Кожевников. 2001
© Художественное оформление.
В. М. Мельников. 2001

ISBN 5-89577-029-0

© «Русский миръ», 2001

Прежде всего, поясним: данный сборник продолжает серию книг, призванных познакомить российского читателя с коллективным взглядом первой русской эмиграции на то или иное «историческое лицо». Задача серии — дать просвещенной отечественной публике более или менее «репрезентативную» подборку трудов о выдающихся россиянах (или — о выдающихся фактах русской истории), которые были созданы пореволюционными изгнанниками, гражданами Зарубежной России. Уже вышли в свет первые книги этой серии — о Владимире Святом, Пушкине, Лермонтове, «Слове о полку Игореве»; теперь пришел черед и томику, герой которого — Александр Сергеевич Грибоедов.

Вошедшие в сборник сочинения были написаны людьми различных политических и эстетических воззрений; разнятся и жанры их опытов: здесь представлены историко-литературные и биографические очерки, научные филологические штудии, философская публицистика, рецензии... Эти работы публиковались в 1920—1980 гг. в Праге, Берлине, Париже, Белграде, Риге, Нью-Йорке и прочих центрах русского рассеяния. Почти все труды до сих пор неизвестны в России.

Александр Сергеевич Грибоедов... Вышло так — и, видимо, не случайно — что для нас он, в первую очередь, — автор одной-единственной бессмертной комедии; во вторую (коли доходит разговор до второй) — «декабрист без декабря», чуть ли не член тайного общества, чудом избежавший расправы; далее же начинается скороговорка, петит: дипломат, музыкант, сложный характер, большой ум и прочее.

Так повелось в нашей стране давно, еще с прошлого века — и столь же давно стало почти не нарушаемой традицией.

Но первая русская эмиграция — или, по крайней мере, отдельные влиятельные ее представители — сумели наметить иные подходы к изучению феномена Грибоедова, смогли предложить отличную от принятой иерархию «добродетелей» этого удивительного, недооцененного соотечественниками человека.

* * *

Иные подходы возникли в контексте эпохи, стали следствием умонастроений эмиграции, но все же должно отметить особую роль П. Б. Струве, который создал одну из наиболее глубоких эмигрантских работ о Грибоедове, где как бы уловил витающие в беженском воздухе идеи и переосмыслил их в стройную концепцию «Лица и Гения». Он, в частности, утверждал:

«Лицо» — это человек как человек, как личность, совершенно независимо от того, что и как эта личность творила и творит.

Гений — это творящий и творческий «демон» человека, то, что он воплощает, в чем он вовне воплощается.

Можно быть лицом, и очень крупным, и никогда ничего не сотворить, ни во что не воплотиться.

И, с другой стороны, гений человека может быть единственно ярким, единственно интересным и прочным во всей его личности, в его лице, и вне своего творчества человек может быть скуден и скучен, убог и бледен.

Великие творцы всегда ясно ощущали, что лицо и гений как-то в них различествуют, хотя как-то друг на друга и опираются, и указуют» («Россия и Славянство», Париж, 1929, № 21, 13 апреля).

П. Б. Струве как политический деятель и мыслитель не раз оказывал эмиграции неоценимые теоретические услуги, жестко и точно формулируя суть какой-либо проблемы. Так произошло и в случае с Грибоедовым. Его рассуждения о «лице» и «гении» не были абсолютно оригинальными: данную тему, порою в тех же

терминологических параметрах, художники и философы осваивали и раньше. Но приложение схемы именно к Грибоедову следует, видимо, считать интеллектуальной новинкой, причем довольно удачной. Забегая вперед, скажем, что в рамках концепции «лица и гения» П. Б. Струве сделал еще одно, важнейшее для науки о Грибоедове, заявление. Его значение, как будет показано ниже, трудно переоценить.

Анализируя корпус выявленных эмигрантских работ о Грибоедове, можно убедиться, что практически все сочинения удобно укладываются в двухчастную схему П. Б. Струве: изгнанники или вглядывались в «лицо» автора «Горя от ума», или пытались проникнуть в тайну его «гения»; иногда писавшие ставили перед собой «сверхзадачу» и действовали на обоих направлениях.

Пик интереса Зарубежной России к Грибоедову пришелся на 1929 год, когда эмигранты отметили столетие со дня трагической и геройской кончины писателя. Во многих уголках русской ойкумены прошли собрания и вечера, были напечатаны статьи: и бесхитростно-юбилейные, и вполне серьезные, аналитические. И до, и после памятной даты работы о Грибоедове мелькали в прессе Зарубежья лишь эпизодически; да и с учетом юбилейных поминок общее количество таких трудов невелико. Исходя из этого можно предположить, что в эмигрантском пантеоне «культурных ценностей» Грибоедов занимал примерно то же место, что и в России, дореволюционной и советской, — был заметно позади корифеев, чьи имена у всех на слуху.

Итак, представители первой эмиграции изучали «лицо» Грибоедова — и, пожалуй, в этих писаниях не слишком преуспели. «Грибоедов ускользает от нас, и такой ускользающей, почти загадочной тенью он в нашей литературе остался», — сокрушался Г. Адамович (*«Последние Новости», Париж, 1929, № 2878, 7 февраля*). Чаще всего они повторяли общеизвестное: про его ум («самая важная и определяющая черта», П. М. Пильский), про высокомерие и «душевную броню» (А. А. Кизеветтер), про несмышленную и несчастную Нину Чавчавадзе... Приводили одни и те же цитаты из «Горя от ума», ссылались на «канонические» слова Пушкина (кажется, не очень вдумываясь в них), на столь же обязательную статью И. А. Гончарова (почему-то упорно называя ее *«Миллион терзаний»* (*В данном сборнике этот распространенный казус исправлен*)), на трактаты Н. К. Пиксанова, «лучшего биографа Грибоедова». Те, кто сконцентрировался на «лице» персонажа и избитых истинах, нередко — и по-своему логично — выказывали довольно сдержанное отношение к Грибоедову. «В сущности, и мы, ценя и высоко ставя Грибоедова, восхищаясь им, — его едва ли любим», — признавался тот же Г. Адамович. А М. Цетлин выразился определеннее: «Сама личность Грибоедова не вызывает очень большого сочувствия» (*«Современные Записки», Париж, 1929, № 38. С. 529.*). Последняя цитата весьма показательна: публицист, ведя речь о «лице» писателя, отождествил оное с «личностью», то есть с «гением» — и тем самым не только заузил масштабы грибоедовской личности, но и фактически выхолостил содержание присущего Грибоедову «гения».

Надо, однако, упомянуть и о заслуге изгнанников, тяготевших к «лицевой» области. Изучавшие преимущественно Грибоедова-человека имели серьезного союзника в СССР — Ю. Н. Тынянова. Роман модного формалиста «Смерть Вазир-Мухтара» — это художественное исследование как раз «лица» Грибоедова, очень субъективное и манерное, вдобавок наспигованное соответствующими идеологическими штампами и аллюзиями, типа исподволь навязываемых идей о «ренегатстве» писателя, об измене делу друзей-декабристов, о «единственном друге» Фаддее Булгарине и т. п. (К сожалению, этот роман стал для нескольких поколений доверчивых читателей главным, а подчас и единственным источником сведений о Грибоедове; да и ныне он исправно переиздается). Был опубликован роман и в Зарубежной России — это сделало в юбилейном 1929 году берлинское издательство «Петрополис». Новинка широко обсуждалась в прессе, и отрадно отметить, что большинство критиков отозвалось о ней

не слишком хвалебно, предъявив автору претензии не только политического свойства, но и указав на искажение черт «лица» героя (о «гении» и говорить нечего) (*По имеющимся сведениям, только Д. П. Святополк-Мирский («товарищ князь») откликнулся на роман благожелательно и вполне «по-советски», выделив любезные Ю. Тынянову и «агитпропу» моменты («Евразия», Clamart, 1929, № 13, 16 февраля). Здесь, помимо прочего, должно учитывать, что этот самообытный деятель в ту пору уже готовился к возвращению в СССР, где он вскоре разделит печальную участь многих*)).

Разумеется, эмигранты уделили должное внимание «Горю от ума». Они заявили, что Грибоедов «начал взрослую русскую литературу» (И. И. Тхоржевский), опубликовали ряд научных и публицистических статей о комедии, создали пособия по ее изучению в беженской школе. Повторяли, как водится, слова о «декабризме» и «миазмах аракчеевщины» (А. А. Кизеветтер), однако отметили и несозвучие некоторых «прогрессивных» мыслей Чацкого современности, неуместность в эпоху катастрофы сатиры на милую в чем-то «грибоедовскую Москву». Комедия «для нас — далекое прошлое, в нашу современную психологическую жизнь она действительно не входит», — подчеркнул А. Луганов. А С. Яблоновский на основании собственного педагогического опыта сделал вывод о том, что для вступающего в жизнь молодого эмигрантского поколения Чацкого как будто нет, он дискредитирован, «исчез», «умер» (ведь он для детей эмиграции — предтеча «тех, кто погубил Россию»). Владислав Ходасевич, напротив, исходил не из конъюнктурных соображений — и тоже засомневался, правда, уже по иному поводу: «...В глубокие минуты, когда мы, наедине с собой, ищем в поэзии откровений более необходимых, насущных для самой души нашей, — станем ли, сможем ли мы читать «Горе от ума»? Без откровения, без прорицания нет поэзии» (*«Возрождение», Париж, 1929, 11 февраля*). Большинство же писавших не ведало подобных сомнений — и произносило подобающие, временами неистертые и умные слова. Подытоживая, скажем, что представители Зарубежной России внесли посильный — и немалый — вклад в библиографию одного из перлов русской словесности. Один этот факт достоин высокой научной и нравственной оценки потомков. Однако эмигранты смогли пойти и дальше — смогли оказать Грибоедову и иную услугу: кажется, им, «в рассеянии сущим», удалось подыскать свой ключ к тайне грибоедовского «гения».

Вот мы наконец и приблизились к самому главному.

«Все же можно сказать, что других «дел», кроме гениальной комедии, по нем не осталось». Есть основания предполагать, что очень многие обремененные знаниями граждане без особых раздумий подписались бы под таким приговором Грибоедову. Их можно понять: они воспитаны в духе упрощенного, донельзя узкого (так и хочется сказать — «тыняновского») воззрения на «труды и дни» Грибоедова. Однако для Зарубежной России приведенные слова Н. К. Кульмана (*«Россия и Славянство», Париж, 1929, № 12, 16 февраля. Там же, 1929, № 21, 13 апреля*).

были скорее исключением, нежели правилом. В том-то и заключается доблесть эмигрантов (точнее, их части), что они, вознося хвалу «Горю от ума» и отводя комедии самое почетное место в истории родной литературы, сумели-таки по достоинству оценить и так называемые «другие дела» Грибоедова. Всеобъемлющий взгляд на него как на уникальное явление *русского бытия* (а не только литературы!) в общих чертах сформулировал, как сказано выше, Петр Бернгардович Струве.

В 1929 году, выступая на вечере в Белградском Союзе Русских Писателей и Журналистов и размышляя вслух о «лице и гении Грибоедова», он, в частности, сказал следующее: «Не как человек, не как лицо, а как патриот и деятель — а таковой является всегда творцом и всегда внушаем гением — Грибоедов был гораздо больше и сильнее, чем как писатель» (*Там же, 1929, № 21, 13 апреля*). Развивая и заостряя эту мысль, делая ее как бы более очевидной и «популярной», оратор даже «перегнул палку», заявив о «литературной серости и посредственности» героя (спорная сентенция не

относилось, понятно, к прославленной комедии). По мысли П. Б. Струве, Грибоедов был велик тем, что обладал «гением» многогранным, приложимым (и приложенным) не только к литературе; его дипломатическую деятельность, патриотическую и общественную позицию, наконец, его личное «самостоянье» должно с полным на то основанием рассматривать как творчество, причем творчество опять-таки «гениальное», в высшей степени достойное, продуктивное, завершённое. И посему никак не был Грибоедов «всего-навсего» автором одной комедии — наоборот, одна комедия была *частным проявлением* огромного, щедро выплеснутого в жизнь «гения», толикой богатого дара человека своим соотечественникам, которые, увы, проглядели большую часть этого дара, а самого дарителя сочли «тенью».

Как тут не вспомнить Пушкина: ведь и тот, уважая современника за «Горе от ума» (за его «дело»), все-таки ставил Грибоедова *гораздо выше* его произведения и еще выше — героя комедии. Без устали цитировались и цитируются слова поэта, едва ли не вызубрили их наизусть — но мало кто вдумался в сокровенный смысл произнесенного Пушкиным. «Мы ленивы и нелюбопытны», — счел нужным прибавить тот именно к своим «грибоедовским» строкам (в «Путешествии в Арзрум»).

Здесь уместно заметить, что по скорбному стечению обстоятельств судьба эмигрантов в чем-то была сходна с грибоедовской. Жили люди в России начала XX столетия, что-то делали и подчас неплохо, говорили и писали, служили и прислуживались, строили планы, много планов, в том числе и творческих, — но вдруг все переменялось, пошло прахом, и суждено было тем людям поневоле покинуть отечество и, как некогда полномочному персидскому посланнику, трудиться во благо его (ведь отечество обязательно, вот-вот возродится) на далекой чужбине...

«И дым отечества нам сладок и приятен!»...

Они и трудились, и служили России: статьями, книгами, заботами о сбережении русскости, всем, чем могли... Служили — и постепенно понимали, что случаются у людей периоды, когда наступает «момент истины», когда *сама жизнь, самостоянье* могут быть не просто отправлением должности, но высоким творческим подвигом; когда стойкость в вере, в любви к родине, в убеждениях и сопутствующий этой стойкости «миллион терзаний» есть признаки несомненного «гения». Вот почему эмигранты, страждущие и мудреющие, вспоминая о Грибоедове, вполне искренно почитали его комедию — но не менее искренно почитали его как «гражданина, слугу Царя и сына своего Отечества» (А. Никольский). Словно для них, пореволюционных беженцев, Грибоедов однажды молвил, что судьба-де «рукою железною закинула меня сюда, но по доброй воле, из одного любопытства, никогда бы я не расстался с домашними пенатами, чтобы блуждать в варварской земле». Словно для них был увековечен и постыдный фантом русского быта, «французик из Бордо», увиденный теперь воочию в туземном интерьере. Как никогда ранее стали близки и понятны слова, сказанные о Грибоедове его современником: «Мне не случилось в жизни ни в одном народе видеть человека, который бы так пламенно, так страстно любил свое отечество, как Грибоедов любил Россию». Столь же живой отклик в эмигрантских душах ныне, в изгнании, находили и прочие мысли Грибоедова: о Православии, о защите российских интересов в мире и об отпоре проискам недругов, о верности государю, о великорусской гордости...

Думается, что в отношении представителей Зарубежной России к своему соотечеству проступали следы собственного раскаяния, «змеи сердечной угрызенья»: ведь они так и не смогли в нужный момент быть под стать Грибоедову. Зато теперь, будто что-то наверстывая, изгнанники упорно выделяли соответствующие грани грибоедовского «гения»: «патриотическое горение (П.Б. Струве), «выдающийся государственный ум» (а не просто ум; А. Погодин), редкостный даже для Империи эпохи ее величия дар «государственника и националиста» (он же) и т. д. Нетрудно догадаться, что *такие* темы могли усердно обсуждаться только в правой, консервативной (и не слишком

обширной) прессе; господствовавшая же в Зарубежье либеральная печать предпочитала публиковать материалы о «лице» Грибоедова или идейно-выдержанные беседы о «Горе от ума».

«Грибоедов в русском сознании еще не поставлен на должную высоту», — справедливо заметил один из беженцев, И. И. Тхоржевский. Будем говорить откровенно: не смогла совершить подобающего мировоззренческого усилия и первая эмиграция. У нее, прежде всего, не хватило ни времени, ни сил на это деяние; к тому же в глобальных идеологических программах эмигрантов были задействованы иные славные имена (в первую очередь — Пушкин). Но все же оказавшиеся на чужбине люди сумели верно поставить вопрос о широчайшем «гении» Грибоедова — и, сотворив такое благое дело, сделали шаг в нужном для отечественной общественной мысли направлении. О подобных маленьких промежуточных победах стоит и знать, и помнить.

А помня и зная, давайте надеяться, что инициатива ушедших будет поддержана и развита, притом не без нашего участия. Ведь мы все в долгу перед Грибоедовым, и сей долг — наше общее неизжитое горе, горе от чего угодно, но только — уж извините — не от ума.

М. Д. Филин

ИЗ НАСЛЕДИЯ РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ

«Цена крови» Грибоедова

For East is East, and West is West,
And never the twain shall meet.
R. Kipling

*(Восток есть Восток, и Запад есть Запад,
и они никогда не встретятся.
Р. Киплинг (англ.)).*

Грибоедову было двадцать три года, когда его назначили впервые на службу в Персию, и с тех пор жизнь его тесно переплелась с Востоком. Но лишь внешне.

По сравнению с «Горем от ума» все остальное, написанное Грибоедовым, явно ничтожно, но Кавказ, модная тема того времени, еще находит отзвуки в отрывках и мелких стихотворениях автора великой комедии. О Персии можно сказать и того меньше: ей посвящены лишь его официальные донесения, правда, наблюдательные, умные и ясные, но все же плоды казенного творчества.

Не любил Грибоедов эту страну. Для него с его влечением к литературе, музыке, театру, веселым приключениям, с его «честолюбием, равным его дарованиям» (Пушкин. «Путешествие в Арзрум»), Персия была мрачной «ссылкой к дикообразным азиатам», и он на протяжении десяти лет не перестает клясть ее на всех языках.

Грибоедов интересовался Востоком, неверной рукой выводил арабские письма, выписывал книги через Булгарина, собирал сведения, вел дневники, но все это, занимая ум, оставляло пустыню в сердце. Этот разлад внутренней жизни и внешних впечатлений проходит сквозь всю жизнь Грибоедова, и нелегко было его выдержать.

Самый характер Грибоедова, неровный, резкий, порывистый и прямой, так мало подходил к безвольному, усталому Востоку. Нужно гораздо больше спокойствия, созерцательности и юмора, чем у автора бичующих монологов Чацкого, чтобы схватить и оценить ритм пестрой и несвязной жизни, привыкнуть к смеси суеверий и преувеличений, сладких вежливостей и вычурных обрядностей, наивных вероломств и видимой податливости, за которой кроется цепкая и упорная самооборона против внешних вторжений в вековой уклад быта.

Начальник Грибоедова А. П. Ермолов, выразитель чувств русской лавины, напиравшей с Севера на Средний Восток, дал тон высокомерному отношению к персидской дряблости в своем замечательном дневнике путешествия 1817 года. Стоит припомнить, как при виде ослепленного по шахскому приказу Эри-ванского Хана он своими коваными фразами громит приближенных Хана, которые в своем раболепстве старались представить «излишество органа зрения».

По духу времени и вкусу
Я ненавижу слово: раб, —

писал Грибоедов в 1826 году, и этим определялись также и его суждения о Востоке, — не в исторической перспективе, а с точки зрения либерализма друга декабристов. Едва вступив на персидскую землю, он уже восклицал: «Рабы, мой любезный! И поделом

им. Смеют ли они осуждать верховного их обладателя» (*Путевые письма, 10 февраля 1819 года.*). Пусть в Тавризе мелькнет случайно живое увлечение (*малоизвестный эпизод с героиней-французженкой*) или соберется компания по-своему интересных людей (*О пестром европейском обществе в Тавризе тех времен см. заметки английских путешественников в Rilter. Erdkunde, IX, 1840, 880; на одном вечере присутствовало 26 гостей, принадлежавших к 13 национальностям.*) — все это мимолетные проблески; а восточная тягучая обыденность, оттеняемая казенной работой, царит над всем, и не лежит к ней сердце Грибоедова.

Кажется, нет выхода из лабиринтов закоулков, извивающихся среди высоких земляных стен бесконечного восточного города. На закате солнца одна в Тавризе прогулка — по плоской крыше своего дома. Как в клетке, стучат шаги по небольшому глинобитному квадрату. На юге блекнут редкие снега Сахенда, над верхними садами высятся рыжие скалы, и лишь на север — к России — тянется широкая равнина. Когда в городе засветятся огоньки, потянет дымком очагов и на соседних дворах зашевелиятся женские тени, еще ярче чувствуется заколдованный и непроницаемый круг восточной жизни.

For East is East, and West is West,
And never the twain shall meet.

Перед глазами невольно встает грозная твердыня московских устоев, светлые проблески дружбы, непонятость, промахи, обиды сердца, «миллион терзаний»... Даже во сне видится далекая и волнующая столица. Вот праздничный вечер, ряд зал, «Длинная боковая комната», и дружеский голос у самой щеки мягко корит за леность.

«Вынудили у меня признание, что я давно отшатнулся, отложился от всякого письма, охоты нет, ума нет — вы досадовали. — Дайте мне обещание, что напишете. — Что же вам угодно? — Сами знаете. — Когда же должно быть готово? — Через год непременно. — Обязываюсь. — Через год, вы клятву дайте... — И я дал ее с трепетом... В эту минуту малорослый человек в близком от нас расстоянии, которого я, давно слепой, не довидел, внятно произнес эти слова: «Лень губит всякий талант»... А вы, обернувшись к человеку: «Посмотрите, кто здесь»... Он поднял голову, ахнул, с визгом бросился мне на шею... дружески меня душит... Катенин... Я пробудился.

Хотелось опять позабыться тем же приятным сном. Не мог. Встав, вышел освежиться. Чудное небо. Нигде звезды не светят так ярко, как в этой скучной Персии. Муэдзин с высоты минарета звонким голосом возвещал ранний час молитвы, ему вторили со всех мечетей, наконец ветер подул сильнее, ночная стужа рассеяла мое беспамятство, затеплил свечку в моей храме, сажусь писать и живо помню мое обещание: во сне дано — наяву исполнится» (*Письмо князю А. А. Шаховскому, Тавриз, 17 ноября 1820 года, час пополуночи.*).

В служебном изгнании, среди чуждого Востока создавались картины «Горе от ума» (*В ноябре 1819 года Грибоедов в Тифлисе читал стихи из «Горя от ума», которое только было набросано. Булгарин упоминает веший сон Грибоедова в Персии, после которого было сочинено «несколько сцен первого акта... комедия сия заняла все его досуги...» См. также стр. 13 введения к изданию «Горя от ума» В. Л. Бурцева, Париж, 1919.*). Вспоминаются чувства Мицкевича: «Литва, моя отчизна, ты, как здоровье; только тот поймет, как тебя надо ценить, кто тебя утратил».

Летом 1823 года Грибоедов вырвался в Россию, и в это время были закончены третий и четвертый акты великой комедии. Это возвращение в Москву «было переворотом в его судьбе и началом непрерывных успехов», как свидетельствовал впоследствии Пушкин.

Но не прошло трех лет, как Грибоедов был вновь в Персии с русскими войсками и вел переговоры, закончившиеся Туркманчайским миром. Много интересных сведений и тонких замечаний рассеяны в политических донесениях Грибоедова, но сто лет назад

вопросы ставились грубо и ясно, и взгляды на войну были упрощенные: наложить дань в пять миллионов туманов, присоединить две провинции. В этой обстановке было не до взаимного понимания и сближения; «вероломные азиатцы», по-восточному склоняясь перед силой, пытались хитростью поправить свои дела и плохо скрывали свою ненависть к тому, что они называли «уруслах» (*В приложении к русским то, что в отношении татар обозначает русское слово татарщина*).

Когда в третий раз — в 1828 году — Грибоедова отправили в Персию, на этот раз посланником, он нисколько не обольщался относительно своей судьбы: «Нас там непременно всех перережут, — говорил он Жандру, — Аллаяр-Хан мой личный враг, не подарит он мне Туркманчайского трактата». О себе Грибоедов пишет искренне и просто: «Il me semble que je ne suis pas assez bon pour ma place; il faudrait plus de savoir faire, plus de sang-froid» (*П.Н. Асвердовой, ноябрь 1828 года. «Кажется мне, что не очень я гожусь для моего поста; здесь нужно больше умения, больше хладнокровия» (фр.)*). Мрачные предчувствия и дурные приметы преследуют его, даже когда он стоит под венцом. Свадебное путешествие полно забот, и чем дальше, тем больше затягиваются над его жизнью какие-то роковые узлы.

Главными задачами русского представительства в Персии в это время были возвращение пленных и получение контрибуции. Грибоедов подтверждал тяжелое состояние персидской казны и добавлял, что наследника престола не следовало бы доводить до крайности денежными требованиями. «Аббас-Мирза расстался со всеми своими драгоценностями, чтобы заложить их нам; его окружающие и даже жены должны были сдать свои бриллиантовые пуговицы, которыми они украшали свои одежды. Это — нищета превыше всякого описания», — писал Грибоедов в конце 1828 года. Наследник велел расплавить в слитки золотые канделябры, работа которых стоила столько же, сколько и материал. За 7000 туманов был заложен золотой трон каджарской династии, «с которым здесь весьма неохотно расстались, ибо он почитается государственной регалией». Сами выражения Грибоедова показывали ясно, как не лежало его сердце к тому, что он должен был делать: «До моего сюда прибытия выколотили у них 200 000 туманов, за 25 дней — я у них насилу мог изнасиловать 50 тысяч» (*Донесения 20 и 30 октября. 30 ноября и 2 декабря 1828 года.*). Очевидно, надо было остановиться, но суровая николаевская казенная машина шла своим ходом, и Грибоедову оставалось лишь нажимать на винт, давивший персов.

Если ясный ум понимал обстановку, то чувства по-прежнему были далеки от окружающей жизни, между которой и Грибоедовым ширилась пропасть и отчуждение. За два месяца до своей смерти он так писал своей приятельнице (*В. С. Миклашевич из Тавриза, 3 декабря 1828 года.*): «Что сказать Вам о моем быте. Наблюдаю, чтобы отсюда не произошла какая-нибудь предательская мерзость во время нашей схватки с турками. Внимаю контрибуцию довольно успешно. Друзей не имею никого и не хочу: должны прежде всего бояться России и исполнять то, что велит Государь Николай Павлович, и я уверяю вас, что в этом поступаю лучше чем те, которые затеяли бы действовать и втираться в персидскую будущую дружбу. Всем я грозен кажусь, и меня прозвали *сахтир* (Надо исправить: сахт-гир, по-персидски «крепко, резко хватающий»), *соег диг* (*жестокое сердце (фр.)*).

И как странно преображается все существо Грибоедова, когда он говорит о своей внутренней домашней жизни; так и чувствуешь, как ноги сами несут его, когда после тревожного дня он спешит в свой «гарем», где у него «и сестра, и жена, и дочь — все в одном милом личике».

Только три с половиной месяца семейного счастья, и Грибоедов один выезжает из Тавриза в Тегеран. С полпути, из Казвина, он пишет жене: «Грустно без тебя, как нельзя больше. Теперь я истинно чувствую, что значит любить. Прежде расставался со многими, к которым был кровно привязан, но день, два, неделя, и тоска исчезала, теперь чем далее от тебя, тем хуже. Потерпи еще несколько, ангел мой, и будем

молиться Богу, чтобы нам после того никогда более не разлучаться». И тут же: «Пленные здесь меня с ума свели. Одних не выдают, другие сами не хотят возвратиться».

Опять толпы «Джафар-ханов», споры, увы, подчас резкие и запальчивые, «египетский труд» выколачивания контрибуции, отправление на родину пленных и пленниц, покидающих свои новые персидские семьи, разбуженная ревность и негодование, потревоженный Восток... А большому, горячему сердцу хочется одного: скорее назад, в родной уголок, уже полный предчувствием новых радостных забот. Грибоедов был крут и несдержан, а Молох российского престижа неумолим. Там где-то, в глубине базаров, у темных ниш мечетей вспыхнули, как искры, слова: *шариат*, *гяур*! Восток забудет и родину, но не свой уклад и быт.

Еще вечером Грибоедов сочинял ноту протеста персидскому правительству по поводу тревожных слухов, но за ночь слова уже выросли в грозную волну, и наутро 30 января 1829 года она смела и дом «зембурекчи-баши» (*Дом «начальника верблюжьей артиллерии», отведенный Грибоедову, находился вблизи южных (Шах-Абдул-Азимских) ворот Тегерана. Впоследствии русская миссия была перенесена в городскую цитадель, а затем в квартал Паменар. Тело Грибоедова, будто бы узнанное по сведенному пальцу, было отправлено в Тифлис, а остальные убитые были похоронены на городском валу, откуда останки их при посланнике Медеме были перенесены в старую армянскую церковь. См. Baron de Bode, «Travels in Luristan». 1845, I, в начале*), и кучку мужественно оборонявшихся русских.

* * *

Документ, перевод которого ниже печатается, характерен именно как свидетельство о той *непонятости*, которой Грибоедов был окружен в Персии, как указание на существование двух миров, соприкасавшихся и не сливавшихся.

Фетх-Али-Шах, вскоре после убийства Грибоедова, пишет своему сыну, принцу Али-Наги-Мирзе Рукнуд-доуле. Принц этот был казвинским губернатором и принимал участие в переговорах с Россией, которые велись непосредственно между графом Паскевичем и наследником престола Аббас Мирзой Наибус-Сальтане, находившимся в Тавризе. Шах встревожен слухами о «цене крови», которую за убийство русской миссии будто бы собирается потребовать Русское правительство. Никакой злобы против Грибоедова в грамоте Шаха не чувствуется- вздувшаяся внезапно восточная река вновь потекла спокойно и ровно. Шах боится, как бы его предприимчивые сыновья не обошли его. Он подробно вычисляет издержки, прикидывает цену убитого повара и пропавших лошадей, требует гарантий и подтверждений европейцев.

Шах был прав. В официальной переписке сохранились данные о том, что «цены за кровь» Россия и не думала требовать. Предлог выдуман наследником престола, вечно нуждавшимся в деньгах на свои затеи и экспедиции, чтобы получить пособие от отца. Командированный в Персию князь Долгорукий раскрыл интригу, мешавшую окончательной ликвидации тегеранских происшествий, и для разъяснения Шаху истинных русских требований в Тегеран отправился принц Али-Наги-Мирза, адресат нашего документа.

Россия настаивала лишь на двух пунктах: на присылке посольства с извинением и на наказании виновных. Удовлетворение по первому пункту дано было миссией в Петербурге Хосров-Мирзы, сына наследника престола, весьма успешно выполнившего свою роль: Николай Первый на торжественной аудиенции заявил, что предаст происшествие забвению, а кроме того Хосров-Мирза добился и рассрочки, вернее, сложения Двух последних куруров контрибуции, наложенных на Персию. В отношении второго пункта до сих пор существуют большие неясности. Персидские источники подтверждают изгнание из Тегерана Хаджи-Мирза Месиха, влиятельного

духовного лица, явившегося главным подстрекателем беспорядков. С другой стороны, князь Долгорукий в пространном донесении сообщил в Петербург о ряде кар и экзекуций, которым Шах подверг Тегеранскую чернь, участвовавшую в бесчинствах. Доклад, видимо, основан на данных, сообщенных самими персами, и можно думать, что подчиненные не пожалели красок для преувеличения гнева своего властелина. Шах, кроме того, не спешил с приемом князя Долгорукого, который принужден был поехать за ним в Хамадан.

Часть вещей Грибоедова, оставшаяся в Реште, была возвращена его семье. Жена Грибоедова, заслужившая общее уважение за то достоинство, с которым она до смерти носила траур по своему краткому супружеству, очевидно, и не приняла бы никаких вознаграждений от персов. Ей, по ходатайству родственника Грибоедова, графа Паскевича, была назначена лишь скромная русская пенсия.

Надо упомянуть, что русское правительство было очень не расположено раздувать события. Канцлер граф Нессельроде, получив вест о кончине Грибоедова, поспешил приписать происшествие его несдержанности. Россия только что вышла из войны с Персией, далеко не представлявшей условий неравенства по численности и снаряжению сторон. Тяжелая служба николаевских времен вызывала значительное дезертирство, и из русских беглецов персы даже формировали в Тавризе батальоны. С другой стороны, шла война с Турцией, и Паскевич — между смертью Грибоедова и отправлением к Шаху командированного из Петербурга князя Долгорукого — успел послать в Тавриз к Аббас-Мирзе особо доверенное лицо, ротмистра Кудашева, который вел тайные переговоры с целью заманить наследника престола к выступлению против Турции, обещая Персии Ванский санджак, в 1823 году уже занимавшийся персами, хотя и неудачно. Так жизнь своей паутиной спешила затянуть воспоминания о тегеранской трагедии.

* * *

Подлинник письма Шаха получен благодаря любезности бывшего персидского министра народного просвещения Насируль-Мулька, а к нему дошел от его предков, живших в Казвине. Редактор академического издания сочинений Грибоедова в 1917 году предоставил в мое распоряжение чрезвычайно ценную коллекцию работ о смерти автора «Горе от ума» (А. Берже, Малышинского, Валент. Ал. Жуковского, Галуста Шермазана). Кроме того, мною были использованы не только данные, напечатанные в т. VIII «Актов, собранных Кавказской Археографической Комиссией», но и сочинения персидских историков, и архивы миссии в Тегеране и Генерального Консульства в Тавризе. К сожалению, в настоящий момент приходится опираться нередко на воспоминания об этих отсутствующих здесь материалах.

В. Минорский
Париж, 19.11.1920

Да будет ведомо благородному, славному чаду нашему принцу Али-Наги Рукнуд-Доуле (*Восьмой сын Фетх-Али-Шаха, родившийся в 1207 году Хиджры. Имя его упоминается Грибоедовым, например, в известном донесении Паскевичу 30 июля 1827 года по поводу переговоров с наследником персидского престола.*), что послание его было нам доложено.

Как он доложил, на уплату «цены крови» <русского> Посланника и его спутников, на возмещение собственности их, на освобождение Хоя из-под залога, на приготовления к отправке нашего Посланника и на снаряжение азербайджанских ноукеров (*слуги, вооруженная охрана*), — исчислена сумма в 170 000 туманов (*Туман перед войной 1914 года стоил 1 р. 75 к., но во времена Грибоедова, вероятно, доходил до 4 рублей.*). Несравненное чадо наше Наибус-Сальтане (*Наследник престола, наместник*

Тавризской провинции (Азербайджана)), и верный слуга наш Каим-Макам (Генерал-губернатор (пишкар) при наследнике) обязались на эти деньги покончить <все> дела. На это выразило согласие и Ваше Высочество. Но Ваше Высочество не имело нашего разрешения на сумму большую, чем 100 000 туманов; 70 000 туманов — излишек.

Из присланного ранее списка было ясно, что в намерения входило «пополнить <недостающую часть> стиха и набить амбар льдом». Например, стоимость лошадей и вещей Посланника исчислена в 17 000 туманов. Между тем, Ваше Высочество лучше знает, что лошадей Посланника Вы сами дали в Казвине, и здесь сам Мальцов признавался (*Эти признания совпадают с общим поведением Мальцова, старавшегося, по его словам, «беспрерывным притворством» убедить персов в своей безвредности из опасения мести против него как единственного свидетеля убийства Грибоедова.*), что лошадей было не более 15. Не знаю, какова может быть цена тамошних коней и казачьих лошадей. Вещи Посланника видели и люди Вашего Высочества в Казвине, и слуги Нашего Двора — здесь. По справедливости, никто у Посланника не видел ни вещей, ни обстановки, достигающих такой суммы. Вообще, у европейцев нет обычая иметь при себе излишних украшений, вроде золота, серебра, драгоценных камней и дорогих тканей.

В особенности <не могло их быть> у Грибоедова, который свой багаж и вещи оставил в Тавризе и налегке прибыл сюда. Ничего стоящего с ним не было, так что, когда Аминуд-Доуле (*Абдулла хан — министр внутренних дел.*) отправился к нему с визитом, у него не было чайной посуды, такой, чтобы можно было принести на люди, и он извинился, что я-де приехал с легким багажом. Точно так же однажды он позвал вечером иностранных посланников и Мамед Джафар Хана Серхенга (*Не к нему ли относится фраза Грибоедова: «Как тошно в этой Персии, с этими Джафарханамн» (Устиновичу, 30 октября 1828 года?)*) и хотел очень себя показать, но, как нам докладывали, вся посуда и мебель его не стоили больше пятисот туманов. Все, кто ознакомились с его внешней обстановкой клялись, что всех его вещей и всей конюшни не было на 4 - 5 000 туманов.

Среди этих очевидцев был Мирза Наби (*Везирь (заведующий делами) казвинского принца Али Наги; отец Хаджи Мирза Хусейн Хана Сепаксалара, построившего лучшую мечеть Тегерана и Негарестан (нынешнее здание меджлиса).* В депешах князя Долгорукого упоминается о воздействии наследника на Мирза Наби, чтобы он уговорил наказать виновных в смерти Грибоедова. Впоследствии Мирза был посланником в Индии. На его тройное совместительство, как посланника, купца и истца убытков за убийство его шурина Халил-хана (см. примечание), жалуется Rawlinson, «England and Russia», 1875, 14.), в доме которого Посланник пробыл 3 дня; он узнал весь его обиход. Имущество в 17 000 туманов не такая вещь, чтобы не броситься в глаза!..

Затем написали в 2600 туманов остаток вещей Мальцова, а дело обстоит так, что, по собственному его заявлению, у него не было ничего стоящего, кроме 1000 червонцев (бакжаклу), сданных им на хранение Посланнику (*Однако сам Мальцов говорит, что в день убийства Грибоедова он тайно роздал 200 червонцев надежным людям, чтобы те не впустили толпу в дом, где он находился (донесение 21 марта 1829 года, № 6).* Вещи мальцова, отправленные через Энзели, были стараниями Долгорукого возвращены в Баку). Назар-Али-хан (*Тавризский мехмандар (почетный пристав), выезжавший за Грибоедовым в Тифлис и провожавший его до Тегерана. Впоследствии он же отвозил Мальцова из Тегерана в Тавриз.*), бывший с ним повсюду и видевший и слышавший все подробности, наверно, разъяснил их Наибус-Сальтане.

На основании этих 17 000 туманов Грибоедова и 2600 туманов Мальцова можно себе представить, что из себя представляют 16 000 туманов наличными, <будто бы> бывшие у Грибоедова! Если отрешиться от свидетельств слуха и зрения, то и то никому на ум не придет, что Грибоедов, приезжая в столицу налегке и с намерением остаться дней 10

—20, мог иметь при себе 16 000 туманов. Если бы он привез их на собственные расходы, то, — в виду того, что харчи даются от государства, — у него расходов не было. Если же он вез их на подарки и подношения, то русские без причины денег не тратят, а такого дела не было, проведение которого стоило бы этой суммы. Скорее, у нас с ним были дела по поводу 2 куруров и т. п. (*Контрибуция России по ст. VI Туркманчайского договора: «Десять куруров туманов раидже или двадцать миллионов рублей серебром». Курур — персидское название полумиллиона. 8 куруров было уже уплачено, речь шла о взыскании остатка.*). Цели не было разъезжать ему с такими деньгами. После того, как Грибоедов оставил в Тавризе свое имущество, а часть вещей его находилась в Гиляне (*Вещи Грибоедова были, действительно, высланы через Энзели, откуда впоследствии возвращены в Баку (Нессельроде — Долгорукому. 5 апреля 1829 года, № 674).*) и в Казвине, они все-таки требуют теперь 35—36 тысяч туманов, которые он будто бы привез в Тегеран?!

В таком случае, после убийства в Индии нашего Посланника Хаджи Халил-хана (*Этот персидский посланник был случайно убит в 1802 году в Бомбее во время столкновения его слуг со стражей. Сыну его была положена англичанами ежемесячная пенсия в 2000 рупий. Он пользовался ею до конца жизни, переселился в Париж и в течение 50 лет не пропустил ни одного представления оперы. См.: Sykes, «A History of Persia», 1915, II, 399.*) и мы могли бы заявить претензию, что при нем было денег 2 курура!

Коротко сказать, мы деньги платим, так к чему нам принимать на себя еще дурную славу за пропажу всего этого мнимого имущества, к чему давать деньги, не слыша за это благодарности?

Когда заключали соглашение об уплате за кровь, я не знаю по какой вере, по какому правилу вышло так? Если по канонам Мохаммедова Шариата, то ни за кого вира не превышает 1000 червонцев — ашрефи. Если по закону христианской общины, в какой главе Евангелия, в изречениях какого священника (касис) сказано, что вира за одного человека доходила до 8000 туманов?

Конечно, в званиях людей есть разница, и по этой причине вира за Посланника определена в размере больше обычного. Прекрасно, но почему за армян — повара и конюха Посланника, купить и продать которых не стоит 40—50 туманов, почему за каждого из них сосчитано не менее 1000 ашрефи?

Кроме Мальцева, который остался жив и здоров, мы не видели при Грибоедове ни одного крупного и известного чиновника (*Убиты были доктор Мальмберг, второй секретарь Аделунг, причисленные из кавказцев казаки и т. д., всего 37 человек.*), чтобы кто-нибудь мог цениться в 2000 ашрефи.

Общий размер возмещения убытков и уплаты за кровь может исчисляться в 73—74 тысячи туманов. Нельзя считать трудной и неприемлемой для нас уплату этой суммы в качестве возмещения за убийство и случившееся происшествие. И в глазах других государств уплата этой суммы имеет значение для снятия с нашего государства дурной славы; и перед Богом, и перед людьми хорошо, что мы не согласимся выдать в руки неверных, под именем убийц и преступников, некоторых людей, будь они чернь и уличные безобразники. Взамен этого мы и сообразовали пожаловать такую сумму.

Если бы зашла речь о выдаче убийц и преступников, и за каждого их человека мы выдали бы по два человека, то вышло бы 70 человек — вот мы и предлагаем эту сумму взамен крови их.

Говоря кратко, пусть 13—14 тысяч туманов будет засчитано за вещи, 60 тысяч за убийство Посланника, который, пусть предположим, имеет высокий сан и доброе имя. Во всяком случае, против тех 70 000 туманов, которые Ваше Высочество уже приняли сверх нашего приказа и о которых Вы говорили, мы не станем возражать, дабы не подрывать слов нашего чада. В прошлом году ради поддержания слова Наибус-Сальтане мы уплатили 8 куруров (*Разумеется контрибуция России, см. выше.*), и

теперь, если мы, в виду желания Вашего Высочества, уплатим 70 000 туманов, то это не будет много.

Но под какую уверенность уплатим мы их? Ваше Высочество говорили с Наibus-Сальтане и с Каим-Макамом, но неизвестно, имеет ли значение согласие их по этому поводу, ибо мы это неоднократно испытывали. В тот год Наibus-Сальтане прислал Мирзу Исмаил Энджидани (*Вероятно, лицо, упомянутое в донесении Грибоедова 30 июля 1827 года как посланец при разговорах о перемирии.*) и ясно написал Аллаяр-хану (*Аллаяр-хан Асефед-Доуле, зять Шаха, шурин наследника, первый министр. Известен отзыв Грибоедова (письмо Бегичеву): «Аллаяр-хан мой личный враг, он меня уходит; не простит он мне заключенного с персами мира». Интересно, что и посторонний источник говорит: «Не подлежит сомнению, что он был главным зачинщиком войны... ему обязано персидское правительство постигшими его бедствиями». См. изданный И. А. Зиновьевым («Россия и Персия», СПб, 1897 год) дневник английского офицера. Имя последнего, вероятно, не доктор Уиллич, а капитан Уиллок (ср. «Акты Кавказской Археографической Комиссии», VII, 608, и Малышинский, «Русский Вестник», 1890 год, 229): «Дайте 50 000 туманов, и мы выгоним русских из Азербайджана». Мы отобрали расписку от Мирзы-Исмаила и выдали 50 000 туманов, а после того, отдав и все, что имели, подверглись всему этому позору. Под конец, когда мы потребовали отчета от Наibus-Сальтане, только и был нам ответ, что-де так нам казалось, а Бог не судил, и не вышло! И правду он нам докладывал: хотел он было сделать, да не удалось. Мы тоже не могли слова сказать, да и что бы нам сказать? Если бы мы его наказали, то Шазде (*То есть принц.*) пропал бы <даром>, и часть собственного нашего тела нашей же рукой мы бы повредили.*

В прошлом году также Фетх-Али-Хан рештский (*Тавризский губернатор (беглербег).* О нем сочувственно и подробно говорил Грибоедов в в заметке «О Гилани» (*февраль, 1822 год.*)) явился с письмами от Наibus-Сальтане и с безграничными обещаниями: «Вы-де дайте 5 куруров, да мы дадим 3 курура».

В нашем благословенном присутствии он один из этих куруров расписал (*Отсюда идут не совсем ясные счета Шаха с его сыном по поводу способов уплаты контрибуции.*) поименно между приближенными Наibus-Сальтане, другой между жителями Азербайджана и третий на имя самого Наibus-Сальтане. Мы и этим не убедились и отобрали документ от английского доктора (*Ирландец, г. Кормик, лейб-медик Аббас Мирзы, решительно владеет умом его и всеми намерениями. Г. Макнил в Тегеране тем же кредитом пользуется во дворце самого Шаха*) (*донесение Грибоедова, 17 августа 1828*). Макнил за содействие заключению Туркманчайского мира получил русский орден и подарок; он был впоследствии английским посланником в Персии.), что так будет сделано. Решено было, чтобы со дня прибытия Наibus-Сальтане в Тавриз выдавалось еще по 1000 туманов. А потом сказали, что этот документ был выдан по принуждению. Когда Наibus-Сальтане явился к нам, то мы не только выдали эти 3 курура и по 1000 туманов ежедневно, но оказали ему всякие милости и щедроты.

100 000 туманов остатка хойских денег, относительно которых люди Наibus-Сальтане и жители и купцы Азербайджана выдали документ, должен был в 4-месячный срок получить человек Аминуд-Доуле, который должен был отправиться в Миане. <Этого, однако, не случилось.> И хотя деньги не были мною выданы, однако пожалованные вещи были заложены, и дело было сделано. Ныне год прошел, а вещи все еще в залоге, и опять пишут, что Хой не освободился от залога, и русский уполномоченный приедет жить в Хое, чтобы добрать остаток суммы (*Донесение Грибоедова 10 ноября 1828 года: «J'avais déjà prolongé le terme du paiement qui nous est dû pour l'évacuation de Khoi, dans le but d'y faire hiverner nos troupes». («Я успел уже продлить срок уплаты должных нам за очищение Хоя денег, с намерением оставить там наши войска на зимовку», фр.) Впрочем, Хой все же был внезапно очищен.*

При таких условиях, как можно полагаться на их слова и расписки. Ваше Высочество недавно вошли в эти дела и <так-же> попадете в затруднительное положение.

Мне возможно дать уверенность двумя способами. Во-первых, пусть Каим-Макам еще с кем-нибудь вроде него самого отправятся в Тифлис, посмотрят полномочия Паскевича, окончат с ним дело и получают от него имеющую силу бумагу, а после этого мы уплатим деньги.

Во-вторых, если этот способ долог, а захотят покончить скорее, то пусть возьмут документ с английского Посланника, с ручательством за окончание дела о 2 курурах и об изменении условий. Если он не выдаст такого документа, пусть по крайней мере он примет на свою ответственность, чтобы в случае неуспеха дела он отвечал (*Английский посланник Макдональд принимал деятельное участие в переговорах. В донесении 23 августа 1828 года Грибоедов, представляя способы рассрочки платежей, упоминает: «pour 100 000 tomans la garantie de Minislrc d'Angleterre» («100 000 туманов под гарантию английского министра», фр.). 30 ноября он пишет: «Le Shah a complètement refuse d'avancer a Abbas Mirza les demiers 100 000 tomans, pour le rachat des pierreries, tout comme il a deja manque une fois de parole aM. Macdonald» («Шah положительно отказал в выдаче Аббас-Мирзе остальных 100 000 туманов для выкупа алмазов, как он уже однажды не сдержал данного Макдональду слова», фр.).*

На другие способы мы не согласимся, и искательства Ка-им-Макама не достигнут цели.

Наибус-Сальтане и Каим-Макам то же, что чины столицы. Наibus-Сальтане подобен Зиллес-Султану (*Принц Али Мирза. Губернатор Тегерана. В 1834 году под именем Адиль Шаха процарствовал 1 месяц. Умер в 1854 году.*), а Каим-Макам подобен Аминуд-Доуле. Если от их слов дело может окончиться, то оно должно было бы уже закончиться в столицу.

Если они, подобно Паскевичу, имеют полномочия от Императора, то пусть покажут их, чтобы мы могли принять их расписки и обязательства.

В противном случае мы употребим эти деньги на две надобности:

1) на жалованье азербайджанским ноукерам, относительно которых мы уже много лет делали опыт; однако сколько мы ни давали денег, ни ноукеры наши не могли устоять против русских, ни мы не смогли получить деньги обратно;

2) на уплату «цены крови», возмещение убытков русским и подарки им. Обычаи их известны. Или они, не дай Бог, в силе, и тогда они скажут, что получили лишь за кровь и за имущество Посланника и вновь будут требовать 2 курура. Мы же деньги уплатим и в руках у нас ничего не останется. Или, Бог даст, они слабы и с Божьей помощью придет им конец; тогда зачем нам было даром давать деньги?

Во всяком случае, когда мы запросим Наibus-Сальтане и Ваше Высочество, ответ будет такой, что нам-де так казалось сперва. Тогда, если даже наказать вас, то это будет калечение собственной нашей Августейшей Персоны, если же мы решимся перетерпеть, то окажется, что мы понесли ущерб в отношении имущества и чести нашего государства. Если бы не было этих соображений, то 170 000 туманов тотчас по прибытии этого курьера были бы посланы без промедления.

Не касаясь прошлых опытов, причиной нашей неуверенности служит именно письмо Наibus-Сальтане, который пишет, что при настоящем положении нам нельзя заниматься делами Хорасана и Фарса. После уплаты 170 000 туманов нужно иметь такую уверенность, чтобы куда мы ни захотим, могли бы ехать. Хоть в Индию поедem, пусть на душе у нас спокойно, а то, что нам все медлить и выжидать в пределах этого Ирака (*Центральная область Персии*), не будучи в состоянии взамен данных денег хоть присоединить какую-нибудь область к нашему государству или принести ему пользу обеспечением порядка в стране.

В этом соглашении какая польза от их обязательств, и какая для нас от него уверенность проистечет?

Относительно денег на окончание дела об убийстве Посланника и т. д. решение таково, как мы изъяснили, и уверенность получится для нас лишь от упомянутых пунктов.

Уплата 50 000 туманов на расходы азербайджанским ноукерам не имеет касательства к этим пунктам.

Пусть сам Наибус-Сальтане обяжется и выдаст документ, что тамошних ноукеров приведет в такой вид, что, когда возникнет надобность, они могли бы устоять против врага, а не то что опять по-старому, где против 1—2 тысяч русских окажется 10—12 тысяч ноукеров, они не смогут принять сражения и не устоят. Если Наибус-Сальтане даст такой документ, то эти 50 000 туманов будут отпущены.

В. Ходасевич

Грибоедов

Одна из самых глубоких и трогательных русских эпитафий начертана вдовой Грибоедова над его могилой:

«Ум и дела твои бессмертны в памяти русских, но для чего пережила тебя любовь моя?»

Убийство полномочного посла, всех чиновников (за исключением одного) и всей охраны — дело совершенно необычайное, в истории неслыханное. Предсказать его логически, вполне отчетливо, как неизбежный факт, вытекающий из сложившихся дипломатических отношений, Грибоедов не мог. Если бы мог — своевременно доложил бы о том своему начальству и не получил бы злосчастного назначения, не поехал бы в Персию.

Но то, чего не мог выразить с объективной убедительностью, он знал чутьем совершенно точно, наверняка. «Он был печален и имел странные предчувствия, — вспоминал Пушкин.

- Я было хотел его успокоить, но он мне сказал: «*Vous ne soup-naissez pas ces gens-la! Vous verrez qu'il faudra jouer des couteaux!*» («*Вы не знаете этих людей! Вы увидите, что дело дойдет до ножей*» (фр.)). Самый его отъезд из Петербурга прошел под знаком этих предчувствий. А. А. Жандр рассказывает: «Грустно провожали мы Грибоедова. До Царского Села провожали только двое: А. В. Всеволожский и я. Вот в каком мы были тогда настроении: у меня был прощальный завтрак; закурили, надымили страшно, наконец, толпа схлынула, мы остались одни. День был пасмурный и дождливый. Мы проехали до Царского Села и ни один из нас не сказал ни слова. В Царском Селе Грибоедов велел, так как дело было уже к вечеру, подать бутылку бургонского, которое он очень любил, бутылку шампанского и закусить. Никто ни до чего не дотронулся. Наконец, простились. Грибоедов сел в коляску; мы видели, как она повернула за угол улицы, возвратились со Всеволожским в Петербург и во всю дорогу не сказали друг с другом ни одного слова, — решительно ни одного».

В Москве Грибоедов пробыл два дня: прощался с матерью. Потом отправился в Тульскую губернию к сестре. По дороге заехал к давнишнему приятелю, С. Н. Бегичеву. Гостя у Бегичева, был все время чрезвычайно мрачен и наконец сказал: «Прощай, брат Степан, вряд ли мы с тобой более увидимся!» И еще пояснил: «Предчувствую, что живой из Персии не возвращусь... Я знаю персиян. Алла-яр-Хан мой личный враг, он меня уводит!»

С такими мыслями доехал он до Тифлиса. Там жила княжна Нина Чавчавадзе. Она была похожа на мадонну Мурильо, и ей шел всего только шестнадцатый год. А Грибоедову было тридцать три. Он давно знал ее, когда-то давал ей уроки музыки, она выросла у него на глазах. Он был влюблен, но тайно, сдержанно и, быть может, холодно: женщин научился презирать с юности. И вдруг в эти самые мрачные дни свои (забыв о предчувствиях смерти? или, может быть, как раз оттого, что они прояснили, повысили, обострили все его чувства?) — он весь как-то внезапно расцвел. Уже 24 июля он писал Булгарину, с которым был друг:

«Это было 16-го. В этот день я обедал у старой своей приятельницы, за столом сидел против Нины Чавчавадзевой, все на нее глядел, задумался, сердце забилося, не знаю, беспокойство ли другого рода, по службе, теперь необыкновенно важной или что другое придало мне решительность необычайную, выходя из-за стола, я взял ее за руку и сказал ей: «*Venez avec moi, j'ai quelque chose avous dire*» («*Пойдемте со мной, мне надо вам что-то сказать*» (фр.)). Она меня послушалась, как и всегда; верно думала, что я ее усажу за фортепиано; вышло не то; дом ее матери возле, мы туда уклонились, вошли в комнату, щеки у меня разгорелись, дыхание занялось, я не помню, что я начал

ей бормотать, и все живее и живее, она заплакала, засмеялась, я поцеловал ее, потом к матушке ее, к бабушке, к ее второй матери, Прас<ковье> Ник<олаевне> Ахвердовой, нас благословили, я повис у нее на губах на всю ночь и весь день, отправил курьера к ее отцу в Эривань с письмами от нас обоих и от родных...».

После этого все события понеслись с трагической быстротой. Письмо к Булгарину писано уже с дороги, потому что объяснение произошло 16 июля, а в ночь на 18-е Грибоедов уехал к Паскевичу, в Ахалкалаки. Он вернулся в Тифлис 4-го августа и сейчас же слег: заболел лихорадкой. Когда ему стало легче, он заторопился со свадьбой. Бракосочетание состоялось 22 августа вечером. Во время венчания лихорадка вновь стала трясти Грибоедова, и он уронил обручальное кольцо (как через полтора года уронил свое кольцо Пушкин). 9 сентября Грибоедов с женой, с ее матерью и с чинами посольства выехал в Персию. Их сопровождал почетный конвой и персидский чиновник, присланный шахом. Проводы были торжественны, играла военная музыка. С дороги Грибоедов написал в Петербург знакомой замечательное письмо: «Женат, путешествую с огромным караваном, 110 лошадей и мулов, ночуем под шатрами, на высотах гор, где холод зимний, Нинушка моя не жалуется, всем довольна, игрива, весела; для перемены бывают нам блестящие встречи, конница во весь опор несется, пылит, спешивается и поздравляет нас со счастливым прибытием туда, где бы вовсе быть не хотелось. Нынче нас принял весь клир монастырский в Эчмиадзине, с крестами, иконами, хоругвями, пением, курением etc. ... Бросьте вашего Трапера и Куперову «Prairie», — мой роман живой у вас перед глазами и во сто крат занимательнее»...

Они были окрылены счастьем. Жена говорила Грибоедову: «Как это все случилось? Где я, что и с кем? Будем век жить, не умрем никогда!»

Торжественно вступил караван в пределы Персии, но лихорадка все время мучила Грибоедова. В Тавриз он приехал 7 октября полубольной. Дела, между тем, не ждали. Уже в Тавризе начались самые тяжелые осложнения с персами. Грибоедову надо было ехать дальше, в Тегеран. Нина Александровна была беременна — и не совсем благополучно. Решено было ей оставаться в Тавризе. 9 декабря Грибоедов уехал. В этот день он видел жену в последний раз: 30 января (11 февраля) он был убит в Тегеране толпой персов.

От жены долго скрывали его смерть. Но одна родственница проговорились, с Ниной Александровной сделалась истерика, и она преждевременно разрешилась ребенком, прожившим лишь несколько часов.

Тело Грибоедова везли из Тегерана очень медленно. И июня недалеко от крепости Гергеры произошла его знаменитая встреча с Пушкиным. Наконец, шествие приблизилось к Тифлису, где находилась вдова со своими родными. В «Сыне Отечества» 1830 года неизвестный автор за подписью «Очевидец» рассказывал:

«Дорога из карантина к городской заставе идет по правому берегу Куры; по обеим сторонам тянутся виноградные сады, огороженные высокими каменными стенами. В печальном шествии было нечто величественное и неизъяснимым образом трогало душу: сумрак вечера, озаренный факелами, стены, сплошь униженные плачущими грузинками, окутанными в белые чадры, протяжное пение духовенства, за колесницей толпы народа, воспоминание об ужасной кончине Грибоедова — раздирали сердца знавших и любивших его! Вдова, осужденная в блестящей юности своей испытать ужасное несчастье, в горестном ожидании стояла с семейством своим у городской заставы; свет первого факела возвестил ей о близости драгоценного праха; она упала в обморок, и долго не могли привести ее в чувство».

Это было 17 июля 1829 г., ровно через год и один день после их стремительного объяснения; ровно в самую годовщину того дня, который провел Грибоедов, «повиснув на губах» княжны Нины Чавчавадзе. Самый же брак их продлился всего три с

половиной месяца. Грибоедов был прав, когда писал, что его живой роман во сто крат занимательнее романов Купера.

Мы потому так подробно остановились на истории грибоедовской любви и смерти, что это было неслучайное трагическое заключение, механически прицепленное судьбой к его жизни. Здесь, в этом мрачном и романтическом финале, только отчетливей прозвучал общий лад грибоедовской жизни, богатой чувствами, впечатлениями и событиями. Грибоедов был человек замечательного ума, большого образования, своеобразного, очень сложного и, в сущности, обаятельного характера. Под суховатой, а часто и желчной сдержанностью, хоронил он глубину чувства, которое не хотело сказываться по пустякам. Зато в Достойных случаях проявлял Грибоедов и сильную страсть, и Деятельную любовь. Он умел быть и отличным, хоть несколько неуступчивым, дипломатом, и мечтательным музыкантом, и «гражданином кулис», и другом декабристов. Самая история его последней любви и смерти не удалась бы личности заурядной. Наконец, поэзия была величайшей любовью его жизни... Но этот вопрос — один из главных вопросов о Грибоедове, эта любовь к поэзии — была ли взаимной? Муза поэзии дарила ли Грибоедова взаимной любовью?

То обстоятельство, что все написанное Грибоедовым до и после «Горя от ума» не представляет литературной ценности, никогда и никем не отрицалось, даже Н. К. Пиксановым, самым деятельным поклонником Грибоедова, положившим на изучение своего любимого автора так много труда и знания. Грибоедов — «человек одной книги». Если бы не «Горе от ума», Грибоедов не имел бы в литературе русской совсем никакого места. В чем же дело? Несовершенство того, что написано раньше «Горя от ума», можно, допустим, объяснить незрелостью и неопытностью. Но чем объяснить количественную и качественную ничтожность всего, что было написано после? Ведь Грибоедов умер через девять лет после окончания своей комедии. В эти годы не произошло ничего, что могло бы понизить его волю к творчеству. Напротив, эта воля достигла, быть может, особого напряжения. Внешних препятствий тоже не было. Но Грибоедов не мог создать ничего. Свое творческое бессилие он сознавал, —■ и мучился чрезвычайно. В 1825 году он писал из Крыма своему другу: «Ну вот, почти три месяца я провел в Тавриде, а результат нуль. Ничего не написал. Не слишком ли я от себя требую? Умею ли писать? Право, для меня все еще загадка. Что у меня с избытком найдется, что сказать — за это ручаюсь. Отчего же я нем? Нем, как гроб!»

Творческое бессилие Грибоедова после «Горя от ума» несомненно. Но история литературы, признавая его, как факт, не стремится дать ему объяснения, точно бы умолкая перед неисследованными глубинами творческой психологии. Кажется, однако, что многое может быть тут объяснено — и не без пользы установления правильного взгляда на само «Горе от ума». Попробуем хотя бы наметить это объяснение, поскольку пределы газетной статьи тому не препятствуют.

До «Горе от ума» писания Грибоедова шли по двум линиям, сильно разнящимся друг от друга. С одной стороны, это были лирические стихи, попытки творчества поэтического, в точном смысле этого слова. И вот тут нельзя не сказать прямо, что эти попытки из рук вон слабы. Но, видимо, и они давались Грибоедову нелегко. До нас дошло лишь несколько стихотворений, банальных по содержанию и беспомощных по форме. Приведу для примера «Эпитафию доктору Кастальди»:

Из стран Италии — отчизны
Рок неведомый сюда его привел.
Скиталец, здесь искал он лучшей жизни...
Далёко от своих смерть близкую обрел.

Это вовсе не худшее из тогдашних стихотворений Грибоедова. Но недостатки его очевидны, а достоинств у него нет.

Меж тем, это писал не мальчик: автору было уже двадцать шесть лет. И вот что замечательно: в это самое время он уже обдумывал «Горе от ума».

Другой цикл грибоедовских писаний составляли пьесы и отрывки легкого комедийного и водевильного характера. До нас Дошло их несколько. Несмотря на пустячное содержание, они качественно гораздо выше грибоедовской лирики. В них есть известная сценическая легкость. Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что о настоящем авторстве здесь говорить не приходится: «Молодые супруги» — стихотворная (ужасающими стихами) переделка французской пьесы; «Студент» написан в сотрудничестве с Катениным; «Своя семья» — лишь несколько сцен, вставленных в комедию Шаховского; «Притворная неверность» — просто перевод; «Кто брат, кто сестра» — написано в сотрудничестве с Вяземским. Итак, если не считать совершенного пустячка (водевильной интермедии с куплетами) — все, что тут носит имя Грибоедова, оказывается или переводом, или переделкой, или, наконец, писано под наблюдением и воздействием более зрелых и опытных авторов: Катенина, Шаховского, Вяземского.

Если мы теперь обратимся к периоду *после* «Горя от ума», то сразу заметим знаменательное явление: от комедийного жанра Грибоедов решительно отвертывается. Он пишет «важные» лирические стихи и набрасывает трагедии высокого стиля. Но лирика остается почти на том же низком уровне, на каком она находилась до «Горя от ума». Только в послании к актрисе Телешовой, да в стихотворении «Освобожденный», при желании, можно найти кое-какие достоинства. Что касается трагедий, то Грибоедов сам сознавал их роковые недостатки, страдал — и дело не шло дальше набросков, планов, отдельных сцен.

Это происходило оттого, что при обширном уме своем, при всем понимании поэзии, при огромной любви к ней — поэтического дара Грибоедов был лишен — и сознавал это. В 1826 году он писал тому же Бегичеву: «Поэзия! Люблю ее без памяти, страстно, но любовь одна достаточна ли, чтобы себя прославить?»

Вот тут мы и подходим к «Горю от ума». Падение грибоедовского творчества после этой комедии навсегда останется необъяснимым, если мы будем на него смотреть, как на падение. В действительности, никакого падения не было: в поэтическом и трагедийном искусстве большого стиля, которого от себя требовал Грибоедов, он, как раньше был, так и после остался беспомощным. Опыт «Горя от ума» не мог ему здесь пригодиться, потому что это был не более, как развитой опыт той легкой комедийной линии творчества, от которого Грибоедов отказался, которую сам не почитал достойной себя.

«Горе от ума» есть результат бытовых наблюдений и известного строя мыслей, сближавших Грибоедова с декабризмом. Под сильным напором переживаний, вполне ограниченных областью современной Грибоедову общественности и политики, эти наблюдения вылились в комедию, обильно насыщенную общественно-сатирическим материалом. Но, как художник, сам Грибоедов требовал от себя большего. Он сам сознавал, что сатирический импульс «Горя от ума» не есть импульс «большого» искусства, истинной поэзии — и томился тем, что для этого искусства судьба не дала ему сил.

«Горе от ума», при всем блеске диалога, при всей жизненности героев, при всех сценических достоинствах (которых в нем много, несмотря на общеизвестные недостатки) — все же не более, как сатира, произведение, по самой природе своей стоящее, так сказать, на втором плане искусства. При максимальных достоинствах сатира все же бескрыла, как басня. Окрылить ее может только внутреннее преодоление, придание ей второго, более углубленного, общечеловеческого и непреходящего смысла, которого нет в «Горе от ума», но который вскоре сумел придать своей комедии Гоголь. За образами захолустного городка Гоголь открыл огромные философские перспективы, сатиры вознесся на высоту религиозно-творческого

подвига, которого Грибоедов жаждал, как потенциальный художник, и до которого, как реальный сатирик, не поднялся: не знал, куда привести «преодоленная» сатира, и в «Горе от ума» не пытался ее преодолеть.

Все, что у Гоголя углублено и вознесено, у Грибоедова остается в плоскости данного бытового уклада. Гоголь свою комедию показал как нашу общую до сего дня трагедию. «Ревизор без конца!» — восклицает Гоголь. И он прав, потому что вечной остается тема его комедии. О «Горе от ума» мы отчетливо знаем, что оно кончилось вместе с концом фамусовской Москвы.

Россия останется вечно признательной Грибоедову. Мы вечно будем перечитывать «Горе от ума» — этот истинный «подвиг честного человека», гражданский подвиг, мужественный и своевременный. Мы всегда станем искать в комедии Грибоедова живых и правдивых свидетельств о временах минувших. Мы отдадим справедливость яркости и правдивости изображения. Но в глубокие минуты, когда мы, наедине с собой, ищем в поэзии откровений более необходимых, насущных для самой души нашей, — станем ли, сможем ли мы читать «Горе от ума»? Без откровения, без прорицания нет поэзии. Вот почему сам Грибоедов не продолжил его традиции, не захотел использовать опыт, добытый в создании этой вещи. Он знал, что такое поэзия, к ней стремился мучительно — но этот путь был для него закрыт.

Н. Кульман

А. С. Грибоедов

(К столетию со дня кончины)

В Тифлисе, около церкви Св. Давида, на склоне горы стоит памятник, на котором с одной стороны надпись: «Александр Сергеевич Грибоедов, родился 1795, января 4 дня, убит в Тегеране 1829 года, января 30 дня». А на другой читаем: «Ум и дела твои бессмертны в памяти русской». Из «дел» бессмертие суждено было только одному «Горю от ума».

О Грибоедове мы знаем очень мало. Даже год рождения его долгое время не был точно установлен, а биографические сведения крайне скудны и большею частью анекдотичны. Но все же можно сказать, что других «дел», кроме гениальной комедии, по нем не осталось.

Грибоедов — удивительнейшее явление в истории русской жизни и литературы. С литературой он был связан как-то непрочной, почти случайно. До «Горя от ума» его вообще знал лишь очень небольшой кружок журналистов и писателей, с которыми у него были не столько даже литературные, сколько личные отношения. То немногое, что написано им до «Горя от ума», ничтожно, хотя печататься он стал рано, с 19 лет. Его первое произведение «Письмо из Брест-Литовска к издателю "Вестника Европы"» с описанием праздника, который давали командующему кавалерийскими резервами генералу Кологривову его офицеры, с трудом может быть отнесено к литературе, несмотря на обилие в нем стихов и юношеского восторга. Недаром «Вестник Европы» сделал к этому письму примечание: «Нельзя читателям требовать от Марсовых детей того, что мы требуем от Аполлоновых».

Другая статья Грибоедова, появившаяся в том же 1814 году в «Вестнике Европы» под заглавием «О кавалерийских резервах», еще меньше имеет отношение к литературе и интересна разве потому, что в ней сказалась характерная черта Грибоедова, сохранявшаяся всю жизнь — национально-патриотическое чувство: «Если, — писал он, — русские читатели находили на страницах "Вестника Европы" известия о доходах, расходах и долгах Франции, то неужели государственная экономия их Отечества заслуживает меньшего внимания?» Конечно, и в этом произведении говорило «марсово», а не «аполлоново» дитя.

В 1815 году Грибоедов в Петербурге, и в этом же году имя его впервые появляется в истории нашего театра: 29 сентября на Императорской сцене идет одноактная стихотворная комедия «Молодые супруги», переделанная Грибоедовым из одной французской комедии. Стихи настолько плохи, что самая пылкая фантазия не позволит угадать в ней будущего автора «Горя от ума».

Грибоедов заводит в Петербурге ряд знакомств, между прочим, и литературных, записывается почему-то в масоны, хотя и не посещает лож, бросает военную службу, делается чиновником Министерства иностранных дел, ведет рассеянную жизнь и о писательстве почти не думает. По крайней мере до отъезда на Кавказ в 1818 году он пишет чрезвычайно мало и ничего серьезного: за это время в «Сыне Отечества» появилась его статья «О разборе вольного перевода Бюргеровой баллады "Ленора"», ничем не отличающаяся от массы подобных произведений той эпохи; кроме того, он написал комедию «Студент», по заслугам не появившуюся ни на сцене, ни в печати; перевел совместно с Жандром французскую комедию «Притворная неверность», сочинил интермедию, принятую на сцену, написал несколько явлений для комедии Шаховского и Хмельницкого «Своя семья» и еще несколько ничтожных мелочей. И это — все.

Однако, если внимательнее присмотреться к этому списку, то бросится в глаза исключительное тяготение Грибоедова к театру. И действительно, сцена, кулисы, артисты — его любимый мир. Для бенефисов артистов он главным образом и берется за перо. Приятели его хвалят, актеры любят, и литература как будто начинает его манить к себе. Впрочем, еще ничего серьезного нет: Грибоедов, пожалуй, больше отдает внимания всякого рода «фасесиям» на своих недругов (например, на Загоскина), чем настоящей литературной работе.

Кровных связей в это время у него с литературой не было. Когда в 1818 году его решают послать на службу в Персию, он без особой настойчивости доказывает министру, что это значит «цветущие лета свои провести между дикообразными Азиятцами, в добровольной ссылке, *отказаться от литературных успехов*», на которые он имеет основание рассчитывать. Однако по существу, если он и был огорчен назначением в Персию, то литература в этом огорчении занимала последнее место. Огорчения, впрочем, не были глубоки, и он юмористически писал Бегичеву из Новгорода, уже по пути из Петербурга к месту службы: «Нынче мои именины. Благоверный князь, по имени которого я назван, здесь прославился. Ты помнишь, что он на возвратном пути из Азии скончался: может, и соименного ему секретаря посольства та же участь ожидает, только вряд ли я попаду в святые».

В Москве Грибоедов остановился на неделю. И Москва ему не понравилась. Он здесь подметил многое, что послужило ему материалом для будущей комедии: «В Москве все не по мне, — писал он, — праздность, роскошь, не сопряженные ни с малейшим чувством к чему-нибудь хорошему. Прежде там любили музыку, нынче и она в пренебрежении; ни в ком нет любви к чему-нибудь изящному... Все тамошние помнят во мне Сашу, милого ребенка, который теперь вырос, много повесничал, наконец становится к чему-то годен, определен в Миссию и может со временем попасть в статские советники, а больше во мне ничего видеть не хотят».

Чем-то чужим и чуждым повеяло на Грибоедова от Москвы. А тут еще уколы самолюбия: в Петербурге он чувствовал себя все же писателем, находились даже поклонники его музы, поощрявшие его писать, в Москве в нем видели только милого Сашу, а родная мать публично с презрением говорила о его стихотворных занятиях и даже подчеркивала в нем зависть, свойственную, по ее мнению, всем мелким писателям. Впечатления были сильные, едва ли не самые сильные, какие приходилось Грибоедову испытывать до сих пор: он на себе почувствовал приступы горя от ума.

В октябре 1818 года Грибоедов уже в Тифлисе. Литература совершенно забыта, потому что здесь им завладели, как он сам признавался, «слишком важные вещи: дуэль, карты и болезнь» (*Дуэль, искалечившая Грибоедову мизинец на руке, была отголоском бывшей в Петербурге почти за год до этого «двухпарной» дуэли Шереметева с графом Завадовским и Грибоедова с Якубовичем из-за знаменитой танцовщицы Истоминой. Шереметев жил у Истоминой и ревновал ее к Завадовскому. Грибоедов, живший с Завадовским, пригласил как-то Истому к себе, предварительно назначивши ей свидание в Гостином дворе. Шереметев узнал об этом и, по совету Якубовича, пожелавшего драться с Завадовским, решил вызвать на дуэль Грибоедова. Но Грибоедов ответил Шереметеву: «С тобой стреляться не буду, потому что, право, не за что, а вот если угодно Якубовичу, так я к его услугам». Тогда Шереметев вызвал Завадовского, который и ранил его смертельно. Раненого надо было везти домой, и дуэль Грибоедова была отсрочена. Существует рассказ, что сосланный на Кавказ Якубович немедленно же по приезде Грибоедова в Тифлис предложил ему драться. По искалеченному мизинцу, как известно, был опознан труп Грибоедова.*).

В Тегеран Грибоедов прибыл только в марте 1819 года. Судя по его путевым заметкам, дикие места его пленяли: «Я не путешественник, — писал он, — судьба, нужда, необходимость может меня со временем преобразовать в исправника, в таможенные смотрители; она рукою железною закинула меня сюда, но по доброй воле,

из одного любопытства, никогда бы я не расстался с домашними пенатами, чтобы блуждать в варварской земле».

И Грибоедов возненавидел Персию. Ему было в то время 24 года, хотелось живого общения с людьми, от России чувствовалась полная оторванность («До меня известия из России доходят, как лучи от Сириуса, через шесть лет»), духовное одиночество с каждым днем становилось острее, связь с литературой была порвана, над душой, таким образом, висел своего рода «милльон терзаний». И единственным прибежищем от всего этого оказались литературные занятия: фантазия уносила на родину, в круг знакомых лиц, в атмосферу родной речи, и становилось легче. Началась упорная и увлекательная работа, и, кто знает, может быть, без этой обстановки «Горе от ума» никогда не было бы и написано.

Грибоедов сам дивился этому увлечению литературной работой: «В Петербурге, — пишет он в одном письме, — где всякий приглашал меня писать, я молчал, а здесь, когда некому ничего и прочесть, потому что не знают по-русски, я не выпускаю пера из рук».

К сожалению, о процессе его работы мы знаем несколько легенд, а не фактов. В письмах его есть только общие указания: «Музам я уже не ленивый служитель. Пишу, пишу, пишу».

В 1823 году Грибоедов получает 4-месячный отпуск в Москву и Петербург (превратившийся в двухлетний). С собой он везет какую-то часть «Горя от ума», а может быть, и всю комедию, хотя, конечно, и не в том виде, в каком мы ее теперь знаем. Скоро весть о новой комедии распространяется: «Все просят у меня манускрипта и надоедают», — сообщает Грибоедов в письме к Бегичеву. А скоро, по нескромности одного из приятелей, отрывки начинают расходиться по рукам в десятках тысяч списков. Грибоедова рвут на части, в разных домах устраиваются чтения его комедии, и одновременно он постоянно ее переделывает, исправляет, иногда даже импровизируя во время чтения. «Грому, шуму, восхищению, любопытству конца нет», — сообщает он Бегичеву, и в этих словах не было и тени преувеличения.

А между тем, незадолго до этого, Вяземский, не знавший тогда еще о «Горе от ума», пишет А. И. Тургеневу из Москвы: «Здесь Грибоедов Персидский. Молодой человек с большою живистью, памятью и, кажется, дарованием». Объяснение этого головокружительного успеха мы находим в рассказе одного современника, которому удалось прочесть несколько отрывков из комедии: «Я уже не раз слышал о ней, но изувеченные изустными преданиями стихи не подали мне о ней никакого ясного понятия. Я поглотил эти отрывки, я трижды перечитал их. *Вольность русского разговорного языка, пронзительное остроумие, оригинальность характеров и это благородное негодование ко всему низкому, эта гордая смелость в лице Чацкого проникла в меня до глубины души*».

Единственная в своем роде авторская трагедия: Грибоедову не суждено было увидеть прославившее его произведение ни на сцене, ни в печати. Цензура ее не пропустила, а предполагавшееся в Петербурге в Театральной школе закрытое представление было запрещено. Это запрещение было тяжелым ударом для Грибоедова, тем более, что оно пришло в последний момент, за несколько часов до спектакля. По словам Каратыгина игравшего Репетилова, Грибоедов приезжал на репетиции/усердно учил юных актеров и с простодушным удовольствием потирал себе руки, видя свою комедию хотя бы в этом ребяческом театре, где ее, по словам Каратыгина, «откалывали с горем пополам».

Заветная мечта Грибоедова так и не осуществилась: первые представления комедии «в цельном виде», как говорилось в афишах, но на самом деле не в цельном, были даны в Петербурге и в Москве в 1831 году, а напечатали ее только в 1833 году. При этом надо заметить, что мы до сих пор так и не знаем точного, полного, окончательно утвержденного Грибоедовым подлинного текста. Пожалуй, это одно из наиболее

убедительных доказательств нашего свойства, отмеченного Пушкиным: «Мы ленивы и нелюбопытны».

Но некоторые отрывки Грибоедов все-таки в печати увидел: в 1825 году в альманахе «Русская Талия» напечатаны были явления 7—10 первого действия и все третье действие. Критика откликнулась восторженно даже на эти отрывки: «Комедия Грибоедова, — читаем в одном отзыве, — феномен, какого не видали мы от времен "Недоросля". Толпы характеров, обрисованных смело и резко, живая картина московских нравов, душа в чувствованиях, ум и остроумие в речах, невиданная доселе беглость и природа разговорного русского языка в стихах — все это завлекает, поражает, приковывает внимание».

Конечно, не всем комедия понравилась. В одной сатире того же 1825 года есть такие строки:

Как Грибоедова забыть?
Сатирик, трагик, лирик,
Его не нужно нам хвалить:
Он сам свой панегирик...
Давно ли «Горе от ума»
Всех умных огорчило?
В нем мало смыслу, мыслей тьма,
И писано премило.
Хоть Чацкий годен в желтый дом.
Хоть стоит быть повешен,
Хоть в нем с французским языком
Нижегородский смешан.
Никто об нем не думал знать.
Никто об нем не слушал.
Но чтоб комедию читать.
Поэт в отставку вышел.

Но отрицательное отношение отдельных лиц тонуло в общем восхищении, многие комедию знали наизусть, отдельные выражения превратились в пословицы. Некоторые теоретики находили, что комедия «не по правилам нравится», но это, конечно, значения не имело. Вяземский был прав, когда впоследствии писал: «В творении Грибоедова нет правильности, но есть жизнь; она дышит, движется. В других комедиях правильности больше, но они автоматы».

У современников интерес к комедии усиливался еще тем, что в действующих лицах узнавали живых людей. Поэтому, может быть, Катенин и упрекал Грибоедова, что его характеры портретны. Грибоедов на это горячо и основательно возражал: «Портреты, и только портреты входят в состав комедии и трагедии; в них, однако, есть черты, свойственные многим другим лицам, а иные всему роду человеческому настолько, насколько каждый человек похож на всех своих двуногих собратий. Карикатур ненавижу, в моей картине ни одну не найдешь».

Нельзя, конечно, отрицать, что многие из лиц комедии Грибоедова имели двойников в действительной жизни, но тот факт, что в отдельных персонажах комедии указывали *несколько* лиц (даже в Чацком видели то самого Грибоедова, то Чаадаева), уже доказывал *типичность* их.

Признанным писателем, довольный своим литературным успехом, возвращался Грибоедов к месту службы. Но на станции Екатериноградской он был арестован в связи с декабрьскими событиями и под присмотром отправлен в Петербург. Так как Грибоедов решительно никакого отношения к восстанию не имел, то дело

ограничилось только непродолжительным арестом, и он даже был по Высочайшему повелению произведен в надворные советники.

Снова обратное длинное путешествие, участие в Эриванском походе, служба, не дающая никакого нравственного удовлетворения. «Я рожден для другого поприща», — жалуется он в одном письме. Его тянет к этому другому поприщу, он сначала даже пишет что-то на досуге и признается, что любит поэзию «без памяти, страстно». Вероятно, это был период работы над трагедией «Грузинская ночь», от которой до нас дошли некоторые отрывки. Но в новых опытах, видимо, ничего не было, что могло бы идти в какое-либо сравнение с «Горем от ума».

В 1828 году Грибоедов в последний раз оказался на короткое время в России: он был послан курьером в Петербург. Писательская среда встретила его как прославленного собрата. Но он в отношении к ней обнаружил холодность. Правда, и прежде, даже в ту пору, когда под свежим впечатлением «Горя от ума» ему курили фимиамы, особого пристрастия к литературным кругам он не имел. Теперь же ему как будто хотелось быть от них подальше. И это понятно: в его писательском портфеле была пустота.

На обеде у Свинына, в марте 1828 года, на котором присутствовал весь цвет нашей литературы с Пушкиным во главе, Грибоедов, по просьбе присутствующих, прочел наизусть отрывок из «Грузинской ночи». Судя по дошедшим до нас отрывкам, можно предполагать, что это чтение не произвело никакого впечатления, и Грибоедов не мог этого не заметить. «Я так состарился, — говорил он через несколько дней после этого обеда, — в душе не чувствую прежней молодости».

В апреле 1828 года Грибоедова назначили министром-резидентом в Персию. 30 января 1829 года он был растерзан чернью.

Смерть его, как это ни кажется нам странным, прошла почти незамеченной: появился только один некролог в «Северной Пчеле», а все остальные молчали, как будто Грибоедова никогда и не было.

Существует предание, что после представления «Недоросля» Потемкин сказал Фонвизину: «Умри, Денис, или больше ничего не пиши». То же можно было бы сказать и Грибоедову. Впрочем, после «Горя от ума» он так ничего и не написал. Как писатель он весь свой гений выразил только в этой бессмертной комедии. Пожалуй, печалиться об этом не стоит. Пушкин правильно заметил, утешая кого-то, горевавшего о безвременной кончине Грибоедова: «Грибоедов сделал свое. Он уже написал Торе от ума».

П. Струве

Лицо и гений Грибоедова

Речь, произнесенная на грибоедовском вечере Белградского Союза Русских Писателей и Журналистов

Лицо — это человек как человек, как личность, совершенно независимо от того, что и как эта личность творила и творит.

Гений — это творящий и творческий «демон» человека, то, что он воплощает, в чем он вовне воплощается.

Можно быть лицом, и очень крупным, и никогда ничего не сотворить, ни во что не воплотиться.

И, с другой стороны, гений человека может быть единственно *ярким*, единственно интересным и прочным во всей его личности, в его лице, и вне своего творчества человек может быть скуден и скучен, убог и бледен.

Великие творцы всегда ясно ощущали, что лицо и гений как-то в них различествуют, хотя как-то друг на друга опираются, и указуют. У них, у великих творцов, наибольшее расстояние между лицом *живущим* и гением *творящим*, между пустотою жизни и наполненностью творчества. Это не значит, что всегда их жизнь скудна. Наоборот, и жизнь великого творца может быть, даже должна быть иногда насыщена и до краев наполнена, и, живя, творец вовсе не всегда в «забавы суетного света» «малодушно погружен». Но все-таки в своем «Поэте» Пушкин оставил нам истинный (т. е. объективно-верный) образ двойственного бытия в одном человеке лица и гения, и правдивое (т.е. субъективно-верное) признание двойственности собственного бытия: «Меж детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он», — это Пушкин сказал не только о поэте, но и о себе, и именно о себе. Лицо творца часто живет той жизнью, которую тот же Пушкин в другом, менее популярном, но не менее замечательном, стихотворении назвал «*пустынной*» и от которой он со «святым волненьем» уходил, оставляя «людское стадо», чтобы «беседовать один с самим собой» и вкушать в этой беседе «часы неизъяснимых наслаждений». В этом глубочайший смысл пушкинского завета «читать самого себя». Это значит — в своем многоликом «я» отстаивать и блюсти свой творческий гений, живущий в «небесной глубине» и лелеющий «несмертные таинственные чувства».

Лица Грибоедова мы имеем два поэтических изображения. Одно, в стихах, принадлежит Баратынскому, и так и озаглавлено: «К портрету Грибоедова»:

Взгляни на лик холодный сей,
Взгляни: в нем жизни нет; Но как на нем былых страстей
Еще заметен след! Так ярый ток, оледенев,
Над бездною висит, Утратив прежний грозный рев,
Храня движенья вид.

Другое изображение, в прозе, принадлежит не кому иному, как Пушкину.

«Мы ленивы и нелюбопытны». Это крылатое слово обличения и самообличения заключает тот рассказ о встрече с телом Грибоедова, который мы находим в «Путешествии в Арзрум» и в который вставлена незабываемая по благородной силе и сияющей меткости характеристика автора «Горя от ума».

«Меланхолический характер», «озлобленный ум», соединенный с «добродушием», «слабостями и пороками», с «холодной и блестящей храбростью», с «честолюбием»,

которое стояло «на уровне большого дарования», — вот как рисует лицо Грибоедова Пушкин.

Ум, холод, воля.

Такими свойствами был отмечен этот «необыкновенный человек», как его охарактеризовал Пушкин, сам «умнейший человек в России». (Кстати — кто назвал так Пушкина? Николай I, которого хамская и лживая легенда до сих пор изображает мучителем Пушкина.)

Но холодный ум, в котором оледенел «ярый ток» страстей, не только не принижал и не понижал душу необыкновенного человека. Наоборот, закалившись и отвердев, эта душа возвысилась. Совладав со страстями, она приобрела способность глубоко и прочно любить. Вряд ли Пушкин был прав, говоря о «добродушии» Грибоедова. Но мы знаем его *доброту*, которую познали его друзья, доброту стойкую и твердую, которую испытали такие люди, как декабристы Кюхельбекер и князь Александр Одоевский.

Явившись участником сложной любовной истории и, по-видимому, действительным совиновником последовавшей за ней дуэли, имевшей смертельный исход, этот холодный человек, которого обуревали страсти, не просто «остепенился», не просто рассчитался с увлечениями молодости и отделался от них. Он испытал целый душевный переворот, из которого вышел не только закаленным, но и очищенным. Его воля овладела страстями, подчинившись высшему началу — *религии*. Его честолюбие из узкого себялюбивого чувства и неосмысленной бытовой привычки среды превратилось в настоящее патриотическое горение.

О *религиозности* Грибоедова сохранилось трогательное свидетельство, письмо декабриста Кюхельбекера к нему, тайком посланное из Динабургской крепости и кончавшееся так: «Прости! До свиданья в том мире, в который ты первый вновь заставил меня верить». Письмо это было перехвачено, Кюхельбекера допрашивали, и он в показании подтвердил, что Грибоедову «одолжен в особенности величайшим благодеянием, о коем он говорит в конце письма».

О *патриотизме* Грибоедова, запечатленном его трагической гибелью на посту стража русской мощи и русской чести, сохранилось свидетельство другого современника: «Мне не случалось в жизни ни в одном народе видеть человека, который бы так пламенно, так страстно любил свое отечество, как Грибоедов любил Россию».

Таков был этот человек, в котором жила суровая верность долгу, который ясно видел — это его собственные слова, — что «*нас* цепь угрюмых должностей опутывает неразрывно».

И вот мы видим тут, как из-за лица офицера, чиновника, литератора выступает гений патриота и писателя.

Я, быть может, удивлю вас, если скажу: не как человек, не как лицо, а как патриот и деятель — а таковой является всегда творцом и всегда внушаем гением — Грибоедов был гораздо больше и сильнее, чем как писатель.

Но для потомства гений Грибоедова все-таки воплотился в его писательстве, и потому мы с вами должны теперь обратиться к Грибоедову как к писателю.

Но тут-то мы и испытываем странное затруднение и недоумение.

Собственно говоря, Грибоедов вовсе не был писателем, писателем-художником, как другие русские великие писатели. Он был прежде всего — *умным человеком*.

И тут, как ко многому другому, ключ дает ясновидение Пушкина.

Прочтите письмо к А. А. Бестужеву (из Михайловского, конец января 1825 г.), где Пушкин говорит: «В комедии "Горе от ума" кто умное действующее лицо? Ответ: Грибоедов. А знаешь ли что такое Чацкий? Пылкий, благородный молодой человек и добрый малый, проведенный несколько времени с *очень умным человеком* (именно с Грибоедовым) и напитанный его мыслями, остротами и сатирическими замечаниями... О стихах я не говорю, половина должна войти в пословицы».

В чем, в самом деле, состояло писательское дарование Грибоедова, единственным памятником которого осталось «Горе от ума»?

Оно состояло прежде всего в искусстве *меткого слова*, — эпиграммы, в первоначальном историко-литературном смысле этого слова, и затем в изумительной передаче *виденного и слышанного*.

В истории нашей литературы, кроме Грибоедова, есть еще два исключительных мастера меткого слова, в творчестве которых это искусство разительно преобладает над всеми другими: И. А. Крылов, к которому из всех крупных русских авторов всего ближе Грибоедов, и кн. П. А. Вяземский — недаром его эпиграмматические стихи Пушкин брал эпиграфами к своим произведениям.

Грибоедов был писатель-эпиграмматист и писатель-наблюдатель, творец насыщенных мыслью слов и — мыслей, заостренных в меткие слова, — и в то же время сатирик-портретист. Ему не был дан дар ни творить образы, ни выражать в художественных образах чувства. Словом, он не был художником в том подлинном смысле слова, в каком художниками были Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Тургенев, Толстой, Достоевский. У него не было вдохновения, не было фантазии или воображения. Но зато у него был меткий ум и острый взор.

Не случайно в том, что осталось от Грибоедова, как его литературное наследие, нет ничего сколько-нибудь значительного, кроме «Горя от ума». И замечательно: нет даже метких слов и нет подмеченной и подслушанной жизни.

Это также не случайно, ибо «Горе от ума» не есть плод вдохновения. Это плод мысли и напряженного, редкостного в истории литературы вообще, труда. Нельзя труд, который Грибоедов употребил на писание «Горя от ума», приравнять к труду Пушкина, Толстого, Флобера — я беру как раз авторов, которые особенно много и упорно работали над своими произведениями — это труд совершенно особого порядка: труд, от которого *отдает*, правда, не потом, но *огромной*, не знающей себе пределов, *волей умного человека*, решившего воплотить свой ум в изображение виденных им людей и слышанных им речей.

Ум и воля преодолели в Грибоедове, авторе «Горя от ума», его литературную серость и посредственность и дали изумительное произведение, значение и место которого исключительны в истории русского словесного искусства.

Для того чтобы понять, что это так, нужно вдуматься в «Горе от ума», как в произведение.

Действующие лица «Горя от ума» — художественные образы только потому и в том смысле, что это — мастерские *портреты*, написанные *умнейшим* человеком и истолкованные *метчайшим* словом.

Что такое Грибоедовская Москва с исторической точки зрения? Мы теперь знаем ее по живым свидетельствам, по письмам, по дневникам, наконец по гениальной живописи Льва Толстого, который был близок к этой эпохе и все-таки находился от нее на расстоянии, позволявшем видеть то, чего не было видно вблизи. И потому мы созерцаем эту старую Москву тем историческим видением, которое дается на расстоянии и которое не было дано современникам, и самому Грибоедову в том числе. Мы знаем, что Грибоедовская Москва это та же Москва, которую изобразил Лев Толстой в «Войне и мире». Но Грибоедов изобразил эту свою Москву как сатирик и обличитель. Он не только изобразил, но истолковал, упростил, «стилизировал», окарикатурил ее.

И вот тут произошло подлинное *эстетическое чудо*! Это чудо произвел огромный ум, соединенный с волей. Он возвысил сатиру и карикатуру до искусства, преобразил обличение в искусство, портреты превратил в образы. Как и когда это случилось?

Тут прежде всего сказалась *вошебная сила*, подлинная магия *меткого слова*.

Меткое слово Грибоедова вдохнуло в портреты и карикатуры какую-то пребывающую жизнь, придало их временным и случайным чертам неумирающее значение.

Но в этом участвовала еще другая сила.

Пушкин по поводу Грибоедова сказал, что мы, русские, «ленивы и не любопытны». Современное Грибоедову общество, да и его потомство, в отношении именно к нему — правду сказать, — не заслужило этого упрека. Ни к одному великому литературному произведению русское общество, т. е. сами читатели, не проявило такого живого и любовного интереса, как к Грибоедовской комедии. Об этом красноречиво говорит то обстоятельство, что она получила еще в рукописях такое распространение, с которым вряд ли могли соперничать печатные произведения той же эпохи.

Но дело не только в этом.

Читатели не только читали «Горе от ума». Это и они вдохнули в него пребывающую жизнь. Это они — конечно, вместе с автором — портреты, карикатуры, шаржи подняли до высоты и красоты образов.

Волшебство писательского слова соединилось с любовным восприятием читательской массы, и получился *богатейший кладезь ума, метким словом преображенного в красоту*, — наше бесценное «Горе от ума».

Грибоедов как государственный человек

Убийство Грибоедова, произошедшее 30 января 1829 года (по старому стилю), было крупным политическим событием и большим национальным несчастьем. Погиб при исполнении своих обязанностей русский государственный человек, выдающийся государственный ум, один из создателей важного для России Туркманчайского договора.

Грибоедов был именно государственный ум. С его высоты он подходил к русским событиям и отношениям, его запечатлел в своем «Горе уму», как названа была сначала его комедия. «Горе уму», тому русскому государственному разуму, который хотел воплотить в Чацком Грибоедов. А он именно так смотрел на своего героя. В письме к Катенину он называл Чацкого «здравомыслящим человеком», он «один на 25 глупцов». «И этот человек, разумеется, в противоречии с обществом, его окружающим, его никто не понимает, никто простить не хочет, зачем он немного повыше прочих...»

Грибоедов не был публицистом в современном смысле этого слова. Он не возбуждал политических и общественных вопросов, не будил общественную жизнь, как это делает и ставит своей задачей делать публицист. Он стоял на охране русского государства, он указывал на его нужды и отстаивал то, что нужно для государства.

Если его возмущали недостатки общества, дурные навыки чиновничества, погоня за внешними эффектами в военной службе, отсутствие гражданского сознания и т. п., то все это прежде всего потому, что это вредит государству, унижает его в глазах иностранцев.

Вероятно, это чувство государственности обострилось у Грибоедова за границей, когда он был секретарем русской миссии в Персии. Мы по себе знаем, как обостряется это чувство государственности на чужбине. Но в менее резкой форме оно было присуще Грибоедову всегда. Он принадлежал по своему рождению к первенствующему и единственно государственному тогда сословию, в его роду насчитывался с начала XVII века ряд лиц, участвовавших в строительстве русского государства, и естественно, что он, подобно князю Андрею Болконскому (в «Войне и мире») испытывал врожденное, никогда не оставлявшее чувство ответственности за Россию. Таких людей, полных доблести, было немало тогда в нашем Отечестве. По своему духовному облику, кажется мне, Грибоедов ближе всего стоит к Карамзину, этому великому русскому гражданину и писателю. В ту пору государственная забота гражданина еще не выразилась в публицистику, в журнализм и партийность, и братья Тургеневы, старики Болотов и Щербатов, адмирал Шишков, Новиков и Радищев и многие другие — столь разные по своим характерам и по ходу жизни — еще были связаны общим сознанием своей обязанности хранить и холить русскую государственную идею. Этот подход к явлениям жизни весьма заметен у Грибоедова.

Как человек превосходно образованный, Грибоедов умел освещать эти явления научным светом и разбираться в таких отношениях, которые не были бы ясны менее сведущему человеку. Эти признаки образовательного уровня писателя обнаруживаются в его поездках по Кавказу и Крыму, где он с большим интересом подмечает особенности природы и быта жителей, и даже в одном из самых ранних произведений Грибоедова, его юношеской записке «О кавалерийских резервах»; биограф нашего писателя Пиксанов замечает, что «в этих рассуждениях чувствуется не только университетская подготовка к экономическим и статистическим изучениям, но и практическая сноровка разбираться в сложных предприятиях, дающая предугадывать будущего государственного деятеля».

Серьезная государственная служба Грибоедова начинается осенью 1818 года, когда он в должности секретаря русской дипломатической миссии в Персии попал впервые на Кавказ.

Известно, что он не особенно охотно принял эту должность, которая отрывала его от Петербурга и от легкой светской жизни, какую он вел. Но, приняв эту обязанность, Грибоедов сразу внес в ее понимание всю ту серьезность и государственность, которые ему были присущи.

Судьба дала ему в руководители такого человека, как А. П. Ермолов, обладавшего «острой, язвительной речью» для характеристики отрицательных явлений русской жизни, но вместе с тем относившегося отрицательно и к неглубокому либерализму, к крайним революционным стремлениям, к «репетиловщине». В качестве учителя истинной государственности Ермолов мог быть только полезен Грибоедову. «Мало того, что умен, нынче все умны, но совершенно по-русски», — вот что нравилось будущему автору «Горя от ума» в Ермолове.

И это русское государственное чутье необыкновенно ярко прорывается в Грибоедове. Так, например, когда в декабре 1818 года в Константинополе был пущен слух о военном восстании в Грузии и этот слух без проверки был перепечатан в «Русском Инвалиде», Грибоедов не замедлил отозваться в «Сыне Отечества» иронической статьей по адресу левоверных пускателей сенсационных слухов. Конец очень характерен: «Я бы, впрочем, не взял на себя неблагодарного труда исправлять газетные ошибки, — говорил Грибоедов, — если б обстоятельство, о котором дело идет, не было чрезвычайно важно для меня, собственно, по месту, которое мне повелено занимать при одном азиатском дворе. Российская империя обхватила пространство земли в трех частях света. Что не сделает никакого впечатления на германских ее соседей, легко сможет взволновать сопредельную с ней восточную державу. Англичанин в Персии прочтет ту же новость, уже выписанную из русских официальных ведомостей, и очень невинно расскажет ее кому угодно в Табрисе или в Тегеране. Всякому предоставляю обсудить последствия, которые это за собой повлечь может».

Из Тифлиса миссия переехала в Персию, и здесь протекала служба Грибоедова, которая отличалась чрезвычайной прямолинейностью в отстаивании русских интересов и русского государственного достоинства.

В течение полутора лет — с ноября 1821 года по февраль 1823 года, Грибоедов состоял при Ермолове в должности секретаря по иностранной части.

В конце марта 1823 года, получив номинально 4-месячный отпуск, он был в Москве, привезя с собой два первых действия «Горя от ума». За время отпуска были написаны последние два действия, и комедия уже осенью 1823 года стала известна русскому обществу в списках. В литературных кругах зачитывались комедией, в правительственных со все возрастающим вниманием относились к дипломатической деятельности ее автора. Лица из высших сфер, министры, генерал-губернатор Милорадович и другие интересовались мнениями Грибоедова и приглашали его к себе. Трудно сказать, насколько ему было выгодно в этом отношении уже тогда свойство с Паскевичем, который был женат на его двоюродной сестре. Во всяком случае, в его доме Грибоедов встретился с великим князем Николаем Павловичем, будущим императором Николаем I.

Из отпуска, сильно просрочив его, Грибоедов двинулся на службу не ранее мая 1825 года. Он ехал на Кавказ через Крым, древности которого чрезвычайно заинтересовали его как человека с хорошим историческим образованием. В Феодосии его коробило оттого «духа разрушения», которое принесли с собой русские («мы, всеобщие наследники»), и он писал Бегичеву: «Что ж? Сами указываем будущим народам, которые после нас придут, когда исчезнет русское племя, как им поступать с бренными остатками нашего бытия».

На Кавказе возобновилась прежняя кочевая жизнь, которая была прервана арестом Грибоедова 2 января 1826 года и его уездом в Петербург с фельдъегерем для следствия об его участии в заговоре декабристов. Из этого следствия, как известно, Грибоедов вышел не только с «очистительным аттестатом», но и с награждением чином и годовым окладом жалования.

Отношение Грибоедова к декабристам едва ли может быть выяснено окончательно по имеющимся у нас материалам. И советское издание 1925 года (Центрархива) не обогащает наших сведений по этому предмету.

С одной стороны, Грибоедов решительно отрицал свое участие в заговоре, и в кавказской армии не были разысканы следы этого последнего, но, с другой стороны, предостережения делопроизводителя комиссии Ивановского, желавшего помочь Грибоедову на письменном допросе, тоже должны были быть на чем-нибудь основаны. Сам Грибоедов смеялся, что на основании «Горя от ума» может доказать свое отрицательное отношение к заговору. Но ведь именно на том же произведении основывалось подозрение об его участии, и Грибоедов не отрицал, что он всегда осуждал то, что следовало осуждать. И лицемерных, модных тогда, криков о злодеях, покушавшихся ниспровергнуть государственный строй в России, мы не встретим у него. Даже в письме к Одоевскому, которое, вероятно, было подвергнуто просмотру, он говорит только об «экзальтации», о «гибели», в которую его завлекли другие. «Ты был хотя моложе, — прибавляет Грибоедов, — но основательнее прочих. Не тебе бы к ним примешаться, а им у тебя уму и доброты сердца позаимствовать».

Позже Грибоедов обращается к Паскевичу с горячей просьбой походатайствовать за Одоевского, который только много позже был действительно переведен на Кавказ.

Известное стихотворение Лермонтова на смерть Одоевского рисует тот же привлекательный образ, что и Грибоедов.

Что касается последнего, то все-таки представляется наиболее вероятным, что Грибоедов не шел, и не пошел бы к декабристам, что его серьезному государственному чутью претил авантюризм, что путь революции ему вообще был чужд.

В наброске драмы «1812 год» Грибоедов тот же сторонник «Истории Государства Российского»: в сцене, которая должна была происходить в Архангельском соборе, поднимаются тени создателей России (Святослава, Владимира Мономаха, Иоанна, Петра и пр.), и они «пророчествуют о године искупления для России, если не для современников, то сии, повествуя сынам, возбудят в них огонь неугасимый, рвение к славе и свободе отечества».

Нет сомнения, что «свобода отечества», о которой здесь говорится, не представляла в глазах Грибоедова «завоевание революции», а была свободой государства от врагов. Тем не менее, во всей этой драме должна была проходить антидворянская тенденция («всеобщее ополчение без дворян», «трусость служителей правительства», возвращение одного из героев крестьянского ополчения «под палку господина, который хочет ему сбрить бороду... отчаяние... самоубийства»). Но все это было в порядке осуждения того, что следовало осуждать, а не революционным. Набросок драмы относится ко времени между 1822 и 1828 годами.

Итак, летом 1826 года Грибоедов опять на Кавказе, опять на службе. Только его начальником с апреля 1827 года является не Ермолов, а Паскевич. Грибоедов по своей должности предпринимает работу по исследованию края, изучает памятники старины. 20 июля 1827 года он был послан Паскевичем для ведения переговоров о мире с руководителями внешней политики персидского правительства, Аббас-Мирзой. Благодаря настойчивости Грибоедова и его прекрасному знакомству с восточной психологией, ему удалось заключить выгодный для России Туркманчайский мир. Паскевич в своем докладе императору рекомендовал Грибоедова «как человека, который был по политическим делам весьма полезен... Ему он (Паскевич) был обязан мыслью не приступать к заключению трактата прежде получения части денег, и

последствия доказали, что без сего долго бы мы не достигли в деле сем желаемого успеха».

14 марта 1828 года Грибоедов прибыл в Петербург с договором, был на другой день принят государем, получил ряд наград и стал предметом всеобщего внимания. Его влияние на ход восточной политики правительства было несомненно. 25 апреля он был назначен полномочным министром в Персии и 6 июня навсегда покинул Петербург, исполненный горьких предчувствий о своей неизбежной гибели в Персии. Причиной народного возмущения против него в Тегеране было его неуклонное исполнение требований Туркманчайского договора, весьма тяжелого для населения. Но он твердил: «Должны прежде всего бояться России и исполнять то, что велит государь Николай Павлович, и я уверяю, что в этом поступаю лучше, чем те, которые затеяли бы действовать мягко и втираться в персидскую будущую дружбу». За эту настойчивость и за Туркманчайский мир, за честь и могущество России Грибоедов заплатил своей головой.

В комедии «Горе от ума» перед нами тот же государственный человек. В эпоху Грибоедова было модным делом перерабатывать на русский лад французские комедии. Близкие знакомые Грибоедову писатели — Хмельницкий, Кокошкин, князь Шаховской и другие — занимались именно такой переделкой. Шаховской (1777—1846), служивший в Театральной дирекции, написал до 100 пьес, причем переделывал французские пьесы («*La coquette*» — «Урок кокеткам, или Липецкие воды», «*Le menteur*» — «Не люблю, не слушай, а лгать не мешай» и др.); Хмельницкий (1789—1846) перевел мольеровские комедии «Тартюф» и «Школа женщин», переделал множество французских комедий Реньяра, Буасси и Дорлевиля, и в этих переделках выступают русские имена и якобы русская обстановка; Кокошкин в 1815 году перевел «Мизантропа», переделав французские имена на русские: Альцеста в Крутова, Филинта в Людмила, Селестину в Прелестину и т. д. Пьеса его имела очень большой успех. Таким образом, переделка французской комедии на русские нравы была в моде в пору Грибоедова.

Этот последний также отдал дань этой моде: в 1815 году он переделал французскую комедию Creuze de Lesser «*Le secret du menage*» в «Молодые супруги» с сохранением французских имен; в 1817 году он написал несколько сцен, как предполагают, для комедии Шаховского «Своя семья, или Замужняя невеста», заимствуя их из французской пьесы «*La fiancée mariee*»; в 1818 году, совместно с Жандром, Грибоедов переделал пьесу Барта «*Les masses infidelites*», дав героям русские имена Лизы, Рославлева, Ленского, Блестова и др. («Притворная неверность»); «Мизантропом» Мольера Грибоедов увлекался в молодости.

Тип человека, возмущенного окружающей обстановкой и громящего все направо и налево, не был нов в русской комедии XVIII — начала XIX веков. Уже Екатерина II выставила в своей пьесе «Именины госпожи Ворчалкиной» такого Громова. В комедии Шаховского «Новый Стерн» выступает чувствительный путешественник и фантазер граф Пронский, который оказывается в смешном положении; в «Пустодомах» Шаховского перед нами смешной прожектор князь, все делающий по указаниям книжника Инкартуса. Про него можно сказать, что у него ум за разум зашел. В 1817 году Хмельницкий выставил в своей комедии «Говорун» графа Звонова, который так же со всеми вступает в разговоры, прерывая говорящих, как Чацкий. Как Чацкий, он произносит длинный монолог, обращаясь к окружающим, которые постепенно все расходятся, а он, не замечая этого, продолжает говорить. Смешной прожектор выведен в модной комедии Хмельницкого «Воздушные замки» (1818) в лице Альнаскарова.

Таким образом, в начале XIX века не были новы и неожиданны типы обличителя, но комедия всегдаставляла этот тип в отрицательном духе, а обличения Звоновых и Громовых не имели общественного значения. Под пером Грибоедова Звонов и Громов превратился в человека с глубокой государственной мыслью, в Чацкого, все обличения

которого дышат справедливым негодованием против недобросовестного и легкомысленного отношения к требованиям государства и народа. Вероятно, сам собой произошел этот процесс: переделанный на русские нравы «Мизантроп» превратился в комедию дурных нравов русского дворянства Москвы, а Альцест^в гордого, «здравомыслящего» и благородного Чацкого, кому так дороги честь России, истинное просвещение и преуспеяние народа.

Этой своей метаморфозой Альцест обязан тому, что попал в руки такого человека, как Грибоедов. Все, наблевшее в сердце русского патриота, государственника и националиста, отлилось в горьких обличениях Чацкого.

«Ум и дела твои бессмертны в памяти русских», — написала на памятнике Грибоедова его молодая вдова. Пусть останется бессмертной в нашей памяти и государственная деятельность Грибоедова, вся проникнутая идеей величия и чести русского государства.

Петр Пильский

Грибоедов

(К столетию со дня его смерти)

Он был умен. Это бросалось в глаза прежде всего, являлось самой типичной, самой важной и определяющей чертой Грибоедова. Великодушие, нежность к очень немногим избранным друзьям, деловитость, религиозность жили в нем, как придаточные, второстепенные признаки. Они дорисовывают Грибоедова, оживляют его портрет, делают человеческим, приближают к общему типу той эпохи.

Но основной и воинствующей силой грибоедовской психологии был его ум — презрительный, скептический, высокомерный и трезвый. А среди этих определений на первом месте должно быть поставлено высокомерие.

Оно сказывается повсюду, дает себя чувствовать во всех суждениях Грибоедова, иллюстрируется его взглядами на общество, его отзывами о современной литературе, его поведением дипломата, тоном его писем, наконец, характером его блестящей комедии «Горе от ума».

Презрительное отношение к окружающим, эта гордость умницы, проснулись у него еще в самой ранней молодости, и Бегичев рассказывает, как Грибоедов уклонялся от визитов, навязываемых ему дядей. «Как только Грибоедов замечал, что дядя въехал к ним на двор, — разумеется, затем, чтобы везти его на поклонение к какому-нибудь князь Петр Ильичу — он раздевался и ложился в постель. — Не могу, дядюшка, то болит, другое болит, ночь не спал, — хитрил молодой человек».

Этот дядя — Алексей Федорович Грибоедов, брат матери писателя, — впоследствии послужил до известной степени прототипом Фамусова, и о нем Грибоедов записал: «Он, как лев, дрался с турками при Суворове, потом пресмыкался в передних всех случайных людей в Петербурге, в отставке жил сплетнями». Так, свысока, он смотрел не только на отживавшее, старое поколение «Максим Петровичей»; Грибоедов отрицательно, насмешливо, презрительно и даже брезгливо ощущал и самую близкую ему среду — общество писателей. Совсем не сочувственно он относился даже к корифеям литературы, к Карамзину, Гнедичу, и подверг самой злой и уничтожающей критике «Людмилу» Жуковского. С иронией Грибоедов отзывался о карамзинской слащавости, высмеивал благодушие Жуковского и, рассказывая даже о персидской учтивости, не упустил случая еще раз вспомнить о них: «Карамзин бы заплакал, Жуковский *стукнул бы чашей в чашу*, я отблагодарил янтарным грозным соком, нектаром Эривани, и пурпурным Кахетинским».

Неизменно Грибоедов подчеркивает свою психологическую обособленность, всякий раз противопоставляя свой здравый смысл, свой трезвый ум, свой глубокий скептицизм сентиментализму и небесной мечтательности своих прославленных литературных современников. От них он держался на почтительном расстоянии, замкнутый и тут в своей высокомерной отчужденности. Об остальных нечего и говорить. Их он откровенно презирал. «Вчера я обедал со всею *сволочью* здешних литераторов, — писал он в январе 1825 года Бегичеву. — Отовсюду коленопреклонение и фимиам, но вместе с этим — сытость от их дурачеств, их сплетен, их мишурных талантов и мелких их душишек».

Люди вообще ему представлялись «людишками». Так он смотрел на мужчин, еще высокомернее — на женщин. В другом, более раннем, письме к тому же Бегичеву Грибоедов говорит: «Я враг крикливого пола». А. А. Бестужев вспоминал такие слова Грибоедова: «Женщина есть мужчина-ребенок». Он разделял взгляд Байрона: «Дайте им пряник да зеркало — и оне будут совершенно довольны». Не раз повторял

Грибоедов одну и ту же мысль: «Оне не могут быть ни просвещенными без педантизма, ни чувствительными без жеманства».

В этом скептическом высокомерии он был одинаков повсюду, и оно ему не изменяло нигде — ни в политике, ни на службе, ни в его решительных и пренебрежительных действиях в Персии, закончившихся тегеранской катастрофой, и в его суждениях о декабристах, и на дуэли с Якубовичем, в прошении царю и во всех его барственных повадках, барственном тоне, барственной привычке смотреть на все свысока, в его острых колкостях, его сатирических характеристиках, его презрительной нетерпимости даже к самой невинной, почти не задевающей шутке.

О декабристах Грибоедов, подсмеиваясь, часто повторял насмешливую фразу: «Сто человек прапорщиков хотят изменить весь государственный быт в России». Сохранилось и другое его резкое выражение: «Я говорил им, что они дураки», и всех их он называл «лжелибералами». Ни идейно, ни сердечно с декабристами Грибоедов так и не связался.

Несмотря на искренний и глубокий национализм Грибоедова, его трезвый, скептический ум ограждал поэта и от союза с консерваторами. Грибоедов прекрасно видел преимущества Запада, никогда не доходил до крайностей А. А. Бестужева в его стремлениях к «народности», к замене пейзажа «видописью», карниза — «прилепом», антиквария — «старинарием». Да, это был, конечно, ум трезвый, но еще более он был наделен презрительностью.

На письмо своего прямого начальника, управляющего Азиатским департаментом К. К. Родофиникина, торопившего его выезд из Тифлиса в Тегеран, Грибоедов с надменной колкостью отвечал, что начальство «у нас соразмеряет успех и усердие в исполнении порученных дел по более или менее скорой езде чиновников».

Теперь уже можно без боязни сказать, что свой трагический конец в Тегеране Грибоедов, в сущности, приуготовил сам, и тут снова сыграло решающую роль его высокомерие, пренебрежение к обычаям и традициям Персии, его вызывающее горделивое поведение, его презрение упряма, барственная непреклонность, его надменное нежелание считаться с шахом, с его зятем, с местными укладами. Это переполнило чашу и разрешилось страшной трагедией. Грибоедов пал жертвой собственного высокомерного своеволия.

Он был неуступчив, почти болезненно самолюбив и в этом отношении не умел клонить голову ни пред кем. Не получая известий о ходе своего дела, — Грибоедов был обвинен в сношениях с декабристами, — он отправил письмо на имя самого государя и написал его в таком тоне, что Дибич даже не решился сообщить об этом Николаю I и положил резолюцию: «Объявить, что таким тоном не пишут государю».

И с той же надменной выдержкой, спокойным и презрительным, Грибоедов стоял и на дуэли с Якубовичем. Его ранило в кисть левой руки. Он приподнял окровавленную руку, показал ее секундантам и навел пистолет на Якубовича. В эту минуту Грибоедов имел право и даже должен был продвинуться к барьеру. Но он увидел, что Якубович метит ему в ногу, и остался на месте, не пожелав воспользоваться своим преимуществом. Он выстрелил, промахнулся, но целился так метко, что Якубович схватился за затылок: так близко пролетела пуля. Потом Грибоедов откровенно говорил, что он метил в голову Якубовича и хотел его убить. Раненный, несомненно страдавший, он не жаловался и ни на минуту не выдал своей боли и мучений. И тут он остался верным себе, горделиво презрительным и надменно спокойным.

В своем высокомерии Грибоедов ничего не прощал. Малейшая неосторожность вызывала в нем суровый, жестокий и беспощадный отпор. Известна сцена, происшедшая у Н.И. Хмельницкого, созвавшего гостей на обед. Там Грибоедов обещал прочесть свое «Горе от ума». В числе собравшихся был и Федоров, очень простой, милый, добродушный человек. Пока Грибоедов закуривал сигару, Федоров — автор драмы «Лиза, или Следствие гордости и обольщения» — взял рукопись «Горя от ума»,

покачал ее на руке и простодушно сказал: «Ого! какая полновесная... Это стоит моей "Лизы"». Грибоедов вспыхнул: «Я пошlostей не пишу». Все были ошеломлены. Желая обратить все в шутку, Федоров сказал, что он готов первый смеяться над своими произведениями. — «Да, над собой-то вы можете смеяться сколько вам угодно, — резко ответил Грибоедов, — а я над собой — никому не позволю». В конце концов, желая замять размолвку, хозяин, смеясь, сказал Федорову: «Мы в наказание посадим вас в задний ряд кресел». И на это Грибоедов бросил: «Вы можете посадить его куда вам угодно, только я при нем своей комедии читать не стану». Несчастный Федоров ушел, и с жестоким хладнокровием Грибоедов кинул ему вслед: «Счастливого пути!»

Как очень умный человек, Грибоедов не мог не оценивать себя, имел смелость смотреть на себя со стороны, — тоже черта гордости, - и в декабре 1828 года писал В.С. Миклашевич: «Все м грозен я кажусь, и меня прозвали *сахтир* — *soeur dur* (твердое сердце)».

И эти качества «сахтира», эта презрительность Грибоедова глубоко и полно отразились в его бессмертной комедии. Все лица ее нарисованы презрительной рукой. Сам Грибоедов это раскрыл в письме к писателю Катенину: «В моей комедии 25 глупцов на одного здравомыслящего человека». Но и Чацкий не только не является полным олицетворением своего создателя, но во многом должен заслужить его скептическое осуждение — за лиризм своих излияний, за бесцельную борьбу, излишне пылкую полемику с не понимающими его людьми, за слепоту своей привязанности, за свою, всегда осуждаемую Грибоедовым, мечтательность.

И тут Грибоедов остался верным себе, презрительным и высокомерным.

Один из лучших исследователей грибоедовской жизни и текстов Н. К. Пиксанов верно замечает, что «Горе от ума» — *барская* пьеса. Она самая барственная из пьес русского репертуара, барственная по своему основному тону, барственная по своему лиризму чести и личного достоинства. Но «Горе от ума» барственно еще и по разлитому в нем презрению, — живой голос, чудесное отражение характера и личности самого Грибоедова.

Признавая его великодушие, благородство, верность в дружбе, высокую культурность, талантливость, музыкальность, бескорыстие, смелость духа, — это подтверждают все воспоминания, все свидетельства знавших его людей, — А. А. Бестужев упоминает о «странности и отрывистости» грибоедовских манер и его яркой «оригинальности»: «Он не мог и не хотел скрывать *насмешки* над позлащенной и самодовольною глупостью, ни *презрения* к низкой искательности». В Грибоедове он отмечает «твердость», «суровость», даже «дерзость». И все современники говорят об его «порывистости», «резкости в обращении», «желчности», уводивших Грибоедова в сторону от справедливости и уважения к человеческому достоинству. Полевой подчеркивает его «степенность и задумчивость»; П-А. Каратыгин говорит, как Грибоедов был «сильно вспылчив, заносчив и раздражителен»; Е.А. Баратынский оставил нам стихотворение «К портрету Грибоедова»:

Взгляни на лик холодный сей.
Взгляни: в нем жизни нет;
Но как на нем былых страстей
Еще заметен след!

И все, наблюдавшие Грибоедова, в один голос говорят о его порывистости, страстности, пылкости, несдержанности. Хорошо и верно охарактеризовал Грибоедова С. А. Андреевский: «Едва ли он был свободен в своем обращении от некоторого *холодного* и *высокомерного* дендизма, который сказывался в спокойном и вызывающем *осмеивании* собеседника».

Если в этом определении есть погрешность, то она в одном: не «некоторое», а глубокое и характернейшее для Грибоедова высокомерие скептического ума жило в нем как главная, основная и определяющая черта его психологии, как источник и причина его внутренних мук, его мыслей о самоубийстве, его душевного одиночества и наконец его трагической смерти. Но она же явилась возбудителем и вдохновителем его великой комедии, бессмертного «Горя от ума», тоже презрительного, тоже высокомерно-негодующего, — блистательной бытовой и сатирической пьесы, исполненной возвышенных мотивов благородства, всю жизнь волновавших великого Грибоедова.

Грибоедов и его комедия

Когда вы всматриваетесь в портрет Грибоедова, — его умное, печальное и несколько надменное лицо говорит вам прежде всего о том, что этот человек не был рожден для счастья. И в самом деле, печать трагизма лежит на всей жизни знаменитого поэта.

От природы его душа влеклась к науке и поэзии. В молодости он жадно приобретал разнородные знания и с одинаково блестящим успехом окончил три факультета: словесный, юридический и математический. И в течение всей последующей жизни он с наслаждением погружался в новые области знания. Попав в Персию на дипломатическую службу, он ревностно предался изучению восточных языков, истории и культуры восточных стран. Он был образованнейшим человеком своего времени. Он прекрасно знал в подлинниках мировую литературу. Мольер, Шекспир, Шиллер, Гете были ему известны до мельчайших подробностей. Он признавал себя поэтом и всегда имел внутреннее влечение к поэтическому творчеству. А жизнь между тем сложилась для него так, что пришлось ему без конца влечь служебную лямку. Служба доставляла успехи, щекотала честолюбие, но нисколько не удовлетворяла внутренних запросов, и он восклицал порою: «Я ненавижу службу». Грибоедов задыхался и тщетно рвался на волю.

Грибоедов умел сильно привязываться к людям. Он нежно любил сестру и немногих истинных приятелей. Но какая-то душевная броня отделяла его от большинства окружающих людей. Он бывал надменен, холоден и порою даже безжалостен, надевая на себя маску чопорного дендизма и с вызывающим спокойствием истязая желчной насмешливостью иногда совсем незлобивых людей. Это свойство окружало его холодом, а от этого холода более всего страдал он сам, ибо в глубине души тосковал по неподдельному чувству, по дружбе и любви. Мимолетные романы с балеринами нисколько не согревали души. Только под самый конец жизни, женившись на Нине Чавчавадзе, он испытал счастье подлинной любви, но солнце на минуту выглянуло да тотчас же спряталось за зловещие тучи. Почти тотчас после брака он должен был оставить молодую жену у чужих людей, ехать в Тегеран по делам службы, и больше они уже не виделись. 30 января 1829 года толпа иступленных персов разгромила в Тегеране русское посольство, и Грибоедов был убит во время этого разгрома.

Всем этим не исчерпываются тернии жизненного пути Грибоедова. Мы еще не сказали о самом главном. Прежде всего и более всего он был мучеником своей литературной славы. До появления «Горя от ума» сочиненные им пьески были не более, как шаловливыми пробами пера. И вдруг он создал свой шедевр и сразу взлетел орлом на вершину Олимпа русской литературы. «Теперь-то развернется творческий путь!» Он предвкушал дальнейшие, еще более высокие взлеты вдохновения.

Он звал к себе опять эту капризную и изменчивую гостью — вдохновение, но она более уже не появлялась. Он начал писать трагедию из грузинской жизни. Ничего не выходило. Вот когда началась истинная трагедия его собственной души: «Что у меня с избытком найдется что сказать — за это я ручаюсь, — он своему другу Бегичеву в сентябре 1825 года, — отчего же я нем, как гроб?!»

Так Грибоедов и вошел в историю литературы как творец единственной комедии, все остальное, им написанное, читается только специалистами по долгу службы. Но зато эта комедия бессмертна и называется она «Горе от ума».

Этой комедии более ста лет, но начните ее читать или смотреть на сцене, — и вы почувствуете, что она вас восхищает не так, как прекрасный засохший цветок из

историко-литературного гербариума; она вас волнует, она колется и жжется теперь так же, как и век тому назад. Раскрывая эту комедию, вы словно раскупориваете старую бутылку из прадедовского погреба: раскупорят такую засмоленную бутылку, а в ней играет и шипит кровь зажигающее крепкое вино, которое, по словам Пушкина, «чем старей, тем сильнее». Откуда же эта сила?

Величайшие красоты едкого стиха всего еще не объясняют. Комедия, правда, напоена до краев гневом души самого поэта. Но в том-то и вопрос: почему этот гнев волнует нас на протяжении более нежели века? Ответ заключается в том, что в редком поэтическом произведении в такой мере, как в «Горе от ума», — величайшая насыщенность историческими чертами своего времени соединяется с вневременным, непреходящим, вечным содержанием.

Что такое «Горе от ума»? На первый взгляд — это не что иное, как сокрушительное изобличение нравов московского барства начала XIX века. И барство это представлено там с такой близостью к подлиннику, так *портретно*, что специалисты по истории эпохи теперь, через сто лет, прямо пальцами указывают на тех живых людей того времени, которые послужили прототипами для героев грибоедовской комедии. Гершензон, Пиксанов и другие без особого труда раскрыли нам все псевдонимы этой великой комедии и разъяснили персонально, по именам, все намеки в монологах Чацкого и на тетюшку-Минерву, и на «черномазенького на ножках журавлиных», и на содержателя крепостного балета с зефирами и амурами и проч., и проч.

Все они прекрасно нам знакомы по мемуарам. Даже такие персонажи комедии, в которых долго хотели видеть просто подражательность мольеровским типам, оказываются на поверку живьем выхваченными из тогдашней московской действительности. Сколько раз Лизу провозглашали фигурой, взятой Грибоедовым напрокат прямо из французского водевиля. А взял он ее из того, известного нам, московского барского дома, где горничная Дуняшка высказывала свои суждения о новых гостях на французском языке и говорила про них снисходительно: «*charmante personne*», «*joli garçon...*» («очаровательная особа», «хорошенький мальчик...») (*фр.*), и участвовала в качестве наперсницы своей барышни в ее кавалькадах.

Многие — особенно Веселовский — хотели видеть в Чацком не живое лицо, а копию мольеровского Альцеста («Мизантроп»), которого, кстати сказать, Грибоедов любил изображать, участвуя в любительских домашних спектаклях. Но теперь уже убедительно разъяснено, что Чацкий вовсе не мизантроп, он задорный обличитель, бунтарь, протестант, словом, «полудекабрист». Чацкий бежит не от человечества вообще, он бежит от фамусовской Москвы, иначе говоря, от того круга, который погряз в миазмах аракчеевщины. Говорили, что Чацкий — не живое лицо, а ходячая мораль. В замечательном этюде Гончарова «Мильон терзаний» великолепно была показана несостоятельность этого взгляда с психологической стороны.

Но с этим взглядом не может согласиться и историк. Чацкие — несомненная реальная принадлежность общественного круга той поры. Эти пламенные провозгласители обличительных тирад составляли тогда ядро той молодежи, которая наполняла тайные общества 20-х годов. Монологи Чацкого — прямое предвестие выстрелов 14 декабря. И если Чацкий оказывается в смешном одиночестве в фамусовском кругу, то это — опять-таки верная историческая черта времени, ибо если мятущаяся молодежь состояла тогда и не из одного человека, то все же она составляла количественно ничтожную горсточку перед несметной толпой Фамусовых, Скалозубов и Молчалиных.

Но если комедия Грибоедова так тесно сплетена с бытом эпохи, то почему же, спросим мы опять, она сохраняет свою волнующую силу, несмотря на то, что самый этот быт давным-давно отошел в историческое прошлое?

А потому, что под формами проходящего исторического быта поэт чудодейственно схватил некую вневременную, вечную принадлежность общежития.

Фамусов и его гости, в сущности, никогда не умирают. С течением времени они меняют костюмы, наружность, обстановку, изменяются самые их интересы и понятия, но основная сущность их природы возрождается вновь и вновь при *всяких* общественных порядках и у всех народов.

Фамусов и его гости — это то самое, что у Ибсена означено ироническим названием «столпов общества». Эти люди, претендующие на монопольную роль охранителей существующего порядка и понимающие охранение в виде лицемерного возведения на степень добродетели самых низменных пороков своего века и своей среды. В тайниках души они глубоко убеждены, что не на добродетели, а на пороках зиждется устойчивость общественного порядка, при одном лишь неременном условии, чтобы порок не выпячивался наружу, а скромно прикрывался занавеской: «Грех ничего, молва не хороша». А там пусть себе господа Чацкие и прочие сумасброды вопиют против низкопоклонства, насилия человека над человеком, пригнетения свободной мысли и проч., и проч. Без всего этого шагу ступить нельзя, и только зловердные мятежники могут посягать на эти основы общежития. Так твердят Фамусовы всех эпох, всех стран и всех народов. Борьба Чацких с Фамусовыми проходит сплошной нитью чрез всю мировую историю, только под разными видами и в разных комбинациях.

И вот почему «Горе от ума» и сейчас — вулкан, вовсе не потухший. И для нас, и для потомков наших он выбрасывает и будет выбрасывать и пламя, и огненную лаву.

Без Чацкого

Мы не заметили, проморгали, что в последние годы русской кровавой неразберихи скончался Александр Андреевич Чацкий. Столько ужасов, крушений, смертей вокруг себя видели, что этой — просто не досмотрели. Но вот сейчас наступил столетний юбилей Грибоедова; оглянулся я — а Чацкого и след простыл.

А как долго, как постоянно были с ним! Чацкий — первая любовь нескольких поколений. Русская молодежь, та, что была молодежью в восьмидесятых-девяностых, девятисотых годах; та, что воспитывалась на революционных публицистах, писателях, ученых, но в громадном большинстве своем была не революционна, а либеральна; та, на которую больше всего влияния оказал Некрасов, потому что только *хотел* он быть поэтом ненависти и мести, а на самом деле был поэтом подвига жертвенного, а не разрушительного, — эта молодежь с молоком матери впитывала в себя Чацкого.

Именно потому, что впитали с молоком матери, мы не очень разбирались в объективной сущности и противоречиях его идеологии; совсем не интересовались — естественно или неестественно стрелять во всякое время и на всяком месте публицистическими статьями. То, что полюбишь в раннем детстве, то укрепляется мало сознательно, но зато прочно, навсегда; кроме того, некоторая нехватка реальности в Чацком совершенно восполняется именно индивидуальной, а не направленной его ролью: его исключительной нервностью (недаром он и воспринимается всеми в пьесе, как заноза в теле), его оскорбленной любовью, наличием соперников, раздражением Софьи и прочее. Но не в том дело, а в том, что, мало анализируя, мы много любили его. Это был наш герой. Все жили порывом, питались идеалами. Любили мы образы различной художественной ценности, но одинаковой чистоты; любили Гамлета, любили Фердинанда, Уриэля Акосту, даже чуть примостившегося к доходному месту Жадова — и того любили. Но Гамлет, Фердинанд, Уриэль — это вдали, Чацкий — свой и, несмотря на многие десятилетия — современный, потому что и мы тоже готовы были метать филиппиками, если не в Фамусова, Молчалина. Скалозуба и Тугоуховского, то в Каткова, Победоносцева, Треповых, Горемыкина; мы не столько вникали в слова Чацкого, сколько восторгались его смелостью, достигавшей самых вершин: «все под личиною усердия к царю»... «недаром жалуют их скупое государи»... «согни-ка кто кольцом, хоть пред монаршим лицом, то назовет он подлецом»... «кто что ни говори, хоть и животные, а все-таки цари»...

В Чацком для нас воплощался идеал благородного протеста. Чацкого перед нами воплощали на сцене лучшие наши актеры. Изображать Чацкого значило сосредоточить на себе любовь, выйти на сцену уже перед завоеванной аудиторией. Чего стоил тот юноша, в душе которого не резонировался «миллион терзаний» Чацкого? Чего стоил тот актер, который не умел зажечь своим огнем молодые души?

Казалось, что так будет всегда. Бессмертье озяло Чацкого.

И вот после революции, в годы изгнания, пришлось знакомить с ним молодежь.

В Африке, в пустыне, где образовалась в 1920 году, в Тель Эль Кебире, русская гимназия, подростки жадно внимали чтению, я читал неведомое им еще «Горе от ума». Книжки не было, но, как немалое число моих сверстников, я знаю наизусть пьесу: от «Светает... Ах, как скоро» до княгини Марьи Алексеевны. Чтобы не удивлять детей своей памятью, держал перед собой том Грибоедова и время от времени переворачивал страницы.

И вот здесь выяснилось, что живет весь юмор Грибоедова, живут Фамусов, Скалозуб, Молчалин, графиня бабушка, графиня внучка, князь и княжны; в высокой

степени живет Репетилов и Загорецкий, и господин Н., и господин Д. — все, все, все!., кроме Чацкого. Его цивильский пафос почти не увлекал — честнее сказать, вовсе не увлекал молодую аудиторию. Она видела в нем, главным образом, революционера; он — предшественник декабристов, декабристы — предшественники... Расположенная к преподавателю юная аудитория верила, что между Чацким и «теми, кто погубил Россию», нет ничего общего, но она не загоралась; ей чужд был пафос протеста, ломки, обновления; на смену пришел пафос воссоздания, возвращения вспять.

«Обновление» на глазах юношества пришло в такой уродливой и звериной форме, что они не могли ему сочувствовать. Обожглись на молоке, дули на воду. Воспринимали горячо самый роман, хохотали, когда появлялись «какие-то уроды с того света», но в пустоту улетали, не будя, не волнуя, не заражая, громы и молнии Чацкого.

Опыт, проделанный в пустыне, я повторял несколько раз в Париже с детьми лица, в группах молодежи — с неизменным результатом: восхищаются стихом, хохочут там, где надо хохотать — и холодны к Чацкому. Для них он — тень, бедная и забытая. Навсегда это или только временно? Отслужил ли Александр Андреевич Чацкий свою службу русскому обществу, или его еще призовут, и снова настанет его время?

Кто доживет — увидит.

Автор бессмертной комедии был, несомненно, одним из самых загадочных людей своей эпохи. Загадкой суждено ему было остаться и для потомства. И дело не только в том, что сравнительно мало дошло до нас воспоминаний и живых свидетельских признаний о Грибоедове.

Пушкин писал: «Как жаль, что Грибоедов не оставил своих записок. Написать его биографию было бы делом его друзей; но замечательные люди исчезают у нас, не оставляя по себе следов. Мы ленивы и нелюбопытны». Грибоедов не оставил своих записок, да и не мог их оставить: это была душа «не обнажающаяся». Печать глубокой замкнутости лежит на Грибоедове. Замкнутости, одиночества и жизни «в себе самом». Это, конечно, не означает жизни для себя, себялюбия, эгоизма. Существуют факты, подтверждающие исключительную «любовность» этой гордой натуры. Любовь Грибоедова к С.Н. Бегичеву сказывается в каждом письме. Это не та сентиментальная дружба, певцом которой был Жуковский, это нисколько не походит на многие дружбы Пушкина. В письмах Грибоедова к Бегичеву звучат глубокая любовь, связанность и слиянность душевные с единственным, может быть, до конца близким ему человеком.

Значение этой дружбы-любви в жизни Грибоедова было. Должно быть, огромным, потому что вся жизнь эта, несмотря на рано пришедшую славу, несмотря на дипломатические успехи, удовлетворенность честолюбия, если оно было свойственно

Грибоедову, была жизнью «бурной и мятежной». Бурной и мятежной ее делали не дуэли, не то, что она «была затемнена некоторыми облаками, вследствие пылких страстей и могучих обстоятельств», как писал Пушкин, не потому, что эта жизнь прошла в невольных странствиях, хотя сам Грибоедов в письме к Кюхельбекеру говорит: «Словно мне отягчело пророчество: и будет ти всякое место в предвижение».

Бурной и мятежной была жизнь Грибоедова по причинам внутренним, по остроте чувствований, по широте и глубине напряжения работы ума.

Исключительно одаренный способностью воспринимать и в себе перерабатывать знания так, что образованность становилась частью его натуры, Грибоедов был одним из самых блестящих людей своего времени. Он знал все и всем интересовался. Был момент напряжения творческих сил Грибоедова, когда создавалось и создалось «Горе от ума». Еще до того, как в одно это произведение писатель вложил свое знание русской жизни, свой опыт, весь результат «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет», его больше всего влекло к литературе, и он, не относясь сам серьезно к своим трудам, еще с 1815 года начал пробовать свои силы.

Литературное наследие Грибоедова количественно очень невелико: кроме «Горя от ума», он написал пять небольших комедий («Молодые супруги», «Притворная неверность», «Проба интермедии», «Кто брат, кто сестра, или Обман за обманом», «Студент») и несколько стихотворений.

Интересно, что никогда не находил возможным Грибоедов творить иначе, чем в драматической форме. О кажущемся противоречии с этим утверждением — его стихах, я скажу ниже. Драматическая форма самая объективная, меньше всего оставляющая простора для выражения чувств автора, если даже кто-нибудь из персонажей пьесы и является выразителем его мыслей (Чацкий — не Грибоедов, не воплощение писателя, его убеждений и чаяний, которые лишь частично совпадают с мнениями его создателя). И только в драматической форме был способен творить Грибоедов, натура которого не искала лирического удовлетворения в излиянии, высказывании своих суждений в повествовании или описании. Грибоедов-человек скрыт от читателя. Душа его не познается по «Горю от ума». Мы, вслед за

Пушкиным, не можем не признать по комедии, что Грибоедов очень умный человек, мы знаем, что он наблюдателен, тонок, остер и меток, но для нас остается скрытым его «меланхолический характер, его озлобленный ум, его добродушие, самые слабости и пороки». Глубокая нежность, способность к действенной любви, жажда такой любви не могут быть ни почувствованы, ни угаданы в строках бессмертной картины нравов.

Грибоедов не мог и не хотел обнажать свою душу. Из его немногих стихотворений только два говорят об интимных чувствованиях поэта: «Послание князю А. И. Одоевскому» и «Телешовой», причем после второго Грибоедов испытывал недовольство собой в публичном признании своих чувств.

Таким образом, и стихи не опровергают того, что лишь драма, наиболее скрывающий автора вид творчества, была свойственна натуре Грибоедова.

Он писал мало. Это тоже одно из свойств его, одна из загадок психологии творчества. При огромной и яркой работе поэтической мысли невозможность писать была мукой Грибоедова. Вечное сомнение в себе преследовало его. В 1825 году он пишет Бегичеву: «Ну, вот почти три месяца я провел в Тавриде, а результат нуль. Ничего не написал. — Не знаю, не слишком ли я от себя требую? умею ли я писать? Право, для меня все еще загадка. Что у меня с избытком найдется, что сказать — за это ручаюсь; отчего же я нем? Нем, как гроб!»

Это написано после создания «Горя от ума»...

Грибоедову было что сказать. Дошедшие до нас письма его полны самого живого, самого блестящего содержания, они все и всегда «говорят», о чем бы и к кому бы они ни были. И в этих письмах восстает перед нами иной, по комедии не угадываемый, Грибоедов. Открывается не только прелесть его ума и остроумия, но и мягкость, и нежность, и отзывчивость, и горечь тонко и глубоко чувствующего человека.

Еще в 1822 году, в письме к Кюхельбекеру, рассказывая о тяжелых персидских впечатлениях и говоря об окружающих «трезвых умах», «избалованных детях тучности и пищеварения», Грибоедов пишет: «Переселил бы я их в сокровенность моей души, для нее ничего нет чужого, — страдает болезнью ближнего, кипит при слухе о чьем-нибудь бедствии; чтоб раз потрясло их сильно, не от одних только собственных зол!»

Подлинное горе от чужой беды, острая мука от чужой боли проявляются во многих письмах. Да и самая смерть его была обусловлена тем, что он не осуществлял политику, не был только исполнительным чиновником, а видел в том деле, которое на него было возложено, прежде всего людей, о которых он не мог не думать. Недаром писал он Ахвердовой, другу и воспитательнице его юной жены, месяца за два до смерти: «Нет, я вовсе не гожусь для службы. Меня назначать не следовало. Мне кажется, что я не способен выполнить как следует служебные обязанности; многие другие исполнили бы их во сто тысяч раз лучше». Сделал ли бы другой, не болеющий чужой болью, лучше, мы не знаем, но, наверное, сохранил бы свою жизнь.

Пушкин называл смерть Грибоедова прекрасной. Он писал: «Не знаю ничего завиднее последних годов его бурной жизни. Самая смерть его среди смелого неравного боя не имела для Грибоедова ничего ужасного, ничего томительного: она была мгновенна и прекрасна». Пушкин прав только в том, что самый миг смерти для Грибоедова не был ужасен, потому что это был — миг. Но то, что смерть оборвала эту молодую жизнь, унесла человека, которому, если и не суждено было дать что-нибудь еще родной литературе, то в истории русской культуры он бы оставил глубокий след, — представляется ужасающей несправедливостью и жестокостью. Особенно тогда, когда этот одинокий человек, не понимаемый и не любимый, как он того заслуживал, своими близкими, нашел наконец свое подлинное счастье в своем «гареме»: «Вечером уединяюсь в свой "гарем", — писал он В. С. Миклашевич 3 декабря 1828 года, — там у меня и сестра, и жена, и дочь, все в одном милом личике». Своей поздней избраннице отдал он, несмотря на бурную жизнь, огромный неистраченный запас страсти, нежности и заботы...

«Горе от ума», при всем неувядаемом художественном блеске своем, для нас — далекое прошлое, в нашу современную психологическую жизнь оно действительно не входит; другие пьесы Грибоедова художественного значения не имеют. Устарел и язык грибоедовских писем гораздо больше, чем язык пушкинской прозы. Недаром было в Грибоедове тяготение не к новаторам и обновителям языка, «арзамассцам», а к «Беседе любителей русского слова», к А. С. Шишкову, А. А. Шаховскому.

И независимо от устарения славной комедии, устарения формы речи самого Грибоедова, в нем чувствуется, по тем же старомодно написанным письмам, наш современник. Он не «посетил сей мир в его минуты роковые», он не совершил всего русского опыта, предшествовавшего этим роковым минутам, но чувствуется, что этой натуре не был бы чужд темп нашей безумной эпохи, что все опрокинутые понятия ее были бы ему по плечу, что тонкий и зоркий ум видел бы и читал в страшной книге современности яснее нас, «детей страшных лет России». Жуковского, Карамзина нельзя перенести в наши дни. Грибоедова — можно.

В свойствах этого загадочного человека, в особенностях его ума и сердца — второй залог его бессмертия. Первый, неоспоримый — «Горе от ума».

А. Никольский

Александр Сергеевич Грибоедов

Бывают писатели, вся творческая деятельность которых исчерпывается созданием одного великого произведения. Таковы были в западно-европейской литературе Данте и Сервантес, а у нас Грибоедов. Ни до «Горя от ума», ни после он не создал ничего подобного в художественно-литературном отношении. «Его комедия, — пишет Гончаров, — появилась раньше Онегина, Печорина, пережила их, прошла невредимо чрез гоголевский период и до сих пор живет нетленной жизнью, переживет и еще много эпох и все не утратит своей жизненности». Это происходит оттого, что Грибоедов, осмеивая в «Горе от ума» современное ему московское общество, осмеял и общечеловеческие пороки — ложь, безделье, взяточничество и т. п. Все выведенные лица типичны, живы и отнюдь не карикатурны. «Карикатуры, — как писал Грибоедов Катенину, — ненавижу, в моей картине ни одной не найдешь». «Это — картина нравов, галерея живых типов, — говорит Гончаров, — и вечно острая, жгучая сатира, а вместе с тем комедия, больше всего комедия. Соль эпиграмм, сатира, этот разговорный смех, — по справедливому замечанию того же Гончарова, — никогда не умрут». Имена действующих лиц этой комедии стали нарицательными, большинство фраз их сделалось обиходными в разговорной речи, настолько они характерны, метки, лаконичны и выражены прекрасным русским языком.

В данном случае Грибоедова можно сравнить с современным ему нашим столь же великим баснописцем дедушкой Крыловым, который, по метким словам поэта, «баснями себя прославил, сметая с нас пороков пыль», и его слава — «басни» — наша быль.

И не забудут этой были,
Пока по-русски говорят;
Ее и предки затвердили,
Ее и внуки затвердят.

Так и наш великий драматург Грибоедов стяжал себе бессмертную славу на литературном поприще одною своею вечно живою комедиею «Горе от ума», в коей, воспроизводя нашу неприкрашенную русскую быль, ставил благородною целью своего труда смести с нас не только «пороков пыль», но и вообще очистить от нравственной грязи русское общество того времени.

Посему неудивительно, что эта комедия, несмотря на все препятствия, которые ставили на ее пути к распространению строгая цензура того времени и считавшие себя задетыми ею разные влиятельные лица, стала тотчас же, по ее окончательной (третьей) обработке автором (в 1824 году), распространяться в десятках тысячах рукописных экземпляров во всей России, а после разрешения к печати (в 1833 году) — в сотнях тысячах, и, кажется, до настоящего времени во всем необъятном нашем отечестве не осталось ни одного медвежьего уголка, где бы ее не читали и не ставили на сцену общественную или домашнюю. Некоторые критики (Аполлон Григорьев) считали Чацкого единственным героическим лицом нашей литературы; другие называли его гением, в лице коего пророчески представлена печальная судьба наших великих поэтов — Пушкина, Лермонтова и других, загнанных обществом в безысходную драму (Меньшиков, «Оскорбленный гений»). По словам Скабичевского, комедия «Горе от ума» «имеет глубокое общественное значение для всех стран и времен, так как трагедия первого пионера в лице Чацкого вековечна. С первой и до последней страницы в ней разворачивается роковая и страшная борьба двух стихий: грядущая и только что расцветающая Европа борется здесь с отживающей Азией; свет с тьмой;

правда с ложью; неподкупная честность с низостью; свобода и независимость с раболепством и прислужничеством».

Не ставя своею задачей детальный и полный разбор этого великого произведения, я считаю необходимым указать, что даже те критики, которые указывали на некоторые недостатки комедии Грибоедова (Белинский, Пушкин), не могли отрицать ее крупных достоинств.

На литературное поприще Грибоедов вступил очень рано. Известны еще его студенческие литературные опыты. Первые его статьи («О кавалерийских резервах» и «Описание праздника в честь генерала Кологривова», под начальством коего он служил) были напечатаны в журнале «Вестник Европы» за 1814 год. Тогда же он окончил и перевод пьесы «*Le secret du ménage*» («*Тайна супружеской жизни*» (фр.)), назвав ее «Молодые супруги». Пьеса эта и доселе сохранила свой интерес, несмотря на псевдоклассический ее язык. В марте 1816 года Грибоедов вышел в отставку из полка и вошел в среду молодых и даровитых людей того времени. Одновременно он вступил и в высший свет и стал наблюдать его нравы в обеих столицах. Сближение с выдающимися декабристами, его сверстниками (Одоевским, Чаадаевым, Рылеевым), не могло пройти бесследным на его очень одаренную от природы натуру, чуткую к жизни во всех ее проявлениях.

Обладая по тому времени прекрасным образованием, он сумел постепенно разобраться среди господствующих тогда течений романтизма и классицизма и выработал свое собственное здоровое мировоззрение, заявляя во всеуслышание, что он «как живет, так и пишет свободно». Таким путем родился и бессмертный грибоедовский стих и язык. Но, повторяю, что кроме «Горя от ума», он, быть может, в силу особых условий его жизни и преждевременной смерти, не создал ничего, равного ему. Какая-то сила иссякла у него. В письме к своему другу Бегичеву, от 9 сентября 1825 года, в имении коего закончил свою комедию, он писал: «Не знаю, не слишком ли я от себя требую? Умею ли я писать? Право, для меня все еще загадка. Что у меня с избытком найдется, что сказать — за это я ручаюсь; отчего же я нем? Нем, как гроб?» Однако желание писать оставалось в глубине его души. «Призвание мое, — пишет он, — кабинетная жизнь. Голова моя полна, и я чувствую необходимую потребность писать». Тогда он задумал «Грузинскую ночь» — трагедию романтическую, в духе Шекспира. До нас дошли две сцены и очерк содержания этого произведения, которое друзья Грибоедова ставили даже выше «Горя от ума», но беспристрастное время провело надлежащую грань между этими произведениями:

Взгляни ни лик холодный сей.
Взгляни: в нем жизни нет;
Но как на нем былых страстей
Еще заметен след!
Так ярый ток, оледенев,
Над бездною висит.
Утратив прежний грозный рев,
Храня движенья вид.

Такое стихотворение написал в 1825 году поэт Е. А. Баратынский, глядя на портрет своего современника Грибоедова, с которым, кажется, не был знаком. Тем не менее он проникновенно и совершенно правильно выразил в художественном сравнении с замерзшим водопадом (током) тогдашнее, после крушения декабристов, ареста друзей Грибоедова, ареста и освобождения его самого (в июне 1826 года), душевное его настроение. Тогда Грибоедову жизнь казалась бесконечно томительной и бесцветной. «Не знаю, отчего это так долго тянется», — в полном отчаянии восклицал он. Но благородная и даровитая натура рвалась к деятельности и не позволила Грибоедову

предаться пассивному унынию. Занимая очень важный и ответственный пост по дипломатической части при главнокомандующем на Кавказе Паскевиче, он принял самое живое участие в войне с персами 1827—1828 годов, и особенно — при заключении весьма выгодного для России Туркманчайского мира 10 февраля 1828 года, чем навлек стоившую ему жизни ненависть шаха персидского и всех других влиятельных персов.

Будучи назначен затем, против своего желания, министром-резидентом в Персию как единственный человек, хорошо и в совершенстве знающий эту страну и могущий укрепить там русский престиж и влияние, он, со свойственными ему честностью, прямою и одушевлением, принялся за ответственное и весьма трудное порученное ему дело. Хотя по своей натуре и взглядам на задачи русской политики на Востоке он принадлежал к числу культурнейших людей того времени, желая сочетать выгоды государства с возможно большим простором для быта народностей, чьи вековые традиции сталкивались с официальным русским строем, но благие намерения его, к сожалению, не были поняты в Персии, по-видимому, по проискам англичан, которые опасались усиления там русского влияния. Персам, недовольным Туркманчайским миром и другими мероприятиями Грибоедова, не трудно было натравить на него и на русское посольство фанатическую толпу в количестве до ста тысяч человек, и сто лет тому назад — 30 января 1829 года по старому стилю — мужественно, с саблею в руках, защищающийся Грибоедов был убит, а с ним были убиты и почти все русские, служившие в посольстве.

Так кончилась эта богато одаренная, благородная и честная жизнь. Так погиб на своем посту поэт, гражданин, слуга Царя и сын своего Отечества. Изуродованное тело его было торжественно похоронено 18 июня 1829 года около церкви Св. Давида в Тифлисе. После него осталась неутешная молодая вдова Нина Александровна (урожденная княжна Чавчавадзе), которая поместила на памятнике мужа трогательную надпись: «Ум и дела твои бессмертны в памяти русской, но для чего пережила тебя любовь моя». Она осталась верна памяти мужа, несмотря на свою молодость, не вышла замуж. Умерла в 1857 году и похоронена рядом с мужем.

А. С. Грибоедов родился в Москве 4 января 1795 года, происходил из старинного русского дворянского рода, родоначальник коего Ян Гржибовский в начале XVII века выехал из Польши в Россию и перешел в русское подданство.

Смерть Грибоедова

Мало кто знает персидский язык, и немногие поймут по названию романа Юрия Тынянова «Смерть Вазир-Мухтара», что в нем говорится о гибели Грибоедова. Вазир-Мухтар значит по-персидски посланник, полномочный министр. Пристрастие к экзотической красочности побудило Тынянова предпочесть это название русскому.

Роман появился как нельзя более вовремя. 11 февраля исполняется ведь сто лет со дня смерти Грибоедова, и для тех, кто захочет в эти дни о поэте вспомнить, книга Тынянова — редкостная находка. В ней очень много сведений, сведения эти в общем верны, а от чтения романа, даже и суховатого, в памяти всегда остается больше, чем от обыкновенного исследования.

Встречаются люди, которые при самом слабом понятии о средневековой истории удивляют порой знанием мелких подробностей о Людовике XI, Карле Смелом или каких-нибудь тамплиерах, — откуда? Из Вальтера Скотта, конечно: они запомнили его на всю жизнь. Тынянов далеко не Вальтер Скотт, но назвать его совсем бездарным романистом нельзя. Ему удастся превратить своих героев в настоящих людей, оживить обстановку и эпоху, вообще возвысить свое повествование над протоколом. Как с первого взгляда это ни странно, наименее живое лицо в его романе — сам Грибоедов. Но на это есть причина. Тынянов не в состоянии был «выдумать» или создать Грибоедова, он для этого слишком слабый художник, а из того, что мы о Грибоедове знаем, живого человека не сложить, и образ его в нашем представлении двоится. О каждом из крупнейших русских писателей мы, даже не будучи биографами их, знаем, что это были за личности и характеры. Спросить средне образованного человека о Пушкине или Гоголе, Некрасове или Тургеневе — о ком угодно — он более или менее верно их главнейшие черты укажет, назовет самое существенное. Спросить о Грибоедове — не ответит ничего. Дипломат и поэт, но что за человек? Грибоедов ускользает от нас, и такой ускользающей, почти загадочной тенью он в нашей литературе остался. Пушкин довольно двусмысленно сказал о нем: «рожденный с честолубием, равным его дарованиям...» Федор Сологуб в коротенькой, ядовитой и остроумной статье утверждал, что, судя по портрету, Грибоедов был скорее всего Молчалиным. Я не помню точно слов Сологуба, и у меня нет под рукой его сочинений, но приблизительно Сологуб писал так: «Посмотрите на эту слегка склоненную голову, с чем-то неуловимо-уродливым в самом наклоне ее, на эти глаза, осторожно поблескивающие из-за очков, на весь этот облик удачливого и довольного своими успехами чиновника — ему ли было тошно прислуживаться?»

Но Молчалин не мог бы написать «Горе от ума». Неясность Грибоедова усиливается еще тем, что «Горе от ума» единственное его долговечное создание, все же остальные его наброски — сколько бы ни пытались его поклонники возвеличить и эту часть грибоедовского наследия — незначительны и признаков особой талантливости не обнаруживают. К тому же, по личным признаниям Грибоедова, нам известно, что знаменитая его комедия представляет собой далеко не то, о чем он мечтал. Нас пленяет в «Горе от ума» блеск, точность и меткость диалога, афористичность доброй половины стихов, законченность и полнота характеристик. А ведь Грибоедов жаловался, что он исказил комедию, снизил тон ее, и, насколько можно его слова понять, ему рисовалась в первоначальном замысле не столько картина нравов, сколько байроническая поэма с образами туманными и грандиозными, где Чацкий негодовал бы не на московских бездельников и приживалов, а на несправедливость Бога или рока. Что это была бы за поэма? С некоторой опаской думаешь о ней.

Как написана «Смерть Вазир-Мухтара»? В приложенном к книге аттестате, выданном Юрию Тынянову московским журнальчиком «На посту», доводится до всеобщего сведения, что «литературное мастерство автора очень высоко». О первом романе Тынянова — «Кюхля» — говорилось в свое время то же самое и говорилось, скорее всего, априори, без проверки. Как известно, Тынянов — видный теоретик, ученый-формалист, исследователь литературных схем; казалось несомненным, что все свои познания он применит на практике, блеснет изысканнейшим искусством. Но есть глубокая пропасть между механическим умением и творческим опытом. Не «приложу ума», в чем усмотрели «напостовцы» высокое мастерство Тынянова я его не заметил. Есть иногда изощренность, есть постоянно тщетное желание писать иначе, нежели писали до сих пор, есть утомительная показная «литературность» — можно сказать, как один из французских критиков: «Автор все время прицеливается, но патроны у него холостые».

Мне кажется, что скорее у Тынянова имеется неполное, скромное, но все же подлинное дарование рассказчика, чем «высокое мастерство». Не хочу быть голословным. Вот Тынянов описывает ночь:

«Стояла ночь.

На всем протяжении России и Кавказа стояла бесприютная, одичалая, перепончатая ночь.

Нессельроде спал в своей постели, завернув, как петух, оголтелый клюв в одеяло.

Ровно дышал в тонком белье сухопарый Макдональд, обнимая упругую, как струна, супругу.

Усталая от прыжков, без мыслей, спала в Петербурге, раскинувшись. Катя.

Пушкин бодрыми маленькими шажками прыгал по кабинету, как обезьяна в пустыне, и присматривался к книгам на полке.

Храпел в Тифлисе неподалеку генерал Сипягин, свистя по-детски носом.

И все были бездомны.

Не было власти на земле.

Герцог Веллингтон и Сент-Джемский кабинет в полном составе задыхались в подушках.

Дышал белой немужской грудью Николай.

Они притворялись властью.

И спал за звездами, в тяжелых окладах, далекий необычайно, и император императоров, митрополит митрополитов — Бог...»

Как все это старо, как беспомощно, как плохо — говоря попросту. Если это мастерство, то лучше уж не быть мастером.

Роман относится к последним годам жизни Грибоедова — с назначения его послом в Персию. Сначала описывается Москва, встреча поэта с Чаадаевым и генералом Ермоловым, опальным «проконсулом Кавказа». В этих эпизодах много удачного, особенно в ермоловском. Чаадаев представлен довольно карикатурно, но все-таки глава о нем интересна. Дальше Петербург, где Грибоедов несколько раз встречался с Пушкиным. Об этих встречах ничего примечательного в романе мы не найдем, — разве только намеки на осторожное, как бы выжидательное, отношение Пушкина к Грибоедову. Очень много рассказывается в этих главах о Булгарине и почти все — любопытно. Гораздо слабее изображение Николая I, которого Тынянов большей частью называет анонимно «известным лицом» — для придания какого-то символического зловещия, по-видимому. Сцена приема у императора сразу вызывает в памяти такую же сцену в «Хаджи-Мурате», — одну из самых блистательных, поразительных страниц Льва Толстого. Не следует сравнивать, скажут нам. Но не следует и подвергаться риску подобных сравнений, не следует повторять неповторимое.

Отъезд Грибоедова в Персию, остановка в Тегеране, переговоры с Паскевичем, царским «отцом-командиром», изображенным с насмешливой отчетливостью, женитьба на Нине Чавчавадзе, прибытие в Тегеран, дипломатические хлопоты, грозные предчувствия, наконец смерть — такова важнейшая часть романа. Чем ближе к концу, тем напряженнее внимание читателя. Заслуга Тынянова тут не велика: такова тема.

«Не знаю ничего завиднее последних годов бурной его жизни. Самая смерть, постигшая его посреди смелого неравного боя, не имела для Грибоедова ничего ужасного, ничего утомительного. Она была мгновенна и прекрасна».

Это слова Пушкина из «Путешествия в Арзрум».

Цитатой из дорожных записок Пушкина и кончается роман:

— Что везете?

— Грибоедова.

Но нельзя быть уверенным, что в дощатом гробу везли действительно «Грибоедова». Нелегко было опознать его искалеченное растерзанное тело среди трупов других «чинов российского посольства».

Пушкин, вероятно, не любил Грибоедова. Оттого он решился сказать, что в смерти его не было «ничего ужасного». В сущности, и мы, ценя и высоко ставя Грибоедова, восхищаясь им, — его едва ли любим. Оттого и о судьбе его мы наполовину забыли. Что смерть его могла бы внушить людям «ужас и жалость», — чувствуешь даже по холодному повествованию Юрия Тынянова.

Георгий Адамович

Роман о Грибоедове

Как раз к исполняющемуся на днях (30 января — 11 февраля) столетию со дня трагической смерти А. С. Грибоедова, погибшего 34 лет в знаменитой тегеранской резне, вышел отдельным изданием роман о нем Юрия Тынянова, печатавшийся ранее в одном из советских журналов. Юрий Тынянов — историк литературы, переводчик Гейне, автор романа-биографии о В. Кюхельбекере («Кюхля»).

«Смерть Вазир-Мухтара» (*«Вазир-Мухтар» — персидский титул Грибоедова.*) приближается к тому жанру художественной, «романтической» биографии (*biographie romanesque*), мода на который пошла из Англии, где наиболее удачные образцы его дал Литтон Стрэчи и откуда уже перенес его во Францию Андре Моруа («Ариэль, или Жизнь Шелли» и «Жизнь Дизраэли»), у которого нашлось много — слишком, может быть, даже много — подражателей.

Роман Тынянова представляет собой, правда, не полную художественную биографию, в нем захвачен в форме романа лишь сравнительно небольшой по времени отрезок жизни Грибоедова. Исходной точкой Тынянов взял приезд Грибоедова в Россию с заключенным им Туркманчайским трактатом — апогей прижизненной общерусской известности Грибоедова-дипломата, столь отличной от посмертной славы Грибоедова-писателя; конечной же точкой — встречу Пушкина с гробом Грибоедова.

Перед нами проходят основные этапы последних двух лет жизни Грибоедова: остановка в Москве — дом матери, встреча с Чаадаевым и посещение Ермолова; Петербург — представление ко Двору, разговоры с Нессельроде и Родофиниковым о проекте Закавказской Мануфактурной Компании; отношения с Булгариным и его женой, роман с балериной Телешовой, назначение посланником в Персию; дорога на Кавказ — дорожный роман с казачкой Машей; Тифлис — дом П.Н. Ахвердовой; главная квартира Паскевича — болезнь; снова Тифлис — женитьба на Нине Чавчавадзе; наконец Персия — сначала Тавриз, потом Тегеран.

Все это обильно уснащено лирическими, историческими и литературными отступлениями и рассуждениями от себя. Повествование ведется скачками, прерывисто, часто в нескольких планах разом: параллелизм — прием, особенно охотно применяемый Тыняновым.

И личность, и судьба Грибоедова настолько незаурядны и интересны, что не может не быть интересен роман, в котором он — герой.

Роману Юрия Тынянова и нельзя отказать в интересности, при всех его недостатках. А недостатков много.

С самого же начала роман Тынянова, заинтересовывая, вместе с тем раздражает своим претенциозным, каким-то, я бы сказал, вихляющимся и кривляющимся стилем, своей архитектурной расхлябанностью, обилием ненужных и нудных отступлений, расхолаживающей отсебятины. На манере письма Тынянова чувствуется несомненное влияние Андрея Белого с его «Петербургом» (при чтении характеристики Нессельроде неотвязно встает в памяти сенатор Аблеухов). Но то, что у Белого внутренне оправдано и притом связано неразрывно с ритмическим рисунком рассказа, то у Тынянова — надуманное, искусственное, чисто головное. Короткие, бессвязные, прыгающие фразы лишены внутреннего ритма; не доходя до читателя, они как бы безжизненно повисают в воздухе — форма и содержание не сливаются. Там, где у Белого чувствуется подчинение какому-то внутреннему закону, у Тынянова — одна голая претенциозность. Раздражение читателя постепенно нарастает, и к концу первого тома появляется желание сердито отшвырнуть книгу. Второй том стилистически и архитектурно удачнее. По мере драматического сгущения событий менее

ощутителен становится разлад между формой и содержанием, автор реже жонглирует своими фразами, письмо его становится плотнее, предметнее и подчас достигает известной художественной силы и убедительности. В целом, однако, остается впечатление обилия словесной шелухи, в которой теряются зернышки подлинного искусства.

Но Тынянов кривляется и гаерствует не только словесно. Он подходит с кривлянием, с какой-то издевкой ко всему: к людям, к событиям, к истории. Всюду и везде он старается прежде всего увидеть смешное, анекдотическое, принизить и измелчить. Все для него — предмет шаржа. Вся русская история, играющая в романе большую роль в качестве фона, оборачивается каким-то скверным анекдотом, а действующие лица ее — смешными марионетками. Смешон и император Николай Павлович, которого Тынянов, очевидно, в угоду власти предрежающим, изображает какой-то куклой, чуть ли не кретином; смешон и Ермолов, и его недруг Паскевич, и «серый карлик» Карл-Роберт Нессельроде, вице-канцлер Империи Российской, и «раскоряка» (!) Родофиникин, начальник Восточного департамента Министерства иностранных дел, и академик Аделунг, и полубезумный Чаадаев, и слуга Грибоедова Сашка; смешон, наконец, часто и сам Грибоедов. Может быть, Тынянов думал отдать этим дань Грибоедову — автору «Горя от ума»? Однако между комедией Грибоедова и шаржем Тынянова — «дистанция огромного размера». От изображения Николая I, от кощунственных шуточек веет просто советским душком. Чувствуется, что и роль Англии поднесена так, чтобы в лице Макниля — «лягнуть» Чемберлена.

Тут мы подходим к основному недостатку романа... Удалось ли Тынянову дать цельный портрет Грибоедова, приблизить к нам этого интересного, необыкновенно разносторонне одаренного человека, писателя, дипломата, музыканта, лингвиста, человека, полного внутренних противоречий, загадочного человека, по меткому выражению самого же Тынянова, распространявшего вокруг себя «острый запах судьбы»? Нет, «судьбу» Тынянов разменял на «анекдотцы», а вместо портрета дал нам разбитое на множество кусков зеркало, в осколках которого отражаются отдельные, по большей части смешные и мелочные, черты его прототипа.

Тынянов, конечно, в своем романе усердно пользовался подлинными автобиографическими и иными документами, письмами самого Грибоедова, свидетельствами современников. Я не считаю себя призванным судить, насколько при этом Тынянов верно и добросовестно следовал этим свидетельствам, что он из них заимствовал, что примыслил от себя. Важно не это. Важно, что основного Тынянов примыслить не сумел. Разбитые осколки зеркала никак у него не склеиваются. По глубокому и тонкому замечанию Моруа в одной из его кэмбриджских лекций, которые вышли по-французски под заглавием «Les aspects de la biographie», для художественного воплощения биографии необходимо отыскать в изучаемой жизни то внутреннее единство, тот лейтмотив, который должен быть присущ ей, как бы ни был сложен и противоречив объект изучения. Без этого биография не может стать художественно-синтетичным произведением, а остается собранием разрозненных фактов и черт. Тынянов не сумел найти в жизни Грибоедова этого внутреннего единства, этого ключа к предмету своего изучения. Отсюда — основная неудача его замысла. Мне кажется, что его все карикатурирующий подход — исключал самую возможность отыскания такого ключа. Могут сказать, что Тынянов писал не «жизнь», а «смерть» Грибоедова. Но без ключа к жизни Грибоедова непонятной остается и его смерть, тем более, что, по глубокому слову Рильке, каждый человек носит в себе самом свою смерть, и смерть так же индивидуальна, как жизнь.

Жизнь и смерть Грибоедова еще ждут своего художественного воплощения в рамках подлинной, а не шаржированной и сдобренной советским душком русской истории.

Роман Тынянова о Грибоедове

Баратынский писал к портрету Грибоедова:

Взгляни на лик холодный сей.
 Взгляни: в нем жизни нет;
 Но как на нем бывлых страстей
 Еще заметен след.
 Так яркий ток, оледенев.
 Над бездною висит.
 Утратив прежний грозный рев.
 Храня движенья вид.

Это обычный образ опустошенного сверхчеловеческими страстями человека, восходящий к пашам и ренегатам восточных поэм Байрона. Тынянов в своем романе («Смерть Вазир-Мухтара»; заграничное издание: «Петрополис», Берлин, 1929, два тома) дал совершенно свободное от романтизма понимание Грибоедова. Однако при чтении его стихи Баратынского постоянно приходят на память.

Тыняновский Грибоедов — опустошенный, живущий бессмысленной жизнью, почти «чертова кукла». Смысл из его жизни был вынут, когда при переломе от александровского царствования к николаевскому он предал своих — отрекся от декабристов и изменил Ермолову — и избрал примениться к новым людям, к *ragvenus* (высочки (*фр.*)), ставшим у власти с победой Николая, и основал свою карьеру на покровительстве Паскевича.

Тема предательства проходит через весь роман. В первой главе Грибоедов посещает брошенного им Ермолова. В течение всего романа встречи с декабристами или близкими им, упоминания о 14 декабря воскрешают в нем сознание измены. Цитаты из «Горя от ума» напоминают о том же. Принятый в интимный круг ближайших сотрудников Николая, узнавая в них Фамусовых и Скалозубов, он в себе узнает — Молчалина. Рядом с корректным, строгим, «оледеневшим» Грибоедовым — «его единственный друг», другой ренегат, теплый и мягкий, «неприличный», «фламандский» Булгарин. И на другой стороне другого рода изменники, русские дезертиры на шахской службе, и во главе их удивительный Самсон-Хан, беглый вахмистр Нижегородского драгунского полка, теперь влиятельный персидский начальник.

За смертью Грибоедова следуют новые предательства: спасшийся от смерти секретарь миссии Мальцов в порыве трусости предает его память персиянам и свидетельством своим устанавливает виновность самого Грибоедова в постигшем его конце. Русское правительство, занятое войной с Турцией, принимает версию Мальцова и предает своего мертвого министра, устраивая великолепный прием персидскому посланцу, за которым бегают весь Петербург, пока тело Грибоедова остается неразысканным в выгребной яме, а объявленное грибоедовским другое тело везется в плохо заколоченном ящике в Тифлис (*Тынянов исторически совершенно прав в оценке поведения николаевского правительства в вопросе о смерти Грибоедова. Этого инцидента достаточно, чтобы разрушить легенду о Николае I как верном страже международного достоинства России. В изображении же англичан, как главных виновников тегеранских событий, он скорее дает свой «ответ Чемберлену», чем руководствуется строго документальной историей.*). Таково внутреннее построение романа.

«Комплекс» предательства отравляет Грибоедова, парализует его волевые центры, вынимает смысл из его действий. Он не может ни к чему примениться, ничему предаться. Решив ехать к старой своей любовнице, балерине Телешовой, он вдруг забывает о ней и уезжает с женой Булгарина. Почти случайно, сомнамбулически женится на Нине Чавчавадзе. Твердо решив не ехать в Персию, едет туда и, не веря в Туркманчайский мир, упорно добивается у Персии его исполнения. В ходячем истукане Вазир-Мухтара (полномочного министра) нет живого Грибоедова. Большое место в романе занимает его широчайшего размаха проект о передаче управления Закавказьем компании по образцу Ост-Индской. Страстно сначала добиваясь его принятия правительством, Грибоедов постепенно охладевает к нему, хватка его слабеет, и он окончательно его бросает после резкой критики полковника Бурцова, бывшего декабриста.

Действие романа начинается за десять месяцев до смерти Грибоедова, приездом его в Москву по дороге в Петербург с Туркманчайским трактатом. Этим избегнут шаблон «романтической биографии». По сравнению с «Кюхлей», еще державшегося биографической формы, «Смерть Вазир-Мухтара» — несомненный шаг вперед. Подход к материалу свободней. Действующие лица не говорят цитатами, но разговор их выдерживается в тоне, созвучном их письмам и высказываниям (*Впрочем, не всегда удачно. Грибоедов говорит Булгарину (т. 1, стр. 52): «А твоя ферзь опять со своим Сахаром Медовичем». Это цитата из одного письма Грибоедова, совершенно некстати приуроченная.*). Многие эпизоды вымышлены. Все путешествие Грибоедова из России в Персию совершенно не биографично. Наличие крепкого смыслового костяка (тема предательства и бессмысленности) спасает «Смерть Вазир-Мухтара» от сравнений с расплывшимся повсюду лжебиографическим жанром и делает его настоящим романом, с единством действия. Проявленная Тыняновым еще в «Кюхле» высокая способность создавать живых людей в новом его романе проявляется еще ярче. Сам Грибоедов сделан с большой убедительностью и в самой своей мертвости — жив. Из второстепенных лиц особенно удачны Булгарин и камердинер Сашка. Очень хорош, хотя и более упрощен, Самсон-Хан. Но и самые эпизодические лица запечатлеваются резко и памятно. Пушкин, появляющийся только два раза (второй раз — в самом конце — знаменитое «Что везете? — Грибоедова»), взят очень остро и точно. Интересно в новой манере Тынянова несомненное использование гоголевских приемов, хотя и очень «дискретное», в стремлении дать фигурам простые физические формулы.

Роман Тынянова вновь ставит вопрос об историческом романе как жанре. Для Тынянова это прежде всего реконструкция данной исторической действительности, то есть вид истории. «Смерть Вазир-Мухтара» — историческая работа. Даже там, где автор «выдумывает», выдуманное им имеет целью дать более яркую формулу действительно бывшему, осмыслить и оживить его. Поэтому в нем так много элементов, не имеющих прямого отношения к действию, но чрезвычайно интересных как часть эпохи (например, быт русских дезертиров в Персии). Роман Тынянова — роман о России и Персии 1828-29 годов, и больше ни о чем. Это — интуитивно-восстанавливаемая история безо всяких вторых смыслов, однопланная и однозначная. Предательство Грибоедова — конкретное историческое предательство, и то, что Тынянов обставил его символическими вариациями, только приставляет к нему рупор и сосредотачивает на нем свет; оно само от этого не делается многозначным символом.

В этом отношении интересно сравнить «Смерть Вазир-Мухтара» с романом Ольги Форш о Гоголе («Современники»). Подход Ольги Форш как раз противоположен тыняновскому. Роман Тынянова гораздо лучше сделан, дисциплинированней, интересней («читабельней», без сравнения), чем «Современники». Но у Ольги Форш есть участие к своим героям, есть сознание их многозначности, их смысла, выходящего за пределы исторической данности (что довольно наивно и подчеркнуто ею в заглавии

романа). У Тынянова нет той «внутренней фауны», которая одна делает «поэтов», а только понимание, которое делает историков. Заинтересованность его в своих героях объективная и социальная. Роман прямо отвечает социальному заказу (интересу читателя к эпохе). Все это не умаляет его ценности. Хорошая история лучше неумелой «поэзии». Все-таки нужно различать, и, признавая высокие качества «Смерти Вазир-Мухтара», не надо забывать, что она принадлежит к иному классу, чем «Детство Люверс» Пастернака, «Конармия» Бабеля или «Раскованный человек» Тихонова.

Д. Святополк-Мирский

4

Известный критик-формалист, захотевший попробовать свои силы в художественной области, проделал большую работу; он знает людей и эпоху, о которой пишет. Для него было естественно от Кюхельбекера, которому он посвятил первый свой роман «Кюхля», перейти к другому представителю того же поколения. Он остановился на друге Кюхельбекера — Грибоедове.

Едва ли выбор героя был удачен. «Кюхля» был написан гораздо проще, с большим сочувствием автора к своему трагикомическому герою. Фигура Кюхельбекера — сочетание смешного и трагического — давала единство и красочность всему роману. Между тем роман о Грибоедове написан холодно, и отчасти не по вине автора. Сама личность Грибоедова не вызывает очень большого сочувствия. Нельзя назвать его дурным человеком. Он, разумеется, не был Молчалиным, — как зло и несправедливо говорил Федор Сологуб. Острый язык роднил его скорее с Чацким, но он, как заметил Пушкин, гораздо умнее своего героя. Неблаговидная роль в дуэли Шереметева, приписываемая ему молвой, ничем не доказана, как и другие обвинения против него, например, в подслуживании к своему родственнику Паскевичу. Он спасся от декабрьской бури, но спасся от нее и Пушкин. Он, как и Пушкин, остался верен личным своим друзьям среди декабристов и, может быть, проявил к ним в жизни больше деятельной любви. Его письмо к Паскевичу, где он просит победоносного генерала испросить у Царя прощение для Одоевского, останется памятником его благородства и дипломатической умелости: он знает, чем взять Паскевича. Он один из немногих поэтов, достигших больших успехов в практической жизни, на дипломатической службе.

Правда, дипломатия — единственная, кажется, область, в которой иногда преуспевают поэты: от Ламартина до Клоделя и от Шатобриана до Поля Морана. Но искуплением внешних успехов было внутреннее замерзание, душевный холод и внезапное творческое оскудение, почти беспримерное в истории литературы. Может быть, это «замерзание» было только внешним, как у Гете после Италии. К Грибоедову, вероятно, относится восьмистишие Баратынского:

Взгляни на лик холодный сей.
Взгляни: в нем жизни нет;
Но как на нем былых страстей
Еще заметен след!
Так ярый ток, оледенев,
Над бездною висит,
Утратив прежний грозный рев.
Храня движенья вид.

Самое интересное в жизненной судьбе Грибоедова — именно эта трагедия охлаждения поэта «пламенного», романтического поколения и вместе с тем трагедия творческого оскудения. Но этих тем Тынянов почти не коснулся. Он оставил в тени внутреннюю жизнь Грибоедова; в романе о Грибоедове самая бледная фигура — сам Грибоедов. Он только *сопоре* (зд.: *фигурант* (фр.)) романа-обозрения, в котором мелькают люди, города, положения, Москва и Петербург, Кавказ и Персия. Обзорение это порой очень занимательно, но чересчур длинно. Кажется, что автор хотел использовать целиком все, что знает, а знает он очень много. Задача его облегчается той формой, которую он избрал. Он отказался от связного и простого повествования и дал ряд словесных орнаментов на темы, связанные с биографией Грибоедова.

Увы, в его романе отразились не только 1828 год, о котором он пишет, но и год 1928 и советская Москва, в которой он пишет. Он дает нам своего Грибоедова *saucе* (*с приправой* (фр.)) Пильняк. В его стиле есть Гоголь в двойном преломлении (через Белого и Пильняка). Очень хорошо удается Тынянову все гротескное — Булгарин, грек-чиновник Родофиникин («пикуло человекуло»), балерина Катя Телешова, отставной Ермолов, Чаадаев, чрезвычайно окарикатуренный. Самые лучшие главы его романа — главы о Персии. Любопытна фигура Самсон-Хана, русского унтер-офицера, перебежчика, ставшего командиром полка русских дезертиров. Любопытен этот типичный унтер в персидской обстановке, его отношения с персианкой-дочерью. Образец для него было нетрудно сыскать в теперешней России.

Но, усиливая все характерное, красочное до гротеска, Тынянов совершенно не использует, «смазывает» все лирическое, все духовное. Самое глубокое и трогательное, что было в жизни Грибоедова, его предсмертный роман, необыкновенно бледен в книге Тынянова. Прекрасное письмо Грибоедова (к сожалению, оно адресовано Булгарину) о том, как он объяснился в любви полуребенку Нине Чавчавадзе, художественно стоит всей длинной книги Тынянова. Брат его невесты, какой-то Давыдчик, обрисован живее, чем сама прелестная княжна Нина. Тынянов цитирует отдельные фразы письма, но они у него приобретают другой оттенок (так, например, трогательное в контексте грибоедовского письма «я повис у нее на губах»). Сохранилось еще одно письмо Грибоедова, написанное незадолго до смерти его петербургской приятельнице Варваре Семеновне Миклашевич. В этом письме есть замечательное место, изумительные слова его девочки-жены: «Как это случилось! Где я, что и с кем! Будем век жить, не умрем никогда».

«Слышите? — пишет Грибоедов, — это жена мне сказала, ни к чему доказательство, что ей шестнадцатый год...» Нам кажется, когда мы читаем это письмо, что эти слова говорят скорее не о юности, а о большой глубине ее натуры (подтвержденной всей ее последующей жизнью). Они полны таким напряжением счастья и предчувствием гибели, таким метафизическим ощущением бренности, преходящести жизни, что на память приходит фаустовское «Остановись мгновенье, ты прекрасно!» Их цитирует и Тынянов, но как они затериваются у него в неудачном обрамлении! Начать с того, что Грибоедов писал свое письмо с дороги, из монастыря Эчмиадзина, «под сводами древней обители». Он описывает дорогу, где «бывают нам блестящие встречи, конница во весь опор несется, пылит, спешивается и поздравляет нас со счастливым прибытием туда, где бы вовсе быть не хотелось». Он описывает встречу в Эчмиадзине «с крестами, иконами, хоругвями, пением, курением». Все это дает красочность, создает настроение дороги, тревоги... Он ласково пишет о жене: «Жена моя, по обыкновению, смотрит мне в глаза, мешает писать, знает, что пишу к женщине, и ревнует». Все это дает как бы фон для ее изумительных слов. Между тем, Тынянов, казалось бы ничем не стесняемый в своем мозаичном повествовании, вдруг счел нужным пожертвовать исторической правильностью для чего-то вроде единства действия, и вместо дороги, вместо поэтического монастыря, переносит эту сцену в

Тавриз; действие происходит за ужином, где «Грибоедов засмотрелся на лысый сыр и нашел в нем сходство с Булгариным». Тынянов подчеркивает, что Нина-девочка заставляет его болтать глупости, и немудрено, что у него, как наивность, звучат ее слова: «Будем век жить, не умрем никогда».

Тынянов кончает свой роман сценой встречи Пушкина с прахом Грибоедова. Заключительные слова романа — цитата из Пушкина: «Что везете? — Грибоедова». Но и в этой заключительной главке он ослабляет цитаты своим орнаментом, своей выдумкой. Пушкин кончает свои замечательные страницы о Грибоедове в «Путешествии в Арзрум» словами: «Как жаль, что Грибоедов не оставил своих записок! Написать его биографию было бы делом его друзей; но замечательные люди исчезают у нас, не оставляя по себе следов. Мы ленивы и нелюбопытны».

Автору «Смерти Вазир-Мухтара» нельзя сделать этих упреков: он не ленив и любопытен. Но пробел, о котором жалеет Пушкин, остается незаполненным и после его книги.

М. Цетлин

Мать Грибоедова

Главой грибоедовской семьи была мать будущего драматурга Настасья Федоровна, рожденная тоже Грибоедова, из другой ветви этого старого дворянского рода. С мужем Сергеем Ивановичем, отставным майором, она жила не в ладах. Большую часть года тот проводил в рязанской деревне, а когда приезжал в Москву, то дни и ночи играл в карты и сильно расстроил свое имение. Воспитанием детей — сына Александра и дочери Марии, прекрасной музыкантши, — Настасья Федоровна руководила сама, и ее характер отразился и на отношениях к детям. «Это была, — пишет лучший биограф А. С. Грибоедова Н. Пиксанов, — знатная русская барыня, умная и любящая, но нетерпимая, страшно резкая в своих приговорах и деспотически властная даже в любви». Ее отношения к сыну очень напоминают мать Тургенева, резкостью она похожа на Ахросимову из «Войны и мира», и старуха Хлестова из «Горе от ума» очень близкая ей родня. Современники свидетельствуют, что мать поэта была «некогда очень известна в Москве по своему уму и резкости тона». Л.Н. Майков, со слов короткого знакомого Грибоедова, приписывает Настасье Федоровне руководство первоначальным домашним воспитанием сына и называет ее «женщиной очень просвещенной». Но это был ум своеобразного домостроевского склада. Когда такой ум соединяется с властным характером, — это становится тяжелым для окружающих и прежде всего для детей.

В письмах самого Грибоедова есть немало, — всегда, впрочем, сдержанных, — сетований на тяжелый характер матери. За три года до смерти он жалуется ближайшему своему другу Бегичеву на «зависимость от семейства». Десятью годами раньше, в 1816 году, он пишет тому же Бегичеву: «Неужели все заводчика корчишь? Перед кем, скажи, пожалуйста? У тебя нет матери, которой ты обязан казаться основательным; будь таким, каков есть». Видно, Грибоедову не раз приходилось ломать себя в угоду матери, чтобы казаться не таким, как есть. «Матушка никогда не понимала глубокого сосредоточенного характера Александра, а всегда желала для него только блеска и внешности», — свидетельствует сестра и чуткий друг поэта Марья Сергеевна. В 1818 году Грибоедов поверяет тому же Бегичеву одну из тяжелых сцен, которые приходилось ему испытывать не однажды. «В Петербурге, — пишет он, — судят обо мне и смотрят с той стороны, с которой я хочу, чтоб на меня смотрели. В Москве совсем другое; спроси у Жандра, как однажды за ужином матушка с презрением говорила о моих стихотворных занятиях и еще заметила во мне зависть, свойственную мелким писателям, оттого что я не восхищаюсь Кокошкиным и ему подобными». Политические симпатии сына вызывали у Настасьи Федоровны еще больше негодования. Когда Грибоедов был арестован за знакомство с декабристами и его провезли с курьером через Москву в Петербург, Бегичев, после свидания с другом, отправился к Настасье Федоровне. «Та с обыкновенной своей запальчивостью с первых же слов начала ругать сына на чем свет стоит: и карбонарий он, и вольнодумец, и прочее».

Деспотический свой нрав Настасья Федоровна проявляла по отношению к сыну и когда он был вполне самостоятелен. Недовольная его женитьбой, она отправила сыну на Кавказ письмо, по поводу которого Грибоедов, за месяц до смерти, жаловался Паскевичу: «Кому от чужих, а мне от своих; представьте себе, что я вместо поздравлений по случаю женитьбы получил от матушки самое язвительное письмо. Только, пожалуйста, неоценимый благодетель, держите это про себя и не доверяйте даже никому из вашего семейства. Мне нужно было вам это сказать; сердцу легче».

Властная, умная женщина, Настасья Федоровна, однако, не умела управлять своим состоянием: была опрометчива и расточительна и всегда нуждалась в деньгах. В 1816

году, — муж недавно умер, сын вышел в отставку из военной службы и переехал в Петербург, дочь была на выданье, — она, чтобы поправить свои дела, решилась на смелый шаг — купила у княгини Мещерской огромное имение в Костромской губернии, село Троицкое Солтаново (существует и ныне) Кологривского уезда. «Я, — признавалась она позже, — не имея при покупке того имения собственных денег, продала рязанскую свою деревню, сверх того заняла у разных людей немаловажную сумму и потом перезаложила сие, вновь купленное, имение в московский опекунский совет; почему, с пошлинами и употребленными мною на разные извороты деньгами и понесенными убытками, стоит оное уже более 300 000 рублей».

Настасья Федоровна надеялась, что имение с лихвой вознаградит за риск и убытки. Это было настоящее феодальное владение: кроме большого села, 20 деревень и свыше 17 000 десятин земли, преимущественно под лесом. Мужики в этих краях были не простые хлеборобы, а люди предприимчивые, занимавшиеся разными промыслами. Они ткали холст и тонкое полотно, которое еще с XVI века вывозилось в Голландию через Архангельск, выделявали также отличное сукно, валяли обувь, шили на рынок сапоги, шапки, занимались пчеловодством и лесной охотой. Новая помещица решила сразу извлечь из имения все, что можно. 17 ноября 1816 года она отправляет бурмистру Карпову, оставшемуся от прежней помещицы, приказ, написанный почти военным стилем: «Сбери сход и объяви всем крестьянам, что они проданы мне. Я за вас заплатила очень дорого, для того нельзя вас оставить на прежнем положении. Буде вы хотите жить спокойно и на своей родине, то подайте мне по сто рублей с тягла, по четыре аршина с тягла тонкого сукна, по четверть аршина черного сукна, по фунту коровьего масла, по четверть фунта грибов белых, по четверть барана, по десять яиц, по одной птице... Ты, как начальник, вразуми и втолкуй всем крестьянам, что лучше заплатить лишнее и быть на свободе и на своей стороне, а не то половина пахотной земли от вас возьмется, посадим вас на пашню, заведем винный завод и суконную фабрику, где вам не будет ни дня, ни ночи покою, а подав то, что я на вас накладываю, останетесь при своих местах щастливы и покойны. Реестр всем выписанным девкам-невестам посылаю, повести им, что которая хочет на волю, чтоб вносила за себя по триста рублей; и повести по другим деревням, не надо ли невест в замужество, а то я буду брать сюда, в Москву... Ко всем одиноким дать зятьев и смотреть, чтобы жена не была старше мужа, а по крайней мере в одни лета. Праздношатающихся чтоб у тебя не было, а представлять их сюда, я им места найду. Все оное старайся выполнить».

Оброк по сто рублей с тягла был невиданный, вчетверо выше самого высокого оброка в округе. Поборы натурой должны были дать целые склады товаров (1600 аршин одного тонкого холста). Очевидно, Грибоедова собиралась торговать полученным. Требования помещицы, да еще подкрепленные угрозами завести барщину, крепостные фабрики и даже принудительно выдавать замуж невест, ошеломили крестьян. Они пытались было склонить Грибоедову к уступкам, но та была непреклонна. Она сознавала, конечно, чрезмерность своих требований, но верила в угрозы и слала бурмистру все новые и новые требования, прибавляя в одном из приказов: «Уверь всех крестьян, что я госпожа добрая и христианка, после и им слобится».

Убедившись, что просьбами у барыни ничего не добьешься, крестьяне решили искать правды в Петербурге. Началась длившаяся три года борьба между суровой помещицей и ее крепостными рабами. Многочисленные и необычные перипетии этой борьбы сохранились в архивном деле «Департамента полиции исполнительной» 1817 года «по всеподданнейшей просьбе крестьянина Петра Никифорова об отягощении работами и налогами одновотчинников его помещицею Грибоедовой». Никифоров был уполномоченным ходоком крестьян — поручение, требовавшее не только энергии, опытности и находчивости, но и немалой смелости. И крестьяне, и их поверенный знали, конечно, чем рисковали, начав открытый поход против барыни. В конце концов

Петр Никифоров жестоко поплатился, но долг свой перед «одновотчинниками» выполнил с честью. Вообще действовали крестьяне умело и организованно: и на месте, и в Петербурге, куда слали одного за другим ходоков и где имели для совета опытных людей.

Непомерность требований Грибоедовой стала ясна для петербургских властей с самого начала, и ей было «внушено» смягчить поборы. Но она сделала лишь небольшие уступки. Крестьяне с тем большей силой стояли на своем, что их заветным, но неосуществимым желанием было перейти в удельное ведомство, о чем они и просили царя. Дело доходило до самых высших инстанций — до императора, Комитета министров, министра полиции — и причиняло массу беспокойства местным властям. Те, недовольные, что Грибоедова не уступала, не спешили содействовать ей. Но в конце концов она была в своем праве, а чрезмерное «потворство» крестьянам в их сопротивлении приказам не только помещицы, но и властей, угрожало заразить всю округу.

Крестьяне главные свои надежды возлагали на самого царя, так как не верили в беспристрастие местного дворянского начальства. Первый из ходоков, Никифоров, за «неоднократное утруждение государя императора недельными просьбами» был приговорен к 35 ударам плетью и ссылке в Нерчинск на поселение. Это не смутило последующих ходоков. Они отправлялись в Петербург (некоторые самовольно, без паспорта), находили там «подпору» и получали копии нужных бумаг. Один из них, Тимофей Антонов, 4 января 1819 года «утруждал у подъезда Зимнего дворца лично Его Императорское Величество просьбою на госпожу свою в излишних поборах оброка и притеснениях». Через три месяца другой ходок, Семен Карпов, подал лично государю всеподданнейшую просьбу в Царском Селе и «сделал при сем случае то бесчинство, что при принесении оной, минуя часовых, перелез через ров и решетку сада». Александр I приказал предать «дерзкого ходока суду», «по закону, в пример прочим», а крестьянам Грибоедовой объявить, «чтобы они немедленно обратились к законному порядку и повиновению». В Троицком в это время находилась воинская команда для усмирения бунтующих. Крестьяне, однако, заявляли, «что ни под каким видом не покорятся, пока не увидят при команде пушечного орудия. В то время только поверят, что отряд войска прислан действительно по воле государя императора и, удостоверясь в высочайшей воле, не допустив до выстрелов, будут повиноваться». Сопротивление крестьян, вооруженных, кроме «деревенских орудий — вил, дубин и т. д. — ружьями до трехсот штук» (они были в большинстве охотниками) и даже какой-то пушкой, было сломлено, без особого, впрочем, кровопролития.

Таким образом, осуществилось желание помещицы, которая настойчиво просила «воззреть с состраданием на бедственное ее и ее семейства положение» и прислать в ее вотчину воинскую команду для «приведения в должный порядок» бунтовщиков. Но уже с самого начала Грибоедова получила большой афронт — ее имение было отдано фактически под опеку, в управление шести соседей-помещиков. Она жаловалась неоднократно, что «ничем не заслужила, чтобы у меня отнимали право пользоваться моей собственностью. Воля государя императора, равно пекущегося о благе всех своих подданных, конечно, та, чтобы помещики получали следующие им доходы, не угнетая при этом крестьян излишними поборами». Этой вины Грибоедова за собой не признавала. Когда сопротивление крестьян закончилось, Грибоедова очень скоро продала имение княжне Долгоруковой. Костромской губернатор доносил после этого министру внутренних дел, что «означенные крестьяне находятся ныне в полном послушании новой своей помещицы, которая ими избрана самими». Поэтому и надзор за имением «соседственных дворян» был отменен. Так, после трехлетней борьбы, Настасья Федоровна вынуждена была отступить, и рушились ее надежды на быстрое обогащение. Впоследствии она постоянно нуждалась, и сын помогал ей из своего жалованья.

Этот эпизод, характерный для социальных отношений тех времен, обрисовывает с новой стороны фигуру матери автора «Горе от ума». Она становится в один ряд с другими помещицами-крепостницами, имена которых стали хорошо известны благодаря их сыновьям. Еще резче действовала в своей вотчине мать декабриста Н. И. Тургенева, и молодой Николай Тургенев в своей родовой деревне наблюдал крепостных, замученных его матерью. Так же хозяйничала у себя в имении мать другого Тургенева, Ивана Сергеевича, — барыня из «Муму».

Грибоедовское барство

Особняк Грибоедовых стоял на Новинском бульваре, в Москве, «под Новинским», как говорили тогда. На Святой здесь происходило известное праздничное катанье, и к Грибоедовым приезжали родные и знакомые смотреть с большой галереи на вереницу разукрашенных барских и купеческих экипажей. Два раза в неделю, по вечерам, собиралась у Грибоедовых молодежь. Знаменитый танцмейстер Иогель, увековеченный в «Войне и мире», давал уроки танцев.

Домом правила хозяйка, Настасья Федоровна, происходившая из того же старинного дворянского рода. Это была властная, умная барыня, настоящая дочь жестокой крепостной эпохи. Мы знаем ее хорошо с этой стороны, благодаря документам о долгой борьбе с крестьянами, о которой я рассказывал здесь недавно по новой книге профессора Н. К. Пиксанова. Но тот же исследователь нашел материалы, которые рисуют Настасью Федоровну с другой, более привлекательной, семейной стороны и дают нам картину не только грибоедовской Москвы, но и грибоедовской усадьбы. Это мемуары смоленских помещиков Лыкошиных, родичей Грибоедовых и соседей по имению брата Настасьи Федоровны — Александра Федоровича, в честь которого был окрещен и будущий автор «Горя от ума». В семье Лыкошиных любили писать мемуары, притом многотомные, сохраняя в них легенды и предания, заботливо устанавливая генеалогические связи. Записки дают ценное дополнение для характеристики той среды, в которой рос великий драматург и которая живет вечной жизнью в его комедии.

В 1805 году мать Владимира Ивановича Лыкошина повезла его и другого сына, Александра, в Москву, в университет. Мальчикам сопутствовал гувернер француз Мобер. Их поселили у профессора Маттеи на полном пансионе — за 1 200 рублей ассигнациями в год за двух «студентов» и гувернера. «В назначенный день, — вспоминает Лыкошин, — сошлись к нам к обеду профессора: Гейм, Баузе, Рейнгард, Маттеи и три или четыре других. Помню один эпизод этого обеда: пирамида миндального пирожного от потрясения стола разрушилась. Тогда Рейнгард, профессор философии, весьма ученый и молчаливый немец, впервые заговорив, возгласил: «Ainsi tombera Napoleon» («Так падет Наполеон»). Это было во время Аустерлицкой кампании. За десертом и распивая кофе, профессора были так любезны, что предложили Моберу сделать нам несколько вопросов. Помню, я довольно удачно отвечал: кто был Александр Македонский и как именуется столица Франции и т. п. Но брат Александр при первом сделанном ему вопросе заплакал. Этим кончился экзамен, по которому приняты мы были студентами с правом носить шпагу; мне было 13, а брату — 11 лет».

Вот сцена, живьем выхваченная из быта грибоедовского барства и того университета, в который впервые вступали юные московские баричи. Университет был только что преобразован. Кафедры заняли 15 новых профессоров, из них 11 иностранцев, некоторые с крупными европейскими именами. С другой стороны, для получения первого чина на государственной службе требовался образовательный ценз. И вот среди массы московских студентов — разночинцев и поповичей — появилась

группа аристократов: братья Лыкошины, Чаадаевы, Перовские, князья Лобановы, князья Щербатовы, графы Ефимовские, Николай Тургенев, Грибоедов. Ему, как и родичу и тезке младшему Лъжошину, было при поступлении в университет в 1800 году всего 11 лет. Эти юноши, вернее мальчики, приезжали в университет в собственных экипажах с гувернерами. У Лыкошиных был француз Мобер, у Грибоедова — немец Петрозилиус, потом доктор права Ион, у Чаадаевых — англичанин и т. д.

Мемуары Лыкошиных упоминают и еще целый ряд воспитателей-иностранцев у родных и соседей — «важный гувернер аббат Монкен у кузин Александра Сергеевича Грибоедова, аббат Бодэ, англичанин арфист Адаме, рисовальный учитель немец Мапер. Когда они собирались летом со своими питомцами в гостеприимной Хмелите, смоленском имении дяди Грибоедова, образовалась целая «колония разноплеменных субъектов-гувернеров». Среди них случались и титулованные осколки французской эмиграции предыдущего века. Из отроческих лет шло то превосходное знание языков — французского, немецкого, английского, итальянского, каким отличался Грибоедов. Но «отсюда же шло и то пренебрежение к «французикам из Бордо», вертунам залетным из-за Рейна, какое питал сам Грибоедов и какое он внушил Чацкому. Это был особый русский барский национализм, с каким бере относились к иностранцам, которых они нанимали и через которых усваивали европейскую культуру».

Лыкошины, поселив своих сыновей у профессора Маттеи, поручили мальчиков родственному надзору Настасьи Федоровны Грибоедовой. Она относилась к ним, как мать: юные студенты проводили праздничные дни у нее, она сама приезжала к ним убедиться, все ли в порядке. «Много приятных воспоминаний оставило мне время, проведенное на школьных скамьях», — рассказывает Лыкошин. Устройство университета в то время было отлично от настоящего: здание нового университета было тогда принадлежностью Пашкова, с садом, наполненным разными диковинами (позже здесь поместилась Румян-цевская библиотека), а флигель по Никитской был занят под Императорский театр. В так называемом теперь старом университете залы бельэтажа были аудиториями для студентов; в большой средней ротонде была конференц-зала, а в боковом отделении, направо от входа с Моховой, была церковь. Верхний этаж был занят дортуарами казенных студентов и классами гимназистов. О многих профессорах Лыкошин вспоминает как о «галерее оригиналов». Черепанов, читавший всеобщую историю, говорил в таком стиле: "Милостивые государи. С позволения вашего, Семирамида была великая распутница (он употреблял более резкое слово)". Когда нам надоест, бывало, слушать эти глупости, мы, как школьники, зашаркаем ногами; профессор, добряк, рассердясь, уходит. Старик Гейм, со своей статистикой, всякий раз лишь отворит дверь, — начинает на скором бегу к кафедре бормотать под нос себе лекции, так что начало ускользало от нас и не могло быть записано в тетрадах наших».

Экзамен на кандидата Лыкошин держал вместе со своим приятелем Грибоедовым. «Нас обоих в конференц-зале экзаменовал тогдашний ректор Гейм в присутствии наших гувернеров — Мобера и Петрозилиуса. Без хвастовства скажу, что я гораздо лучше Грибоедова отвечал, и вместе с ним провозглашены мы были кандидатами. Как чванился я моим шитым воротником!» Владимиру Лыкошину было 15 лет, Александру Грибоедову шел всего 14-й год, когда он получил аттестат на звание «кандидата 12 класса».

О самом Грибоедове Лыкошин, отлично его знавший, к сожалению, говорит мало. Вот выдержка из этих немногих строк: «В ребячестве он нисколько не показывал склонности к авторству и учился посредственно, но и тогда отличался юмористическим складом ума и какою-то неопределенною сосредоточенностью характера. Вспоминаю одну из его детских шалостей: в одно прекрасное утро он вздумал остричь наголо свои брови, которые были очень густы; за это ему порядочно досталось от матери. Отца его мы почти никогда не видали, он или жил в деревне

далеко от семьи, или, когда приезжал в Москву, проводил дни и ночи за азартною игрою вне дома и расстроил сильно имение».

Сравнивая «век минувший» с «нынешним» (который теперь тоже «доисторическое» время), Лыкошин находит, что тогда «жили привольнее; не было утонченных прихотей роскоши, но барство как-то ярче проглядывало во всей обстановке жизни. Толпы слуг, прилично одетых, вежливой внимательностью показывали, что довольны своим состоянием и за честь считают служить своим господам. Экипажами не щеголяли, но щеголяли упряжью; в чинах статского советника и выше иначе не ездили, как цугом, шестериком, с двумя форейторами, лошади в шорах, кучера и вершник в ливреях и треугольных шляпах, никогда менее двух лакеев на запятках, а иногда и три. Одни купцы ездили парой. И, несмотря на хлебосольство, на содержание огромной дворни и большого числа лошадей в городе, мало имений заложено было в Опекунском совете и редко о ком говорили, что долги его не оплачены».

Это, конечно, слишком идиллическая картина, которой можно противопоставить немало цитат из «Горя от ума». Лыкошин даже «нигде в то время не встречал» ни Фамусовых, ни Репетиловых, ни всех этих комических типов, за верность которых ручается громкая слава, заслуженная «этой комедией». Правильнее было сказать: «встречал, но не замечал», как не замечает человек мало наблюдательный своей привычной обстановки.

Лыкошин рисует, кроме Москвы, и деревенскую усадебную жизнь, в частности, поместье брата Настасьи Федоровны — Хмелиту Вяземского уезда. Его владелец, Александр Федорович Грибоедов, «был беспечный весельчак, разорявшийся в Москве на великолепные балы, и в деревне жил на широкую руку, без расчета, хотя и не давал праздников... Для воспитания дочери, которая потом вышла замуж за князя Паскевича, держали трех учителей иностранцев. Сам Александр Федорович женился первым браком на княжне Одоевской, вторым — на Нарышкиной. Соседи кругом тоже были титулованные. Поблизости находился Холм Уваровых. Его хозяйка, Дарья Ивановна (мать известного министра народного просвещения, автора знаменитой формулы — «Православие, Самодержавие, Народность»), жила долго, воспитывая сыновей, в Париже и сильно расстроила имение. Она была мастерица рассказывать по-французски даже самые обыкновенные вещи с забавной и легкой насмешкой. У нее водились приживалки, которых сплетни веселая старушка не прочь была послушать. Она сбывала соседкам поношенные наряды, привозимые во множестве из зимних поездок в Петербург, и выменивала их на более существенные вещи — нитки, чулки, птицу и подобные хозяйственные потребности. На вакации приезжали к ней сыновья — изящные молодые аристократы со своим важным гувернером аббатом Монкен, «и этот дом был, — вспоминает Лыкошин, Для нашего детства училищем высшего тона». В уваровском доме получалось много иностранных книг и журналов, которыми пользовалась и соседняя молодежь.

Приехав домой в 1811 году из Петербурга, где он поступил на службу, после трехлетнего отсутствия, Лыкошин заметил большую перемену со времени первой войны с французами. «Усиленные наборы и так называемая первая милиция значительно уменьшили дворовую прислугу. Отец, справедливо желая сберечь крестьянские дворы, отдал большую часть молодых музыкантов в рекруты, а лучших из них предложил ему известный аферист С. А. Якушкин выменять на крестьян, и от него те поступили в оркестр графа Каменского, имевшего в Орле свой театр и известную музыку. Затем уничтожил отец и псовую охоту и вообще сократил всякую излишнюю роскошь». К этой «роскоши» не относились домашние шуты. «В тогдашних дворянских домах, — вспоминает Лыкошин, — не обходилось без шутов, и это ремесло отправляли большею частью бедные дворяне, как выгодное для них благодаря разным подаркам. Были даже шуты иностранцы. Отец Лыкошина, «хотя человек серьезный, любил пошутить с этими жалкими приживальщиками».

Воспоминания Лыкошина дают любопытные штрихи и о религиозных настроениях грибоедовского барства. Сам автор «Горя от ума», как и Лыкошин, были и остались людьми религиозными. Дочь Лыкошина вспоминает о своем духовнике, Вяземском протоиерее Горянском: «Он был замечателен по уму, по знаниям, по редкому дару красноречия, его речи лились потоком, и слово насаждало благочестие в юных сердцах наших, когда он приезжал к нам во время говения нашего». Священником другого стиля являлся духовник Грибоедовых отец Иосиф — от старого Вознесенья в Москве. Это был светский иерей, испытавший влияние тех аббатов, которые учили в барских домах и нередко совращали питомцев в католичество. Он любил говорить по-французски и, когда кадил, проходя по церкви, то по-французски же извинялся перед дамами.

Барская жизнь грибоедовской Хмелиты кончилась в революцию. Последняя владелица поместья, фрейлина В. П. Волкова, покинула его вскоре после октября 1917 года. Два года в доме сменялись разные учреждения: читальня, чайная, какие-то военные курсы. Многие из обстановки огромного (52 комнаты) дома погибло. Но все же в 1919 году вывезли в Москву еще до 5 000 томов книг, а в вяземский музей было передано свыше 20 масляных картин.

«Горе от ума» в творчестве Достоевского

I

К знаменитой комедии Грибоедова Достоевский проявлял неослабный интерес на всем протяжении своего творчества. В «Дневнике писателя» 1876 года он сам подчеркивает свое постоянное внимание к «Горю от ума». Вновь задумавшись над образом Молчалина, Достоевский говорит, что «чуть не сорок лет» зная «Горе от ума», он только теперь понял как следует тип Молчалина (*«Дневник писателя... 1876 г. Гл. 1/3, XI, 422—423.»*). Об этом интересе свидетельствуют не только критические отзывы Достоевского о комедии Грибоедова, но и обилие цитат из «Горя от ума», рассеянных в его художественных произведениях, письмах и статьях. Достоевский охотно пользуется ходячими изречениями из «Горя от ума», как, например: «И дым отечества нам сладок и приятен» («Ползунков», I, 362); «Свежо предание, а верится с трудом» («Записки из Мертвого дома», III, 464; «Идиот», VI, 231); «...о том, о сем, а больше ни о чем» («Зимние заметки», IV, 58; вместо «к тому, к сему, а чаще ни к чему...»); «...отважно жертвуя затылком» («Зимние заметки», IV, 63; вместо «...чтобы смешить народ, отважно жертвовать затылком...»); «Дома новы, но предрассудки стары» («Крокодил IV, 227); «Ни звука русского, ни русского лица» (Письмо от 16 августа 1867 года. — Письма, II, 36).

Но более показательны цитаты, свидетельствующие о том, что Достоевский знал отлично чуть не весь текст комедии, без чего он вряд ли мог бы в нужный момент вспомнить такие места комедии, как: «...чтоб иметь детей, Кому ума не доставало?» («Дневник писателя», 1881 г., XII, 452); «К перу от карт и к картам от пера, И положенный час приливам и отливам» (Материалы к «Бесам». Роман «Бесы», изд. «Парабола», стр. 606); «Приданого взял шиш, по службе ничего» («Дневник писателя», 1881 г., XII, 452).

Количество этих цитат могло бы быть мною увеличено, но и уже приведенного достаточно для подтверждения того, что Достоевский свободно черпал из сокровищницы гениального по мастерству языка произведения Грибоедова.

Наблюдение над творчеством Достоевского показывает, что цитаты из того или иного произведения появляются у него не только в применении к подвернувшемуся случаю, по простой ассоциации памяти, а почти всегда выдают известную идейную связь с цитируемым произведением. Поэтому исследователь обязан всегда с большой внимательностью отнестись к такого рода цитатам; именно здесь чаще всего лежит первое указание на идейно-художественную зависимость двух произведений. Так и в данном случае, в применении к Грибоедову, цитаты и припоминания комедии Грибоедова отнюдь не случайны: мы их больше всего обнаруживаем в тех произведениях, которые дадут нам материал для установления идейно-художественного воздействия Грибоедова на Достоевского. А именно: в «Униженных и оскорбленных», «Идиоте», «Подростке».

II

Достоевский не только знал комедию Грибоедова, но и глубоко пережил ее в своем сознании. Он старался критически осмыслить образ Чацкого, более всего поразивший его, и определить его место в русской культурно-общественной жизни. И, как всегда в критических оценках Достоевского, он не идет здесь по следам других, а вносит свое, оригинальное понимание в этот образ. В этих прямых отзывах Достоевского о Чацком прежде всего поражает суровость его оценки, почти беспощадное осуждение Чацкого

как явления общественного беспочвенничества (*О критической оценке Достоевским Чацкого писал Н. К. Пиксанов в статье «Оценка "Горя от ума" в литературной критике» (Грибосдов. Поли, собр. соч., акад. изд., т. II. СПб., 1913. стр. 332—333). «У Достоевского, — говорит он, — есть несколько суждений о произведении Грибоедова, правда, отрывочных и случайных, но знаменательных и оригинальных»; и ниже: «Родство Чацкого, бытовое и психологическое, с барской средой, его декабристские настроения отмечены сильно и правильно, а попытка оценить Чацкого с широкой принципиальной точки зрения заслуживает серьезного внимания и обсуждения»*). Так, в «Дневнике писателя» за 1876 год Достоевский вкладывает в уста своего «приятеля-парадоксалиста» следующие слова о Чацком: «Ведь это Чацкий, что ли, провозгласил...

...чтоб иметь детей
Кому ума не доставало?

И провозгласил именно потому, что сам-то он и был в высшей степени необразованным москвичом, всю жизнь свою только кричавшим об европейском образовании с чужого голоса, так что даже завещания не сумел написать, как оказалось впоследствии, а оставил имение неизвестному лицу «другу моему Сонечке». Эта острота насчет «кому ума не доставало» тянулась пятьдесят лет именно потому, что и целых пятьдесят лет потом у нас не было людей образованных» (*«Дневник писателя» за 1876 год, XI, 373. «Другу моему Сонечке» — ср. у Салтыкова-Щедрина «Господа Молчалины» (об этом ниже)*). Пусть за эти слова Достоевский не несет полной ответственности, ведь приписаны они другому лицу; свое несогласие с ним Достоевский прямо оговаривает: «С взглядами его, то есть собеседника, я не совсем согласен» (*Там же, стр. 372*). Но мы убедимся, что и прямо от своего имени Достоевский отзываясь о Чацком не менее сурово.

В черновых заметках из «Записной книги» Достоевский, например, говорит: «Комедия Грибоедова гениальна, но сбивчива: «Пойду искать по свету...» Т. е. где? Ведь у него только и свету, что в его окошке, у Московских хорошего круга, не к народу же он пойдет. А так как Московские его отвергли, то, значит, «свет» означает здесь Европу. За границу хочет бежать.

Если б у него был *сеет* не в московском только окошке, не вопил бы он, не кричал бы он так на бале, как будто лишился всего, что имел, последнего достояния. Он имел бы надежду и был бы воздержнее и рассудительнее.

Чацкий — декабрист. Вся идея его — в отрицании прежнего, недавнего, наивного поклонничества. Европы все нюхнули, и новые манеры понравились. Именно *только* манеры, потому что сущность поклонничества и раболепия и в Европе та же» (*Из «Записной книжки». Биограф., II, стр. 375.*).

Это сближение Чацкого с декабристами не случайно вырвалось у Достоевского. У него сложилось твердое убеждение, что Чацкий, как общественный тип, непосредственно связан с декабризмом, что в нем заложены все данные, чтобы примкнуть к этому движению, по оценке Достоевского, беспочвенному и пагубному. Когда Достоевский обдумывал своих «Бесов», в которых хотел дать картину русского общества, в галерее типов, рисовавшихся ему в этой картине, он, несомненно, отводил место и Чацкому. «Чацкие» — было для него собирательным понятием. В черновых материалах к роману «Бесы», опубликованных еще в 1906 году А. Г. Достоевской, имеется следующая исключительная по своей определенности запись о Чацком: «Гр. (то есть Грановский, позже Степан Трофимович Верховенский) говорит: «К перу от карт и к картам от пера, И положенный час приливам и отливам».

Шатов тотчас же подхватывает: «Чацкий и не понимал, как ограниченный дурак, до какой степени он сам глуп, говоря это. Он кричит: «Карету мне, карету!» в негодовании, потому что не в состоянии и сам догадаться, что можно ведь и иначе

проводить время, хотя бы и в Москве тогдашней, чем «к перу от карт и к картам от пера». Он был барин и помещик, и для него, кроме своего кружка, ничего и не существовало. Вот он и приходит в такое отчаяние от московской жизни высшего круга, точно кроме этой жизни в России и нет ничего. Народ русский он проглядел, как и все наши передовые люди, и тем более проглядел, чем более он передовой. Чем больше барин и передовой, тем более и ненависти — не к порядкам Русским, а к народу Русскому. Об народе Русском, об его вере, истории, обычае, значении и громадном его количестве — он думал только как об оброчной статье. Точно так думали и декабристы, и поэты, и профессора, и либералы, и все реформаторы до Царя Освободителя. Он тянул оброк, чтоб на него жить в Париже, слушать Кузена и кончить Чаадаевским или Гагаринским католицизмом. Если же он вольнодумец, то ненавистью Белинского и *tutti quanti* (*всех прочих (ит.)*) к России. Но пуще всего то, что он и вообразить себе не мог, чтоб в России был другой мир, кроме московского, — потому что он сам московский барин и помещик. И насколько же умнее его эти дураки москвичи, игравшие в карты. Но пусть он глуп, зато у него сердце доброе. Пусть он недалек — зато мысль его все-таки оригинальна. Тогда все эти тирады против Москвы все-таки были оригинальны...»

И здесь снова Достоевский называет Чацкого декабристом. Переходя к вопросу об освобождении крестьян, Достоевский продолжает о Чацком: «Эта мысль у царей родилась еще давно, а декабристу Чацкому и в голову не приходила. Их, напротив, брали под опеку за жестокое обращение с крестьянами — и почему? Злы, что ли, они так были? Вовсе нет, а потому, что оригинальнее посмотреть на Русь не могли, свое московское общество за всю Россию принимали...» (*Материалы к роману «Бесы». Из «Записной книжки». Роман «Бесы», изд. «Парабола», стр. 606—607.*)

Но уже в этой записи мы встречаем интересное противопоставление «ума» Чацкого его «сердцу». Для нашего понимания отношения Достоевского к образу Чацкого это место имеет существенное значение. «Пусть он глуп, зато у него сердце доброе», — вот та оценка, которая обусловила собою двойственное отношение Достоевского к Чацкому. Как мы увидим ниже, в своем художественном творчестве Достоевский проявляет совершенно иное отношение к Чацкому, я бы сказал, почти любовное, хотя прямо об этом нигде и не говорит. Только при таком отношении можно понять, почему Чацкий сыграл такую большую роль в творчестве Достоевского. В своих же критических отзывах Достоевский необычайно суров к Чацкому. Это кажущееся противоречие можно устранить, приняв во внимание, что Достоевский в своих оценках исходит из разных критериев. В своих критических отзывах он рассматривает Чацкого как общественный тип («московский барин и помещик») и определенное историческое явление («декабрист»), в художественном же истолковании он исходит от Чацкого-человека, трагедию которого он усматривает в его идеализме.

Весьма показательно, что в более раннем своем отзыве о Чацком и, что я здесь особенно подчеркиваю, в произведении, стоящем на грани художественного творчества, в своих «Зимних заметках о летних впечатлениях», относящихся к 1863 году, эта двойственность отношения к Чацкому сказывается еще определеннее. Сравнительная мягкость общественной оценки Чацкого сопровождается здесь какой-то любовно окрашенной эмоцией к нему как человеку. Именно такое любовное отношение к Чацкому как человеку сохранил Достоевский и позже, отразив его в своем художественном творчестве. Привожу эти чрезвычайно интересные и показательные строки полностью: «Вспомните Чацкого. Это и не наивно-плутоватый дед, но и не самодовольный потомок, фертон стоящий и все порешивший. Чацкий — это совершенно особый тип нашей русской Европы, это тип милый, восторженный, страдающий, взывающий и к России и к почве, а между тем все-таки уехавший опять в Европу, когда надо было сыскать

Одним словом, тип совершенно бесполезный теперь и бывший ужасно полезным когда-то. Это фразер, говорун, но сердечный фразер, и совестливо тоскующий о своей бесполезности. Он теперь в новом поколении переродился, и мы верим в юные силы, мы верим, что он явится скоро опять, но уже не в истерике, как на бале Фамусова, а победителем, гордым, могучим, кротким и любящим. Он сознает, кроме того, к тому времени, что уголок для оскорбленного чувства не в Европе, а, может быть, под носом, и найдет, что делать, и станет делать. И знаете ли что: я вот уверен, что не все и теперь у нас одни только фельдфебеля цивилизации и европейские самодуры; я уверен, я стою за то, что юный человек уже родился... но об этом после.

А мне хочется еще сказать два слова о Чацком. Не понимаю я только одного: ведь Чацкий был человек очень умный. Как это умный человек не нашел себе дела? Они все ведь не нашли дела, не находили два-три поколения сряду. Это факт, против факта и говорить бы, кажется, нечего, но спросить из любопытства можно. Так вот, не понимаю я, чтоб умный человек, когда бы то ни было, при каких бы то ни было обстоятельствах, не мог найти себе дела. Этот пункт, говорят, спорный, но в глубине моего сердца я ему вовсе не верю. На то и ум, чтоб достичь того, чего хочешь. Нельзя версты пройти, так пройди сто шагов, все ж лучше, все ближе к цели, если к цели идешь. И если хочешь непременно одним шагом до цели дойти, так ведь это, по-моему, вовсе не ум. Это даже называется белоручничеством. Трудов мы не любим, по одному шагу шагать не привычны, а лучше одним шагом перелететь до цели или попасть в Регулы. Ну вот это и есть белоручничанье. Однако же Чацкий очень хорошо сделал, что улизнул тогда опять за границу: промешкал бы маленько и отправился бы на восток, а не на запад. Любят у нас запад, любят, и в крайнем случае, как дойдет до точки, все туда едут. Ну вот и я еду. «*Mais moi c'est autre chose*» («Я — это другое дело» (фр.)). Я видел их там всех, т. е. очень многих, а всех не пересчитаешь, и все-то они, кажется, ищут уголка для оскорбленного чувства. По крайней мере, чего-то ищут. Поколение Чацких обоюго пола после бала Фамусова, и вообще, когда был кончен бал, размножилось там подобно песку морскому, и даже не одних Чацких: ведь из Москвы туда они все поехали.

Сколько там теперь Репетиловых, сколько Скалозубов, уже выслужившихся и отправленных к водам за негодностью. Наталья Дмитриевна с мужем там неперменный член. Даже графиню Хлестову каждый год туда возят. Даже и Москва всем этим господам надоела. Одного Молчалина нет: он распорядился иначе и остался дома, он один только и остался дома. Он посвятил себя отечеству, так сказать, родине... Теперь до него и рукой не достанешь; Фамусова он и в переднюю теперь к себе не пустит: «деревенские, дескать, соседи, в городе с ними не кланяются». Он при делах, и нашел себе дело. "Он знает Русь, и Русь его знает". Да, уж его-то крепко знают и долго не забудут. Он даже и не молчит теперь, напротив, только он и говорит. Ему и книги в руки... Но что об нем. Я заговорил об них обо всех, что ищут отрадного уголка в Европе, и, право, я думал, что им там лучше. А между тем на их лицах такая тоска... Бедненькие! И что за всегдашнее в них беспокойство, что за болезненная, тоскливая подвижность!» («Зимние заметки», IV, 67—68. М. Альтман в заметке «К статье А. Бема "Горе от ума" в творчестве Достоевского» выдвигает положение, что и самое заглавие «Зимние заметки о летних впечатлениях» продиктовано известным выражением Чацкого: «Певец зимой погоды летней». См. «Slavia», 1934. т. XII, в. 3-4. стр. 486.) Страница, относящаяся к «Горю от ума» в «Зимних заметках», интересна еще в одном отношении. Здесь Достоевский пробует перенести героев комедии Грибоедова в современность (Намек на такой прием имеется уже в статье «Пожары» 1862 года, весьма основательно приписываемой перу Достоевского. В ней имеется следующее место: «Возвращающиеся во времена графини Хлестовой должны опомниться. Ей теперь 90 лет. За ней идти стыдно». См. Б. Казьмин, «Бр.

Достоевские и прокламация "Молодая Россия"» в журнале «Печать и революция», 1929. № 2-3, стр. 72.). Позже по этому пути, как известно, пошел М. Е. Салтыков-Щедрин в своих очерках «Господа Молчалины». Сам Достоевский придавал этим очеркам Салтыкова большое значение. Именно их он имел в виду, когда говорил, что по очеркам знакомого писателя он понял образ Молчалина. Об этом говорится в уже упоминавшемся «Дневнике писателя» за 1876 год: «Недавно как-то мне случилось говорить с одним из наших писателей (большим художником) о комизме в жизни, о трудности определить явление, назвать его настоящим словом. Я именно заметил ему перед этим, что я, чуть не сорок лет знающий "Горе от ума", только в этом году понял как следует один из самых ярких типов этой комедии, Молчалина, и понял, именно когда он же, т. е. этот самый писатель, с которым я говорил, разъяснил мне Молчалина, вдруг выведя его в одном из своих сатирических очерков (об Молчалине я еще когда-нибудь поговорю, тема знатная)...» («Дневник писателя», 1876 г., XI, 422—423.).

В этих очерках Салтыкова как раз и содержится эпизод из дальнейшей судьбы Чацкого, так понравившийся Достоевскому. Молчалин рассказывает там о Чацком, что он «таки женился на Софье-то Павловне да и как еще доволен-то был», и как после своей смерти поставил Софью Павловну в смешное положение, написав в завещании: «Имение мое родовое представляю другу моему Сонечке по смерти ее» (*Собрание сочинений, т. IX. стр. 222.*).

Вот эта неспособность Чацких «сделать самого простого дела», написать юридически правильно завещание, показалась Достоевскому блестяще подмеченной Салтыковым в словах завещания «другу моему Сонечке». Выражение это он прочно запомнил и, как мы видели, использовал его в другом месте. Но при этом Достоевский сам забыл, что явился прямым предшественником Салтыкова в попытке дать художественное продолжение «Горя от ума», и особенно в намерении своем выдвинуть на первое место роль Молчалина, что сделал затем Салтыков. И возможно, что не Достоевский обязан Салтыкову в истолковании образа Молчалина, а Салтыков под влиянием «Зимних заметок» пришел к мысли о продолжении комедии Грибоедова. Во всяком случае отметим, что образ Молчалина, наряду с Чацким, задевал художественное воображение Достоевского. Поэтому нет ничего удивительного, что с ним мы еще встретимся, когда будем говорить о художественных воздействиях комедии Грибоедова на творчество Достоевского.

Достоевский высоко ценил художественную сторону «Горя от ума», и его суровая оценка Чацкого более относится к самому Грибоедову, чем к герою его комедии. Об этом свидетельствует следующее место «Дневника писателя»: «Но вот вам "Горе от ума" — ведь оно только и сильно своими яркими художественными типами и характерами, и лишь один художественный труд дает все внутреннее содержание этому произведению; чуть же Грибоедов, оставляя роль художника, начинает рассуждать сам от себя, от своего личного ума (устами Чацкого, самого слабого типа в комедии), то тотчас же понижается до весьма незавидного уровня, несравненно низшего даже и тогдашних представителей нашей интеллигенции. Нравоучения Чацкого несравненно ниже самой комедии и частью состоят из чистого вздора. Вся глубина, все содержание художественного произведения заключается, стало быть, только в типах и характерах. Да и всегда почти так бывает» («Дневник писателя... 1876 г. Апрель, гл. 1/2. XI, 250.).

В Чацком, однако, он подметил одну черту, которая ему была всегда дорога, хотя он ее и осуждал. Черта эта — неприспособленность к жизни, «фантастичность» характера, полное неумение найти свое место в жизни. Большинство героев самого Достоевского отличаются таким же отрывом от «живой жизни». В Чацком Достоевский почувствовал родственный себе образ, вызывающий в нем сочувственный отклик. Его привлек не ум Чацкого, которого он вслед за Пушкиным не склонен был в нем видеть, а его сердце (*Напомним здесь, кстати, замечательные слова Пушкина о герое комедии Грибоедова: «Чацкий совсем не умный человек, но Грибоедов очень умен» (письмо от 28 января*

1825 года князю П. А. Вяземскому. — Венг., V, 540); и в другом месте: «Все, что говорит он, очень умно, но кому говорит он все это?.. Первый признак умного человека — с первого взгляду знать, с кем имеешь дело, и не метать бисера перед Репетиловыми и подобн.» (Венг., V, 540).). В понимании Достоевского, поскольку об этом можно судить по отражениям в его художественном творчестве, комедия Грибоедова «Горе от ума» претворилась в трагедию «Горе от сердца».

Уже из оценки Достоевским «Горя от ума» как произведения художественного мы могли заметить, что его привлекала и бытовая сторона комедии. Сам не чуждый в своем творчестве сатирического подхода в изображении типов и характеров, Достоевский невольно тянулся к Грибоедову. Его привлекала способность Грибоедова оставаться на грани сатирического изображения действительности, давать бытовую картину, лишь слегка сатирически окрашенную. В его попытках отразить быт дворянской среды в отдельных ее представителях нетрудно заметить отражение интереса Достоевского к бытовой стороне комедии Грибоедова. Но самому Достоевскому никогда не удавалось остановиться на той грани, которая его привлекала в Грибоедове. У него невольно над бытовой стороной перевес брало стремление дать психологически углубленный образ. Уже в «Униженных и оскорбленных», где в образе старого князя Валковского Достоевский пытается изобразить представителя аристократического дворянства, ему эта попытка не удалась. Но все же и здесь можно нащупать следы воздействия грибоедовской комедии. Припомним хотя бы слова Маслобоева о князе Валковском: «Ну-с, князю, разумеется, жениться нельзя было: что, дескать, графиня Хлестова скажет, как барон Помойкин об этом отзовется? Следовательно, надо было надуть» («Униженные и оскорбленные», III, 185. Фамилия «Помойкин» восходит к Гоголю. См. Андрей Белый, «Мастерство Гоголя». М., 1934, стр. 216.).

III

Но есть в «Униженных и оскорбленных» более разительные следы отражения бытовой стороны грибоедовской комедии.

Совпадение имен действующих лиц произведений Достоевского с именами произведений других авторов часто является указанием на известную связь этих произведений. Не случайно в «Униженных и оскорбленных» появляются в роли приятелей Кати два ее дальних родственника Левенька и Боренька. Репетилов в своем известном монологе упоминает двух завсегдатаев Английского клуба — Левона и Боришку. Есть, говорит Репетилов,

Еще у нас два брата:
Левон и Боришка — чудесные ребята!
Об них не знаешь что сказать...

В сходном положении Алеша вспоминает о Левеньке и Бореньке: «...У Кати есть два дальние родственника, какие-то кузены, Левенька и Боренька, один студент, а другой просто молодой человек. Она с ним имеет сношения, а те просто необыкновенные люди... Когда мы говорили с Катей о назначении человека, о призвании и обо всем этом, она указала мне на них и немедленно дала мне к ним записку; я тотчас же полетел с ними знакомиться. В тот же вечер мы сошлись совершенно. Там было человек двенадцать разного народу — студентов, офицеров, художников; был один писатель... Все они приняли меня по-братски, с распростертыми объятиями... Живут они в пятом этаже под крышами; собираются как можно чаще, но преимущественно по средам к Левеньке и Бореньке. Это все молодежь свежая; все они с пламенной любовью ко всему человечеству; все они говорили о настоящем, будущем, о науках, о литературе, и говорили так хорошо, так прямо и просто... Туда же ходит один гимназист. Как они

обращаются между собой, как они благородны! Я не видал еще до сих пор таких!..» (*«Униженные и оскорбленные»*, III, 155.)

Не может быть сомнения в том, что здесь перед нами перенесение «Левона и Бориньки» комедии Грибоедова в иную историческую эпоху, из Английского клуба на собрание «под крышей» социалистической молодежи. За это говорит не только совпадение имен, но и совпадение композиционной роли этих лиц. Задача их указать на беспочвенность определенной группы, подчеркнуть бессмысленное «беснование» недовольной общественной группировки. «Шумим, братцы, шумим» одинаково подошло бы и к оценке роли «тайных собраний» Английского клуба, участником которых был Репетилов, и «собраний по средам» у Левеньки и Бореньки «под крышей», от которых в таком восторге Алеша. После «Левона и Бориньки» у Грибоедова Репетилов вспоминает «гениального» Удушьева:

Но если гения прикажете назвать:
Удушьев Ипполит Маркелыч!!!
Ты сочинения его
Читал ли что-нибудь? хоть мелочь?
Прочти, братец, да он не пишет ничего...

В параллель ему Алеша говорит о Безмыгине: «Безмыгин — это знакомый Левеньки и Бореньки, и, между нами, голова и действительно гениальная голова! Не далее как вчера он сказал к разговору: дурак, сознавшийся, что он дурак, есть уже не дурак! Какова правда! Такие изречения у него поминутно. Он сыплет истинами» (*«Униженные и оскорбленные»*, III, 156.).

Алеша здесь исполняет роль Репетилова, ставя своего отца в положение Чацкого. Он так же наивно убеждает князя Валковского непременно посетить собрание молодежи и убежден, что эта встреча произведет на него решающее влияние. Репетилов убеждает Чацкого:

Послушай, миленький, потешь меня хоть мало.
Поедем-ка сейчас, мы, благо, на ходу;
С какими я тебя сведу
Людьми!!! уж на меня нисколько не похожи!
Что за люди, mon cher! Сок умной молодежи!

Алеша восторженно говорит отцу: «Нет, ты побудь у них, послушай их и тогда, — и тогда я даю слово за тебя, что ты будешь наш! А главное, я хочу употребить все средства, чтоб спасти тебя от гибели в твоём обществе, к которому ты так прилепился, и от твоих убеждений».

Мы видим, как в «Униженных и оскорбленных» один эпизод из «Горя от ума» всплыл в сознании Достоевского и как своеобразно он его использовал. Для нас этот случай представляет еще интерес и в том отношении, что он обнаруживает в художественной манере Достоевского особенность, еще не отмеченную в должной мере исследователями. Я имею в виду художественный прием *транспонирования* какого-нибудь сюжетного положения, взятого из другого автора, перенесение его в другую историческую обстановку и социальную среду. Переработка чужого материала в таких случаях бывает настолько велика, что с большим трудом удастся восстановить первоначальный источник. Указанием на этот источник чаще всего в таких случаях служит совпадение в идейно-смысловом применении художественного материала. Примеры подобного рода «перелицовки» еще не раз встретятся в настоящей книге.

IV

Более ярко отразилась бытовая сторона комедии «Горе от ума» в «Идиоте». На то, что комедия Грибоедов во время работы над этим романом была в поле сознания Достоевского, указывает наличие в нем ряда цитат и упоминаний ее. В пасквиле на князя Мышкина, который был напечатан в одной из газет, имеется известная цитата:

Свежо предание, а верится с трудом...

Ипполит в одном месте исповеди говорит: «...отрекомендуйся мертвецом, скажи, что "мертвому можно все говорить" и что княгиня *Марья Алексевна скажет, ха-ха*». Евгений Павлович в своем выступлении против социалистов бросает фразу: «Их злоба, негодование, остроумие — помещичьи (*даже дофамусовские*), их восторг, их слезы настоящие, может быть, искренние слезы, но помещичьи. Помещичьи или семинарские...» («Идиот», VI, 231. 262, 295 (в порядке цитирования).)

В «Идиоте» Достоевский пытался набросать широкое бытовое полотно, воспользовавшись для этого семьей генерала Епанчина. Несколько сцен в доме Епанчиных представляют своеобразную бытовую «комедию», во многом напоминающую нам сцены в доме Фамусова. «Что за комиссия. Создатель, быть взрослых дочерей отцом», — с полным правом могла бы не раз воскликнуть генеральша Епанчина, которой Бог послал столько забот с тремя дочерьми: Александрой, Аделаидой и Аглаей. И если внимательно взглянуть в эту бытовую комедию, включенную в роман «Идиот», то нетрудно заметить, как дух Грибоедова витает над нею.

Княгиня Марья Алексевна, которую вспоминает Ипполит, находит свое реальное воплощение в княгине Белоконской. Ее цензура нравов тяготеет над домом Епанчиных, и ее появление в гостиной невольно оживляет этот грибоедовский образ, им реально не воплощенный, но гениально предугазанный. Вся известная сцена в гостиной Епанчиных, когда так трагически кончается выступление князя Мышкина, написана в бытовых комедийных тонах. Достаточно ее перечитать, чтобы убедиться в этом.

Мы уже знаем, что образ Молчалина занимал художественное воображение Достоевского. Но не только как тип, но и в том своеобразном сюжетном преломлении его, какое дано Грибоедовым.

Молчалин — Софья — Чацкий

— любовная интрига, развивающаяся между ними, заставила Достоевского задуматься над сложной психологической проблемой. Я ее формулирую так: *девушка, любимая идеалистом-мечтателем, предпочитает ему весьма прозаического молодого человека*. Это лишь голая сюжетная схема, на которой Грибоедов построил романическую сторону своей комедии. Сам образ Молчалина мог быть значительно усложнен. Не простое угодничество, а мечта об утверждении себя через богатство могла лечь в основу его поведения. Героиня не должна была так прямо и решительно оказывать свое предпочтение нравственному и умственному ничтожеству, наоборот, она могла тянуться к идеально-прекрасному юноше, но какие-то нити продолжали ее связывать с карьеристом-мечтателем. Отношения Гани к Аглае в доме Епанчиных отдаленно напоминают роль Молчалина по отношению к Софье Павловне. Пусть на первый взгляд обидным для Аглаи покажется это ее сближение с героиней грибоедовской комедии, но, мне думается, в этом вопросе назрел пересмотр двоякого рода: в сторону реабилитации Софьи и иной — более трезвой — оценки Аглаи. Сближение ряда

Молчалин — Софья — Чацкий

и

Ганя — Аглая — князь Мышкин

может показаться искусственным и малоубедительным (Лео Гинсбург в обстоятельном отклике на мою работу «"Горе от ума" в творчестве Достоевского», появившемся в итальянском журнале «La Cultura» (1932, т. XI, кн. 3, стр. 598—600), сделал именно это сближение центральным местом своего возражения против применяемого мною метода. Он упрекает меня в схематичности и в пренебрежении чертами несходства характеров сближаемых героев. Но ведь я и сам называю свое построение «схемой», которую Достоевский заполняет иным содержанием. Как читатель увидит и из других моих работ, в такого рода «заполнении» и «усложнении» известных схем и тем я склонен видеть одну из особенностей творчества Достоевского. Во всяком случае, все свои сближения я делаю только после того, как мне, надеюсь, удалось показать, что «атмосфера» грибоедовской комедии наличествовала в сближаемых произведениях). Но в его пользу, в моей оценке по крайней мере, говорит главным то обстоятельство, что сам центральный образ князя Мышкина в романе «Идиот» какими-то нитями связан с образом Чацкого. Развитие этой темы во всем объеме возможно только в связи с всесторонним анализом образа князя Мышкина, созданного на почве сложных взаимоперекрещений с несколькими литературными образами. Здесь я могу только в общих чертах наметить тот путь, по которому такое исследование должно пойти.

Три литературных образа, в творчески переработанном виде, легли в основание типа князя Мышкина. Это:

Чацкий — Дон-Кихот — Рыцарь бедный.

Они-то и послужили Достоевскому опорой при создании им образа «вполне прекрасного человека». Высшей точкой и завершением этого идейно-художественного ряда был для Достоевского образ Христа (*Эта тема заслуживает особого рассмотрения. Ее мимоходом затронул А. С. Долинин (см. его предисловие к изд. «Письма Достоевского», т. I, стр. 14). Сопоставлению образа князя Мышкина с Христом посвящена работа Р. Roubiczek «Князь Мышкин и Христос» в чешском юбилейном сборнике «Dostojevskij» (Прага, 1931. стр. 136—147). См. также соответствующую главу в кн. Romano Cuardlni «Der Mensch und der Glaube» (1933).).* Чацкий был для Достоевского в этом ряду первой ступенью, но уже служившей ему опорой в его дальнейшем продвижении к тем высотам, на которые ему удалось в конечном счете поднять своего «Идиота».

Что же объединяло в представлении Достоевского Чацкого с Дон-Кихотом и Рыцарем бедным Пушкина? Как он мог героя комедии Грибоедова включить в этот идейно-психологический ряд? Две черты, чрезвычайно существенные в понимании образа Чацкого, сыграли здесь решающую роль.

Прежде всего — это «фантастичность» героя. Беру это слово в том понимании, какое ему придает Достоевский: отсутствие чутья к реальности, действительности, жизнь в мире фантазии и сочиненных образов, непонимание обстановки и людей. И на этой почве — крушение при столкновении с действительностью; трагедия мечтателя-фантаста, приводящая к глубокому разочарованию или даже гибели. Достоевский должен был глубоко продумать и прочувствовать замечательные слова Чацкого, недостаточно выделенные для его понимания критиками «Горя от ума». Это слова в ожидании кареты при разезде, перед появлением Репетилова:

Ну, вот и день прошел, и с ним
Все призраки, весь чад и дым
Надежд, которые мне душу наполняли...
Чего я ждал? что думал здесь найти?
Где прелесть этих встреч? Участье в ком живое?
Крик... радость... обнялись... Пустое!..
В повозке так-то, на пути,
Необозримою равниной, сидя празднo.
Все что-то видно впереди —
Светло, сине, разнообразно...
И едешь час, и два, день целый... вот резво
Домчались к отдыху. Ночлег. Куда ни взглянешь,
Все та же гладь, и степь, и пусто, и мертво...
Досадно, мочи нет! Чем больше думать станешь...

Почти лермонтовская безнадежность этих строк ярко вскрывала «трагедию сердца» Чацкого. Подобно Дон-Кихоту, «одному из самых великих сердцем людей», о котором Достоевский написал незабываемую страницу в своем «Дневнике писателя» (*«Дневник писателя», 1877 г. Сентябрь, гл. 2/1, XII, 254—256*), Чацкий тоже не сумел «управить и направить» богатство своих дарований «на правдивый, а не фантастический путь». Подобно Дон-Кихоту, бессмысленно гибнут для человечества его силы и способности. И у Достоевского в связи с этим вырываются лирические строки, посвященные трагической судьбе этих «фантастических» героев, лишенных гения «управлять богатством своих даров»: «Но гения, увы, отпускается на племена и народы так мало, так редко, что зрелище той злой иронии судьбы, которая столь часто обрекает деятельность иных благороднейших людей и пламенных друзей человечества, — на свист и смех и побиение камнями единственно за то, что те в роковую минуту не сумели прозреть в истинный смысл вещей и отыскать их новое слово, это зрелище напрасной гибели столь великих и благороднейших сил может довести действительно до отчаяния иного друга человечества, возбудить в нем уже не смех, а горькие слезы и навсегда озлобить дотоле чистое и верующее сердце его...» (*Там же, XII. 256.*)

Так, пока в области личной, на почве любовной неудачи, в судьбе Чацкого выявлены черты, родственные великому идеалисту-мечтателю, другу человечества Дон-Кихоту Ла-манчскому. И Достоевский не мог не выделить в Чацком, как художественном образе, этих черт. Его князь Мышкин отличается таким же отсутствием чутья действительности, так же органически не способен понять среды, в которой ему приходится действовать. Выступление князя Мышкина на вечере у Епанчиных, так печально для него закончившееся, по своей психологической обстановке очень напоминает сцену выступления Чацкого на званом вечере у Фамусова. Монолог в конце третьего действия («В той комнате незначущая встреча...») прежде всего поражает читателя своим контрастом с обстановкой, в которой он произносится. И в «Горе от ума» и в «Идиоте» герои с волнением и возбуждением произносят речи, затрагивающие самые дорогие для них мысли, перед аудиторией, которая абсолютно не приспособлена к пониманию смысла того, что их волнует. Здесь яркое выявление «донкихотства», плененного духа собственной фантазией, неумение понять окружающей обстановки. Недаром Аглая так боялась за князя, боялась, что он поставит себя в смешное положение. Достоевский очень тонко показал, как ее реалистическая натура одновременно и влеклась к фантастическому князю и как от него отталкивалась. Ведь и Софья устала от «блестящего» Чацкого, ведь и ей захотелось простоты и «семейственности». И то, что в самоослеплении Чацкий склонен был воспринять как насмешку над Молчалиным, выдавало сокровенную мысль Софьи.

Пусть в Молчалине не было ума Чацкого, ума, «что гений для иных, а для иных — чума», но зато он обладал чудеснейшими свойствами: «уступчив, скромн, тих, в лице ни тени беспокойства, и на душе проступков никаких». Вот эта боязнь душевной сложности, восторженности и неумеренности вызывала и в Аглае настороженность по отношению к князю Мышкину, и проявления этой восторженности раздражали ее. Всего этого не было в Гане, и невольно в его сторону она все время оглядывалась. Князь Мышкин на вечере у Епанчиных оказался в такой же глупой и смешной роли, как и Чацкий. Он сам знает за собою эту черту неумеренности, но не может в решительную минуту остановиться: «Я не имею жеста. Я имею жест всегда противоположный, а это вызывает смех и унижает идею. Чувства меры тоже нет, а это главное, это даже самое главное... Я знаю, что мне лучше сидеть и молчать» (*«Идиот»*, VI, стр. 486. Ср. письмо к жене от 20 мая 1867 г., в котором Достоевский говорит о себе: «Я совершенно не имею дара выразить себя всего. Формы, жеста не имею» (*Письма*, II, 10)). Его горячее выступление вызвало всеобщее удивление. «Вся эта дикая тирада, весь этот наплыв странных и беспокойных слов и беспорядочно восторженных мыслей, как бы толкавшихся в какой-то суматохе и перескакивавших одна через другую, все это предвещало что-то опасное, что-то особенное в настроении так внезапно вскипевшего, по-видимому, ни с того, ни с сего молодого человека», — говорится о князе Мышкине в соответствующем месте. Понятно, что он вызывал в окружающих почти чувство ужаса, на него смотрели как на помешанного. В дамском кругу смотрели на него как на помешавшегося, а Белоконская призналась потом, что «еще минута, и она уже хотела спастись». «Старички» почти потерялись от первого изумления; генерал-начальник недовольно и строго смотрел с своего стула. Техник-полковник сидел в совершенной неподвижности. Немчик даже побледнел, но все еще улыбался фальшивой улыбкой, поглядывая на других: как другие отзовутся?» (*«Идиот»*, VI, 481—482. В черновиках к *«Идиоту»* этот мотив объявления князя Мышкина сумасшедшим выступает еще ярче. В тетр. № 10 имеется запись: «Князь в сумасшествии — общий слух то есть; все отступаются, кроме иных». Запись относится к апрелю 1868 г. См. «Из архива Ф. М. Достоевского. Идиот. Неизданные материалы». Ред. П. Н. Сакули-на и Н. Ф. Бельчикова. М.—Л., 1931, стр. 138.)

«Идиот» князь Мышкин и объявленный «сумасшедшим» Чацкий одинаково близки к Дон-Кихоту, образ которого так дорог был Достоевскому. И понятно, что он вспомнил Чацкого, когда создавал своего «Дон-Кихота» в лице князя Мышкина.

V

Еще одна черта сближает Чацкого с Дон-Кихотом. Черта эта — любовь к сочиненной женщине. Чацкий видит Софью Павловну такую, какою ему хочется ее видеть. Грибоедов очень тонко показывает, как Чацкий не видит совершенно явного предпочтения, которое Софья оказывает Молчалину. Чтобы только сохранить для себя ее образ, он придумывает себе разных соперников, только одного Молча-лина упорно отвергает. Он, подобно Дон-Кихоту, создает свою Дульсинею и не видит Альдонсы. По прекрасному истолкованию образа Дон-Кихота самим Достоевским, идеалист-мечтатель, чтобы спасти свою фантазию, нагромождает ложь на ложь, «ложь ложью спасает». Эта особенность Чацкого ведет нас к произведению Достоевского, больше всего отразившему на себе влияние «Горе от ума». Я имею в виду «Подростка».

Версиров, «фантастический» герой романа «Подросток», самим Достоевским сопоставляется с Чацким. Не случайно ведь Достоевский заставляет его играть роль Чацкого на сцене домашнего театра, не случайно эта его игра производит такое потрясающее впечатление на его сына. Подросток напоминает Версирову, как он готовился к этому выступлению: «Вы были в то утро в темно-синем бархатном пиджаке, в шейном шарфе цвета сольферино, по великолепной рубашке с

алансонскими кружевами, стояли перед зеркалом с тетрадь в руке и вырабатывали, декламируя, последний монолог Чацкого и особенно последний крик:

Карету мне, карету!»

И тогда сына поразило сходство Версилова с Чацким: «Я стоял, смотрел на вас и вдруг закричал: "Ах, как хорошо, настоящий Чацкий!"» (*«Подросток»*, VIII, 96. Постановка *«Горя от ума»* на домашней сцене — бытовое явление того времени. Ср. у Гончарова в его статье *«Милльон терзаний»* (1872): «Несколько лет тому назад, говорят, эта пьеса была представлена в лучшем петербургском кругу с образцовым искусством, которому, конечно, кроме тонкого критического понимания пьесы, много помогал и ансамбль в тоне, манерах, и особенно в умении отлично читать». См. Поли, собр. соч., 1889 г., т. XI. стр. 153. Любопытно, что в *«Романе в девяти письмах»* Достоевского Петр Иванович в первом письме к Ивану Петровичу пишет: «Иван Андреевич уверяет и божится, что вы непременно на "Горе от Ума" в Александрийском театре» (I, 278).)

Сам Подросток уже с детских лет знал комедию Грибоедова и невольно сопоставлял судьбу Чацкого с загадочною жизнью своего отца. И когда он припоминал свое впечатление от Версилова в роли Чацкого, он невольно привносил в свои детские воспоминания мысли и наблюдения более позднего времени. Загадочная судьба Версилова невольно связывалась с судьбою грибоедовского героя, носившего в душе «милльон терзаний». В словах Подростка об игре Версилова отразилось и понимание им образа Чацкого, и роли Софьи в его судьбе. Аркадий Долгорукий говорит Версилу: «Когда вы вышли, Андрей Петрович, я был в восторге, в восторге до слез, — почему, из-за чего, сам не понимаю. Слезы-то восторга зачем? — вот что мне было дико во все эти девять лет потом припоминать! Я с замиранием следил за комедией; в ней я, конечно, понимал только то, что она ему изменила, что над ним смеются глупые и недостойные пальца на ногу его люди. Когда он декламировал на бале, я понимал, что он унижен и оскорблен, что он укоряет всех этих жалких людей, но что он — велик, велик. Конечно, и подготовка у Андронникова способствовала пониманию, но — и ваша игра, Андрей Петрович! Я в первый раз видел сцену! В разъезде же, когда Чацкий крикнул: "Карету мне, карету!" (а крикнули вы удивительно), я сорвался со стула и вместе со всей залой, разразившейся аплодисментом, захлопал, и изо всей силы закричал браво!..» (*«Подросток»*, VIII, стр. 97.)

Когда здесь Аркадий говорит о Софье, он явно имеет в виду Ахмакову и ей не может простить этой измены. Барон Бьоринг, ничтожный и недостойный пальца на ногу Версилова, выступает его соперником и становится женихом Ахмаковой. Перед нами снова повторяется сюжетное положение:

Молчалин — Софья — Чацкий

и

Барон Бьоринг — Ахмакова — Версильов,

но на этот раз еще ярче подчеркнуто сходство героя с Чацким в его отношении к героине. Версильов пленен Ахмаковой, его страсть к ней слепа и безрассудна. Он сочинил себе образ любимой женщины и к этой сочиненной мечте прикован навсегда. Сама Ахмакова чувствует и понимает одержимость этой любви к себе Версильова и пытается спастись от нее согласием выйти за Бьоринга. Она не менее Софьи и Аглаи страдает от душевной сложности героя и ищет спасения в самой обыкновенной привязанности. «Я самая обыкновенная женщина», — старается она убедить Версильова, но никто не убедит Дон-Кихота, что его Дульсинья простая крестьянка Альдонса. Чацкий и Версильов — одного безумия люди, и это сходство символически

подчеркнуто Достоевским в проникновенном исполнении Версиловым роли Чацкого. Достоевский любит своего Версилова, хотя и видит всю его непригодность к жизни. В уста Версилова он вкладывает свои самые дорогие мысли, и с редкою лиричностью он описывает «золотой сон человечества», ему привидевшийся.

Один из тысячи того дворянства по духу, которое должно сменить русское родовое дворянство, носитель святого беспокойства, мечтатель и фантаст, потерпевший крушение, он сохраняет даже и в период своего душевного разложения ореол в глазах своего сына. «Когда он декламировал на бале, я понимал, что он унижен и оскорблен, что он укоряет всех этих жалких людей, но что он — велик, велик», — эти слова Подростка одинаково относились и к Чацкому, и к исполнителю его роли — Версирову. Все это делает понятным и последнее сходство в судьбе Чацкого и Версирова, ту радость, с которой окружающая среда принимает известие о его помешательстве. Поэтому старый князь Сокольский словами грибоедовской комедии еще лишний раз подчеркнет родственность этих двух художественных образов: «Итак, наш Андрей Петрович с ума спятил; *как невзначай и как проворно!* Я всегда предрекал ему, что он этим самым кончит». Ср. у Грибоедова:

С ума сошел!.., прошу покорно...

Да невзначай! да как проворно!..

Трудно более выпукло подчеркнуть внутреннюю связь двух художественных образов. В творчестве Достоевского образ Версирова еще требует своего внимательного изучения. При этом изучении нельзя будет пройти мимо Чацкого, некоторыми своими чертами, несомненно, вдохновившего Достоевского. В программной черновой записи к «Подростку» Достоевским написано: «Чацкий», и с этим прямым подтверждением выдвигаемой нами связи нельзя не считаться.

1930-1934



А. С. Грибоедов

ГРИБОѢДОВЪ.

ГОРЕ ОТЪ УМА

(ГОРЕ УМУ)

КОМЕДИЯ въ СТИХАХЪ

(въ 4-хъ дѣйствіяхъ)

Подъ редакціей, съ примѣчаніями
и вступительной статьей

В. Л. БУРЦЕВА.

[Судьба-проказница, шалунья,
Опредѣляла такъ сама:
Всѣмъ глупымъ — счастье отъ безумья,
Всѣмъ умнымъ — горе отъ ума!]

(ПЕРВОЕ ДѢЙСТВІЕ)

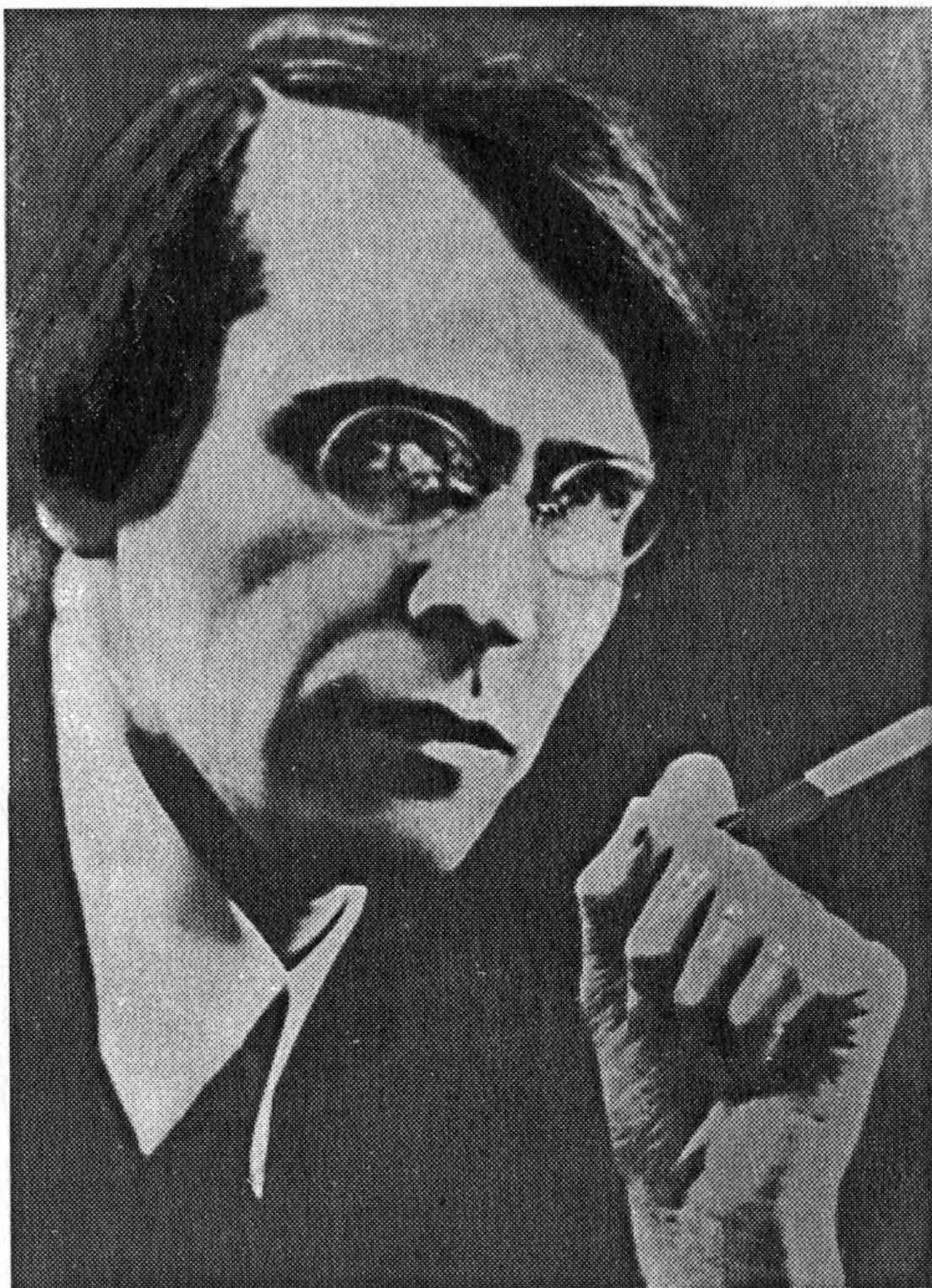
Выпускъ первый.

PARIS.

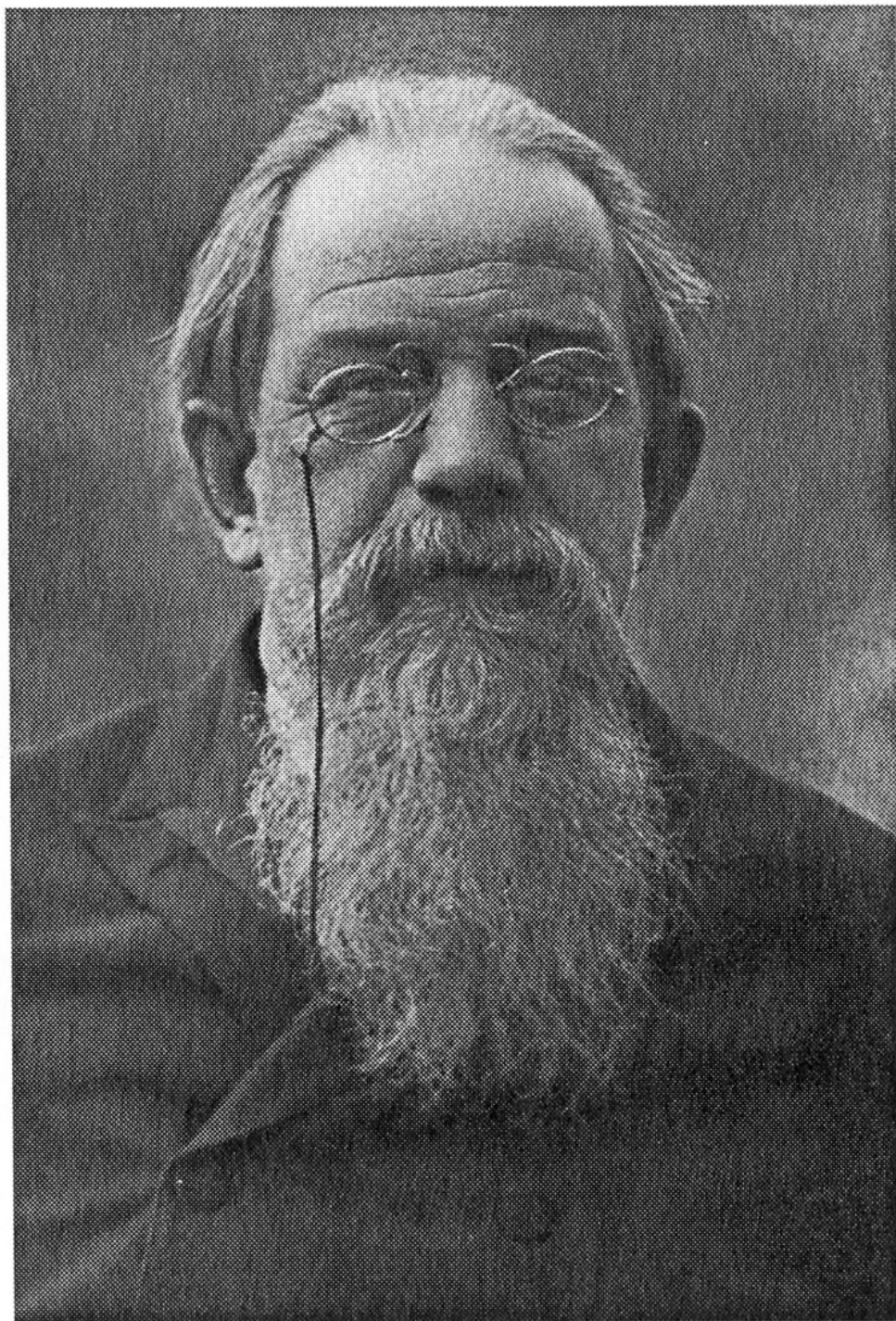
49, Bd Saint-Michel.

—
1919.

Титульный лист
книги “Горе от ума (Горе уму)”
под редакцией В. Л. Бурцева (Париж, 1919)



В. Ф. Ходасевич



П. Б. Струве

Грибоедовъ.

(Къ столѣтію со дня его смерти).

Онъ былъ уменъ. Это бросалось въ глаза прежде всего. «Видѣлось самой типичной, самой важной и опредѣляющей чертой Грибоедова. Великодушіе, нѣжность къ очень немногимъ избраннымъ друзьямъ, дѣловитость, релігіозность жили въ немъ, какъ придаточные, второстепенные признаки. Они дорисовывали Грибоедова, оживляли его портреты, дѣлали его человѣческимъ, приближали къ общему типу той эпохи.

Но основной и воинствующей силой Грибоедовской психологіи былъ его умъ. — презрительный, скептический, высокомерный и трезвый. А среди этихъ опредѣленій на первомъ мѣстѣ должно быть поставлено высокомеріе.

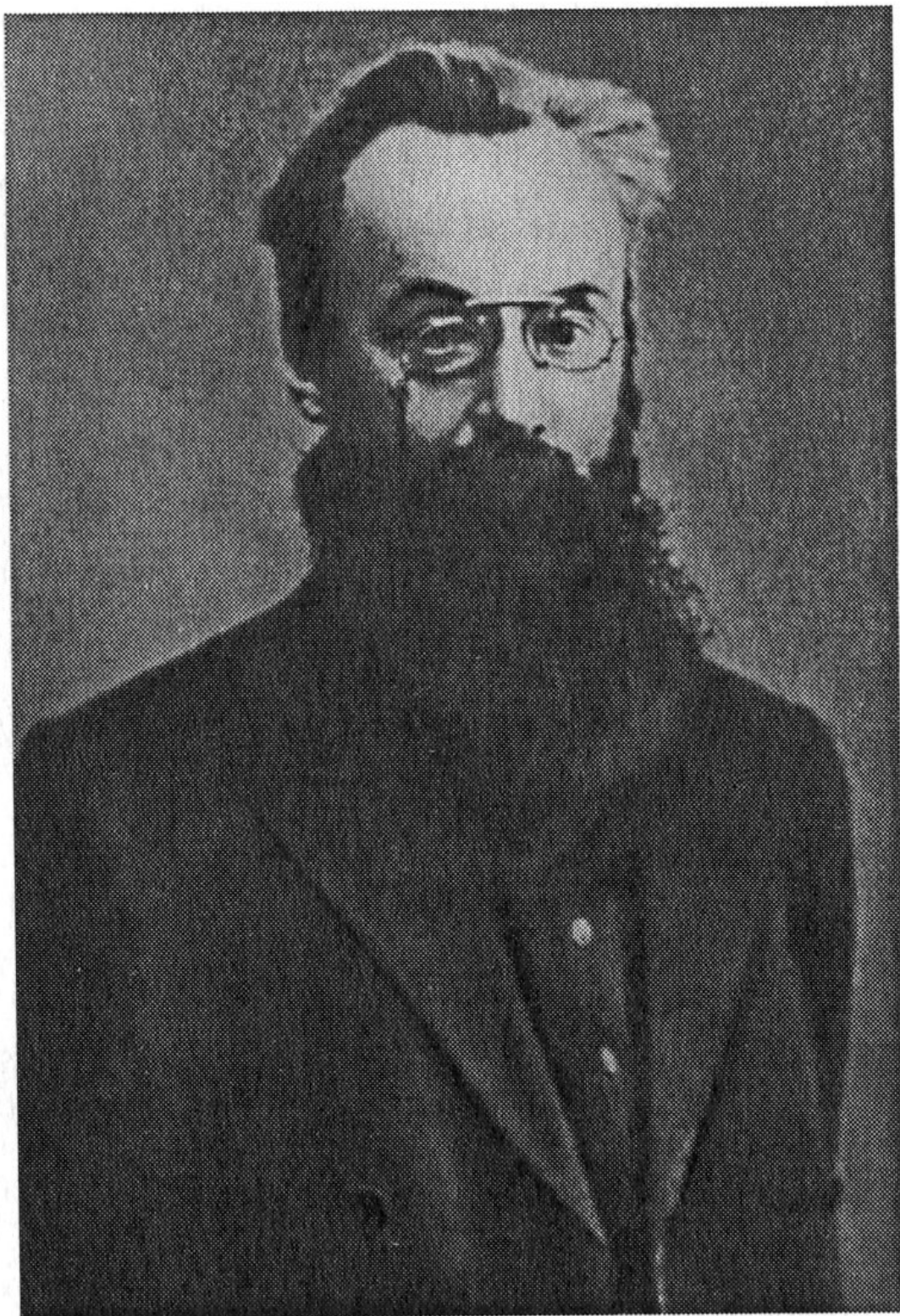
Оно сказывается повсюду, даетъ себѣ чувствовать во всѣхъ сужденіяхъ Грибоедова, иллюстрируется его взглядами на общество, его отзывами о современной литературѣ, его поведеніемъ дипломата, тономъ его писемъ, наконецъ, характеромъ его блестящей комедіи «Горе отъ ума».

Презрительное отношеніе къ окружающимъ, эта гордость умины, проснувшись у него еще въ самой ранней молодости, и Вѣгичевъ рассказываетъ, какъ Грибоедовъ уклонялся отъ визитовъ, навязываемыхъ ему дядей: «Какъ только Грибоедовъ замѣчалъ, что дядя гѣбѣлъ къ нимъ на дворъ, — разумѣется, вѣтъмъ что-бы везти его на поклоненіе къ какому-нибудь князю Петру Ильичу, — онъ раздѣвался и ложился въ постель». — «Не могу дядюшка, тебѣ болитъ, другое болитъ, ночь не спать», — хитрилъ молодой человѣкъ». Этотъ дядя, Алексѣй Федоровичъ Грибоедовъ, — братъ матери писателя, — впоследствии послужилъ до нѣкоторой степени протѣпкомъ Фамусова, и о немъ Грибоедовъ записалъ: «Онъ, какъ лезъ, дрался съ турками при Суворовѣ, потомъ пресмыкался въ переднихъ всѣхъ случайныхъ людей въ Петербургѣ, въ отставку ждалъ сплетнями». Такъ свиста онъ смотрѣлъ не только на отживавшее, старое поколѣніе «Магеланъ,

Петровичей». — Грибоедовъ отрицательно, насмѣшливо, презрительно и даже безразлично ощущалъ и самую близкую ему среду, — общество писателей. Совсѣмъ не сочувственно онъ относился даже къ корифеямъ литературы, къ Карамзину, Гнѣдичу, и подвергъ самой злой и уничтожающей критикѣ «Людмилу» Жуковского. Съ ироніей Грибоедовъ отзывался о Карамзинской славы, высмѣивалъ благодушіе Жуковского, и рассказывая даже о персидской учтивости, не упустилъ случая еще разъ вспомнить о нитѣ: «Карамзинъ бы заплакалъ, Жуковский ступилъ бы чашей въ чашу, я отблагодарилъ янтариномъ, грознымъ сокомъ, нектаромъ, Эриванью и пурпурнымъ, Кахетинскимъ». Нѣзавѣдно Грибоедовъ подчеркиваетъ свою психологическую обособленность, всякій разъ противопоставляя свой здравый смыслъ, свой трезвый умъ, своей глубокой скептической сентиментализму и небесной мечтательности свѣтъ прославленныхъ литературныхъ современниковъ. Отъ нихъ онъ держался на почтительномъ разстояніи, замкнутый и тутъ въ своей высокомерной отчужденности. Объ остальныхъ нечего и говорить. Ихъ онъ откровенно презиралъ: «Вчера я обѣдалъ со всѣмъ свѣтлымъ административнымъ литераторомъ», — писалъ онъ въ январѣ 1825 г. Вѣгичеву. — «Отовсюду колѣнопреклоненіе и фиміамъ, но вмѣстѣ съ этимъ — сытость отъ ихъ дурачества, ихъ оплетенъ, ихъ мишурныхъ талантовъ и мелкихъ ихъ душишекъ».

Люди вообще ему представлялись «людинками». Такъ онъ смотрѣлъ на мужчинъ, еще высокомернѣе на женщинъ. Въ другомъ, болѣе раннемъ, письмѣ къ тому же Вѣгичеву Грибоедовъ говоритъ: «Я врагъ крикливаго пола». А. А. Бестужевъ вспоминалъ такіе слова Грибоедова: «Женщина есть мужчина — ребенокъ». Онъ раздѣлялъ взгляды Байрона: «Дайте имъ пряники, да закройте — и снѣ будутъ совершенно добрыми». Не разъ постоудалъ Грибо-

Фрагмент статьи П. М. Пильского
“Грибоедов (К столетию со дня его смерти)” (1929)



А. А. Кизеветтер

Без Чацкого.

Мы не заметили, проморгали, что в последние годы русской кровавой неразберихи сгинул Александр Андреевич Чацкий. Столько ужасов крушений, смертей во кругь себя видели, что этой просто не заметили. Но, вот, сейчас — наступил столетний юбилей Грибоедова — оглянулся я — а Чацкого и следы простыли.



А как долго, как постоянно были с ним! Чацкий — первая любовь нескольких поколений. Русская молодежь та, что была молодежью в восьмидесятых, девяностых, девятидесятых годах; та, что воспитывалась на революционных публицистах, писателях, ученых во в громадном большинстве своем была не революционна, а либеральна; та на которую больше всего влияния оказал Некрасов, потому что только он был опь быть потому ненависти и мести, а на самом деле был поэтом поэта жертвенного, а не разрушительного, — эта молодежь с молоком матери впитывала в себя Чацкого.

Именно потому, что впитали с молоком матери, мы не очень разбирались в объективной сущности и противоречиях его идеологии; совсем не интересовались — естественно, или искусственно стрелять во всякое время и на всяком месте публицистическими статьями. То, что подлюбили в раннем детстве, то

укрепляется мало сознательно, но за то прочно, навсегда; кроме того, некоторая нехватка реальности в Чацком совершенна, но восполняется именно индивидуальной, а не направленной его ролью: его исключительной нравственностью (не даром опь и воспринимается всеми в пьесе как запоза в деле), его оскорбленной любовью, пафосностью соперничества, раздражением Софьи и проч. Но не в том дело, а в том, что, мало анализируя, мы много любили его. Это был наш герой. Все жили порывом, пытались идеалами. Любили мы образы различной художественной чистоты, но одинаковой чистоты; любили Гамлета, любили Фердинанда, Уриэля Акоста, даже чуть не примостившегося к ложному месту Жюльетты — а того любили. Но Гамлет, Фердинанд, Уриэль — это идеал, Чацкий — свой и, несмотря на многие десятилетия — современный, потому что и мы тоже готовы были метать фидеизмами, если не в Фанусова, Молчалина, Скалозуба и Тугоуховского, то в Каткова Полюбоносцева, Трепыхина, Горемыкина; мы настолько вникали в слова Чацкого сколько восторгались его смелостью, достигавшей самых вершин: «все под личиною усердия к царю»... «не даром жалуют их скупо государи»... «согнись ка кто коломом, хоть прет монаршим лицом, то назовешь опь подлецом»... «кто что ни говори, хоть и животный, а все та же царь»...

В Чацком для нас воплощался идеал благородного протеста. Чацкого перед нами воплощали на сцене лучшие наши актеры. Изображать Чацкого значило сосредоточить на себе любовь; выйти на сцену уже перед завоеванной аудиторией. Чего отпал тот юноша, в душе которого не резонировало «миллион торзаний» Чацкого? Чего стоял тот актер, который не умел зажечь своим огнем молодых души?

Казалось, что так будет всегда. Безсмертье озяло Чацкого.

И вот, после революции, в годы изгнания, пришлось знакомить с ним молодежь.

В Африке, в пустыне, где образовалась в 1920 году, в Тель Эль Кебир русская гимназия, подростки жадно впитывали чтение, я читал им неизменное им еще «Горе от ума». Книжки не было, но — как не малое число монет сберстешко, я знавал вылазку пьесы от «Сайта». Ах, как скоро... до книжки Марьи Алексеевны. Чтобы не утратить этой своей памяти, держал пореда собой том Пушкина

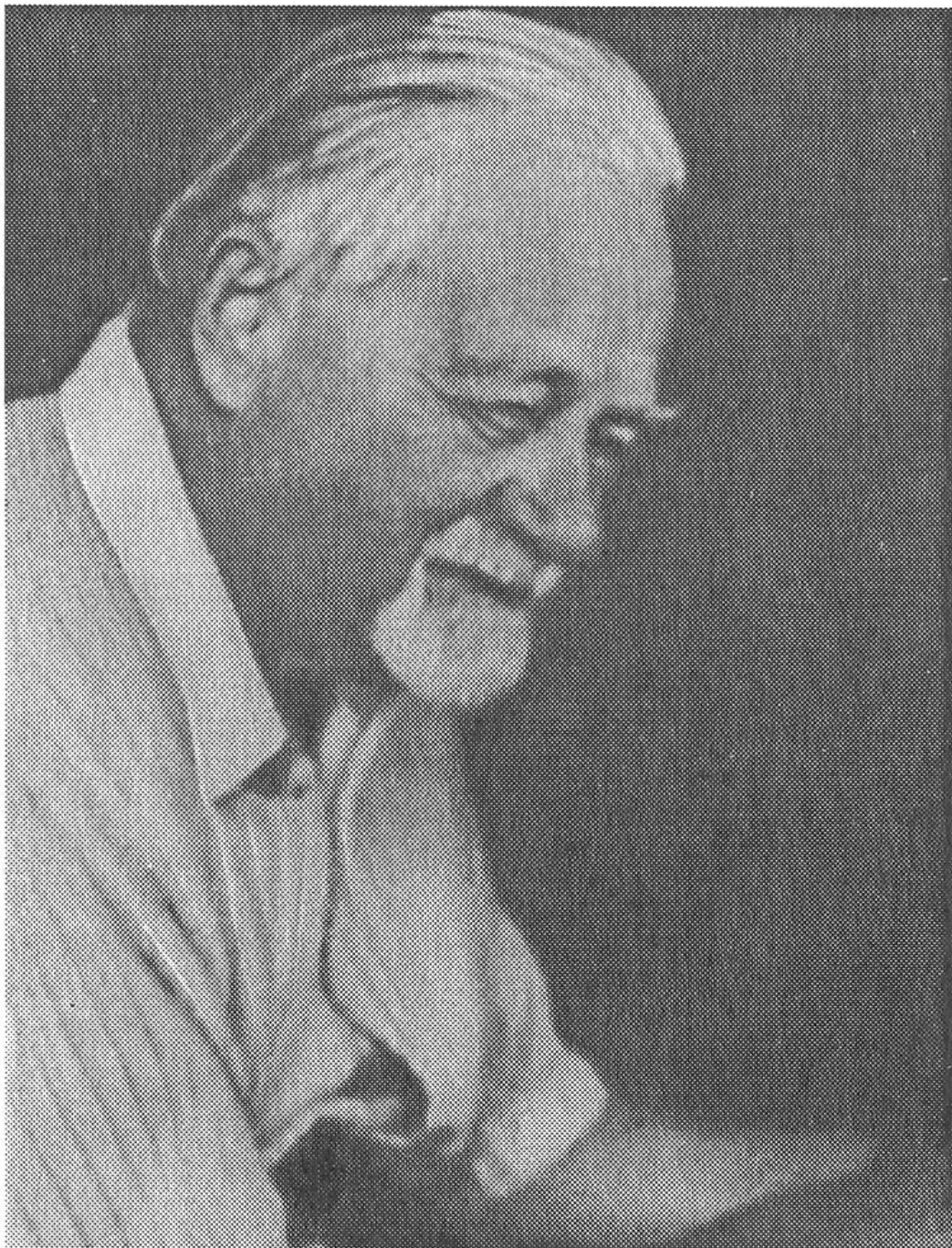
Фрагмент статьи С. Яблоновского
“Без Чацкого” (1929)



Обложка романа Ю. Н. Тынянова
“Смерть “Вазир-Мухтара”
(Берлин, “Петрополис”, 1929)



Г. В. Адамович



Г. П. Струве



М. О. Цетлин

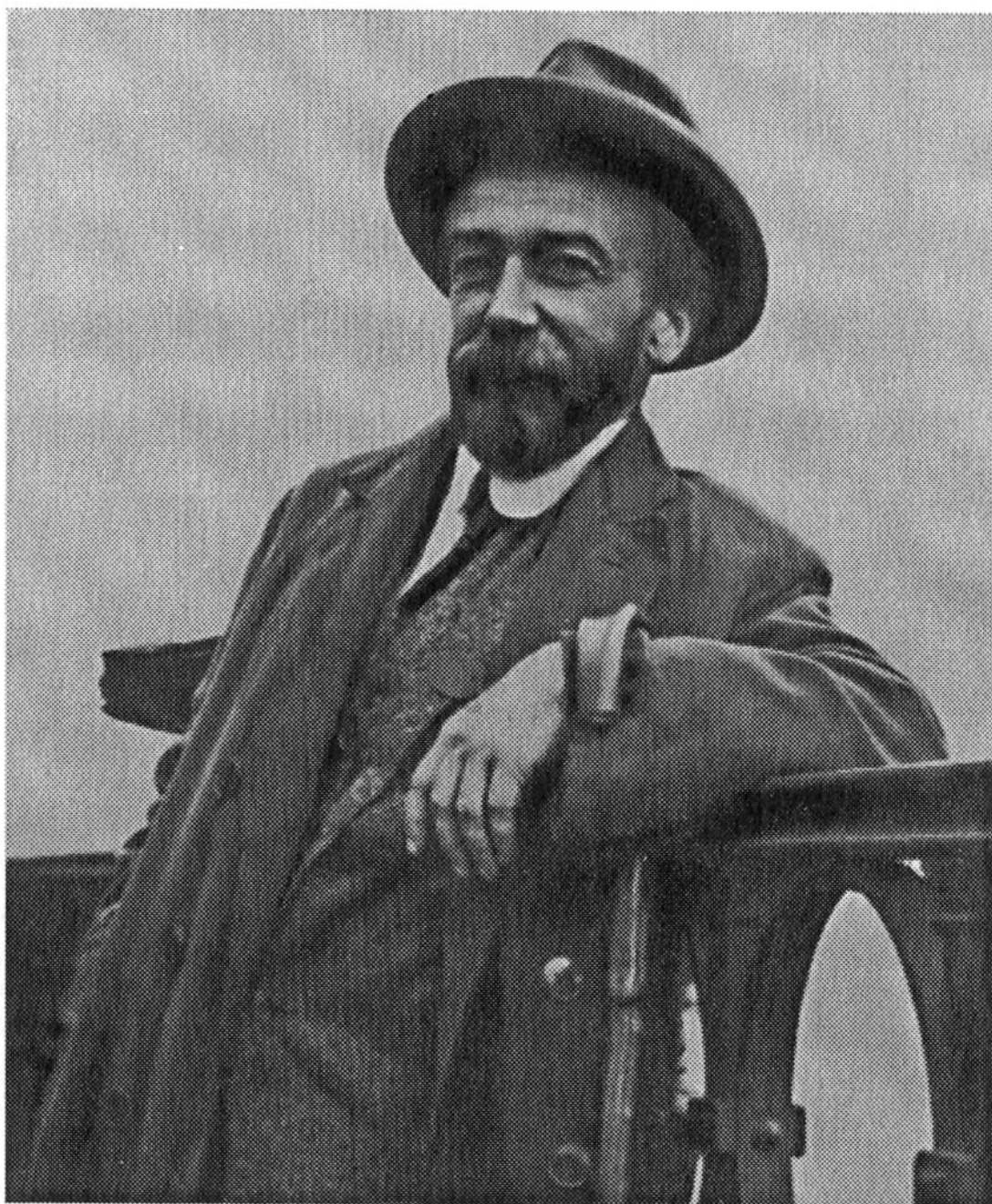
А. Л. БЕМ

У ИСТОКОВ ТВОРЧЕСТВА ДОСТОЕВСКОГО

ГРИБОЕДОВ
ПУШКИН
ГОГОЛЬ
ТОЛСТОЙ
И
ДОСТОЕВСКИЙ

ПЕТРОПОЛИС
1936

Обложка книги А. Л. Бема
“У истоков творчества Достоевского”
(Прага, “Петрополис”, 1936)



А. Л. Бем



В. Н. Ильин

А. М. ОСОРГИНА

ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

(С древнейших времен до Пушкина)

YMCA - PRESS

ПАРИЖ

Обложка книги А. М. Осоргиной
“История русской литературы”
(Париж, 1955)



А. С. Грибоедов (?)
Рисунок А. С. Пушкина

Иван Тхоржевский

Грибоедов (1795-1829)

Грибоедов в широкой раме смелой комедии развернул то, что Крылов прятал в небольшом ларчике басни.

В литературе XVIII века у нас уже были крохи, задатки реализма, всего ярче у Фонвизина и у Державина. В XIX веке реалистами были до Грибоедова — Крылов, Денис Давыдов, но «Горе от ума» — первая *крупная*, взрослая вещь в русской литературе.

Лев Толстой во всей нашей старой допушкинской литературе так и видел только одного «настоящего» писателя — Грибоедова.

С Крыловым Грибоедова сближает острый и меткий язык, гибкий, врезающийся в память стих. Оба одушевлены одним порывом — национальным, оба достигают портретного сходства с Россией. Грибоедовская Москва так же никогда не умрет в нашей памяти, как не умрут крыловские звери. Но какая разница в размахе, в темпераменте и в судьбе! «Лед — и пламень»! Поздняя, медлительно-лукавая осторожность у Крылова; раннее, огненное дерзание у Грибоедова.

Пушкин, прочтя «Горе от ума» (в списке, привезенном ему в деревню Пушциным), пришел в восторг от грибоедовской картинности в изображении старой Москвы. «О стихах я уже не говорю — половина должна войти в пословицы». Так и случилось.

Сам Грибоедов всегда казался Пушкину «необыкновенно привлекательным» человеком, большой воли и замечательного ума. Как личность, как натура, Грибоедов был гениален: «Наполеон, Декарт» — вот имена, которые называет Пушкин, подыскивая «калибр», близкий к грибоедовскому. «Как жаль, что Грибоедов не оставил своих записок!» Именно по поводу отсутствия достойной биографии Грибоедова (даже год рождения его точно не установлен!) у Пушкина сорвались полные горечи знаменитые слова: «Мы ленивы и нелюбопытны». Этот грех следует искупить. Жизнь Грибоедова замечательна.

Готовиться к ученой степени, пройти три факультета, — и все бросить, пойти ополченцем против Наполеона. В двадцать два года начать «Горе от ума», то есть начать взрослую русскую литературу. В тридцать два оказать родине большие дипломатические услуги в делах с Персией, отправиться затем в ту же Персию почти на верную гибель во имя долга и пасть в Тегеране убитым 36 лет от роду, в звании русского посланника, с саблей в руках... А перед гибелью успеть завязать и пережить один из самых красивых романов, какие только знает земля. Не биография, а «Поэма Огня»...

Грибоедов принадлежал к русской знати. Он был в родстве с Одоевским, Паскевичем, Нарышкиными, Разумовским; в жилах его текла, кроме русской, далекая струя польской крови, может быть, отсюда шла стремительная горячность, роднящая Грибоедова с его Чацким (чуть польское имя).

Но Россия преобладала не только в крови, она заполнила Душу Грибоедова своей могучей стихией.

Европеец по образованию, он всю жизнь стремился

словом и примером

Нас удержать, как крепкою вожжой,

От жалкой тошноты по стороне чужой.

«Как с детских лет привыкли верить мы, что нам без немцев спасенья». А немцы тупо-прямолинейны... («Как будто есть у немца две дороги!» — иронически восклицает

Чацкий в одной из ранних редакций «Горе от ума».) «Французики из Бордо» не лучше: еще несноснее, еще самовлюбленнее!

Грибоедов оставил сатиру на московское общество, но эта сатира — «Горе от ума» — звучит, как восторженный гимн народу, «умному, доброму народу»! «Дым отечества» для Грибоедова дороже чужеземных огней. «Поврежденный класс полугерманцев» не заслонял от него русской исторической сути.

Но этот почвенник дорожил и свежим ветром свободы; был проникнут чувством независимости, гордого человеческого достоинства. Слишком мало этого достоинства видел кругом и знал, что его мало было в русском прошлом, но радовался, что раболепство идет на убыль.

По духу времени — и вкусу —
Я ненавижу слово раб.

В ранних грибоедовских набросках драмы «Двенадцатый год» герой-ополченец (из крепостных) должен после войны, после подвигов личной храбрости, вернуться «под палку господина» — и выслушивает от военного начальства отеческие наставления к покорности. «Отчаяние, самоубийство».

Юношей вступил Грибоедов в масонство; в списках ложи «Соединенных Друзей» его имя рядом с Чаадаевым. В Чацком видели портрет Чаадаева; Пушкин спрашивал Вяземского в письме: верно ли, что Грибоедов «написал комедию на Чаадаева?». Но Чаадаев в дальнейшем пришел к отрицанию России, у которой не видел ни устойчивости, ни традиций; Грибоедов верен родине до конца. А в болтовне Репетилова («Пожалуйста, молчи, — я слово дал молчать») оставлена злая карикатура на масонские ложи. «Фу, братец, сколько там ума».

Отличительной чертой Грибоедова с детства было его упорство, стремление во всем доходить до конца. А между тем есть русские историки литературы, изображающие его для иностранцев «светским бездельником» (*dandy nonchalant*). Не удивительно, что «Горе от ума» там же объявляют «необъяснимой загадкой». Разгадка в том, что Грибоедов был гениальным тружеником.

Рано стал он выдающимся пианистом и изучил теорию музыки. Позднее бросал дипломатическое безделье для участия в военных делах против чеченцев. Но когда нужна была дипломатическая работа, Грибоедов параграф за параграфом обдумывал и составлял трактаты и вел дипломатический упорный торг с опытными противниками.

Таким же страстно-настойчивым был Грибоедов в своих увлечениях; гусарская военная среда? — значит кутежи, значит ухаживание за актрисами, дуэли, высылка, но и ряд статей по военному делу. Попал за кулисы? — увлекся театром, стал писать для театра сам и в сотрудничестве с другими театрами. В одной из его ранних пьес «Своя семья» есть уже бойкие стихи, живые сцены. Комедия в прозе «Студент» осмеивает тогдашних сентиментальных романтиков. Но скоро Грибоедов перестает размениваться на мелочи; начинает писать обессмертившую его комедию. Сюда ложатся все его разнообразные жизненные впечатления, все, чему его учит хлопотливая пестрая московская суeta. В этой пьесе он чеканит каждую мысль, каждую строчку. «Горе от ума» неизмеримо выше всего остального, написанного Грибоедовым. «Комедия, какая едва ли сыщется в других литературах!» — писал не склонный к восторженности Гончаров. Впоследствии Грибоедов начал еще трагедию «Грузинская ночь», но трагическое ему не давалось. А главное — жизнь слишком тесно впрягла его в дипломатическую работу, он не мог больше отдаваться весь литературному творчеству. А иначе работать — и жить — он не умел.

О его пьесе современный литературный педант Катенин отозвался так: «В "Горе от ума" дарования больше, нежели искусства». Грибоедов немедленно подхватил этот

отзыв: «Дарования больше, нежели искусства? *Самая лестная похвала*, которую ты мог мне сказать: не знаю, стою ли я ее. Угодять теоретикам, т. е. делать глупости... удовлетворять школьным требованиям, условиям, привычкам, бабушкиным преданиям... Знаю, что всякое искусство имеет свои хитрости, но чем их менее, тем скорее дело, — и не лучше ли вовсе без хитростей? Я как живу, так и пишу: свободно».

Именно потому, что Грибоедов вовсе не подумал о школьных требованиях, он и положил в России первый, до Пушкина и Гоголя, краеугольный камень величайшей русской литературной школы художественного реализма.

В «Горе от ума» хотели видеть сколок с мольеровского «Мизантропа», а в Чацком — мольеровского Альцеста. Грибоедов знал комедии Мольера наизусть; мальчиком в любительском детском спектакле играл Альцеста и любил эту роль. Но Чацкий не мизантроп. «Это будущий декабрист», — сказал Герцен; «Чацкий — единственное героическое лицо в русской литературе», — скажет потом Аполлон Григорьев. И все «Горе от ума» — прямая живая картина московского общества, а нисколько не перевод с французского.

Основной чертой Грибоедова — и деятеля, и писателя, — было искание живой близкой и неразрывной связи с действительностью.

Приехав юным «секретарем» в Персию, Грибоедов немедленно принялся изучать персидский язык; добился того, что мог вести сам сложные переговоры (и даже писать стихи) по-персидски. Но этого ему было мало; он примется изучать, раз служба его на Востоке, еще и турецкий язык, и арабский. (Все новые языки он знал в совершенстве, а как-то, по пути, изучил древнегреческий.)

Попав — как дипломат — в Персию, Грибоедов со страстью отдался хлопотам по освобождению русских пленных, работавших на персидских полях рабами. Нажил себе настойчивостью врагов не только в Персии, но и в чиновно-равнодушном Петербурге, зато добился многого. Отправляя освобожденных им русских пленных на родину, со слезами на глазах слушал он раздавшуюся, подхваченную счастливыми голосами, русскую песню.

Деятельность молодого дипломата привела в восхищение большого русского человека, правившего тогда Кавказом, — Ермолова. Ермолов взял Грибоедова к себе в Тифлис «секретарем по дипломатической части»

В Тифлисе юный секретарь отдохнул, сильно подвинул «Горе от ума» и, уехав в отпуск на Север, закончил свою комедию в тульском имении у Бегичева. В Москве и Петербурге Грибоедов читает друзьям свою вещь, вызывает шумный восторг, — «не могу пожаловаться: отовсюду коленопреклонения и фимиами», но тщетно хлопочет о постановке пьесы на сцене. Здесь, в «трясином Петербурге, мертвом городе», крепнут его связи с вольнодумцами, будущими декабристами. При посредстве князя Одоевского Грибоедов вступил в «Дружеское Тайное Общество». Но служба зовет на Кавказ, к Ермолову.

На Кавказе Грибоедов побывал, по пути в Тифлис, добровольцем в боевой экспедиции генерала Вельяминова против чеченцев; проявил, как всегда, ледяную храбрость; а вскользь шутил в своем дневнике, что идет «борьба горной и лесной свободы с барабанным просвещением».

Когда разразилось восстание декабристов, Грибоедов жил при Ермолове, в крепости Грозная. Сюда прискакал из столицы фельдъегерь с приказанием Ермолову: арестовать Грибоедова, опечатать его бумаги и доставить в Петербург. Ермолов дал время Грибоедову уничтожить опасную переписку. По приезде в Петербург Грибоедов отделался пятимесячным арестом: молчание друзей, отсутствие прямых улик, личная выдержка на суде выручили. Еще несколько месяцев, и Грибоедов «с очистительным аттестатом» возвращается на Кавказ.

Опального Ермолова уже сменил там Паскевич. Но это — двоюродный брат матери Грибоедова. А главное — он сам нужен, этот молодой дипломат, знающий Персию и

персидский язык, незаменимо *нужен*. Паскевич берет его с собой в Эривань, в персидский поход. После победы на Грибоедова ляжет вся тяжесть выработки мирных условий и отстаивания их в переговорах с персами, хитрыми и упорными.

С текстом подписанного, блистательного для России, Туркманчайского договора Паскевич послал к императору Николаю I в Петербург Грибоедова. Государь обласкал поэта-дипломата, пожаловал, кроме почетных наград, 4 000 червонцев, но тут же и наказал его, назначив в Персию полномочным министром. Там нужен верный знающий человек: надвигаются осложнения с соседней Турцией.

Для Грибоедова это — удар. «Живой из Персии не вернусь». Персы не простят Туркманчайского договора. «Вы не знаете этих людей, — говорил Грибоедов Пушкину, — вы увидите, что придется прибегнуть к ножам. Там моя могила; чувствую, что не увижу более России».

А по дороге в Персию его ждало счастье. Проездом, в Тифлисе, Грибоедов женился на шестнадцатилетней красавице княжне Чавчавадзе, которую помнил ребенком. «Хотите ее знать? — пишет он в Россию друзьям. — В Эрмитаже, тотчас при входе, направо, есть Мадонна в виде пастушки Мурильо: вот она».

Резиденцией европейских послов в Персии был назначен Тавриз. Приехав туда с женой, Грибоедов сразу же настойчиво взялся за взыскание с персов контрибуции, и — новые хлопоты об освобождении из персидской неволи не только пленных русских солдат, но и армян и армянок, уведенных персами в рабство. Просьбы об освобождении стекаются к нему отовсюду и быстро натягивают вокруг него струны персидской ненависти.

О пребывании в Тавризе сохранилось грибоедовское письмо в Россию: «Я чрезвычайно занят. Наблюдаю, чтобы отсюда не произошла какая-нибудь мерзость во время нашей схватки с турками. Взымаю контрибуцию довольно успешно. Друзей не имею никого и *не хочу: должны прежде всего бояться России* и исполнять то, что велит Государь Николай Павлович, — и я уверяю вас, что в этом поступаю лучше, чем те, которые затеяли бы действовать мягко и втираться в персидскую дружбу. Всем я грозен кажусь, и меня прозвали «Сахтир», *sœur dur (жестокое сердце (фр.).)*. После тревожного дня, вечером, уединяюсь в свой гарем: там у меня и сестра, и жена, и дочь — все в одном милом личике. Рассказываю, натверживаю ей о тех, кого она еще не знает и должна со временем полюбить»... в России. Но туда ему не вернуться.

В декабре «крутой» посланник едет в Тегеран, один, представляться шаху. Официальные церемонии кое-как прошли, хотя в воздухе висела уже гроза, тем более, что петербургские подарки шаху и его министрам случайно опоздали. Но накануне дня, назначенного для отъезда к жене в Тавриз, явились в посольство, моля Грибоедова о спасении, армяне: шахский евнух, хранитель драгоценностей гарема, и две армянки, бежавшие из гарема Алаяр-хана, двоюродного брата шаха. Грибоедов знал, *чем* ему грозит эта история... Но у России искали заступничества армяне, которых она только что обязалась вызволять из персидской неволи; посланник начал хлопоты.

Шах наотрез отказался отпустить *таких* беглецов. А взбешенный Алаяр-хан закрыл в Тегеране городской базар и натравил толпу на русское посольство. Ворота были взломаны, чернь ворвалась, и Грибоедов, надевший парадную посольскую форму, с саблей в руке, отбивался от нахлынувших персиян, пока, обезображенный, не пал под ударами.

Вдова — 17-летняя «мадонна» — осталась до смерти верна памяти мужа. На могиле Грибоедова, высоко над Тифлисом, на горе Св. Давида, памятник: женская фигура, олицетворение скорби, на коленях перед Распятием. У подножия креста — раскрытая книга — «Горе от ума». На пьедестале слова: «Ум и дела твои бессмертны в памяти русской, но для чего пережила тебя любовь моя».

О вдове Грибоедова и о нем написана поэма Полонского, одна из лучших русских поэм.

О Грибоедове сочинил Тынянов (советский литератор) сложный и хитросплетенный роман «Смерть Вазир-Мухтара». И все-таки хочется сказать: мало.

Грибоедов в русском сознании еще не поставлен на должную высоту. Какой орлиный взлет над старой русской литературой! Обилие художественных образов, очерченных иногда несколькими словами, но ярких и никогда не срывающихся в карикатуру: «Карикатуры ненавижу; в моей картине не найдете ни одной». И грибоедовский живой стих, богатство рифмы, часто неожиданной и всегда естественной, свежесть чувства, пламенное движение... «Горе от ума» не стареет.

«Изумительная по совершенству пьеса», — скажет начинающим советским писателям Горький. Вещь эта переведена теперь на все языки, даже на персидский язык, язык убийц Грибоедова!

До сих пор Скалозуб остается воплощением военного службиста, а Репетилов — увлекшегося завиральными идеями «великосветского обалдуя». Обе фигуры выхвачены острой грибоедовской памятью из военного и театрального мира, где поэт столько вращался.

Две другие фигуры — «начальство» Фамусов и «подчиненный» Молчалин — образуют вдвоем законченную язвительную картину чиновничьего круга, тронутого ленивой плесенью, тоже хорошо изученного Грибоедовым. А за ними возникает пестрый фон светской барской беспечно хлопотливой Москвы, где душно порывистому Чацкому, ищущему бури, во все вносящему свою бестолковую, но благородную молодость. Чувствуется, что этот «добрый малый», как отозвался о нем Пушкин, побывал в обществе на редкость умного и сильного человека.

Этот человек был головой выше не только всех окружающих, но даже и своей собственной прекрасной комедии.

А. М. Осоргина

А. С. Грибоедов

Грибоедов написал за свою жизнь очень немного, но то, что он написал, его комедия «Горе от ума», относится к лучшим и бессмертным произведениям русской литературы. Недаром Белинский, известный русский критик первой половины XIX века, сказал, что Грибоедов «принадлежит к самым могучим проявлениям русского духа».

Александр Сергеевич Грибоедов родился в Москве в 1795 году. Он происходил из богатой дворянской семьи, принадлежавшей к тому высшему московскому обществу, которое он впоследствии описал в своей комедии. Воспитание и образование он получил прекрасные, сперва дома, с различными учителями и гувернерами, затем в Благородном пансионе. Грибоедов свободно владел несколькими иностранными языками, прекрасно играл на фортепьяно и иногда увлекался музыкальными импровизациями; с детства в нем видна была талантливая, одаренная натура. Пятнадцати лет он поступил в Московский университет, где оставался 2 года. Здесь сложились и определились его литературные взгляды и вкусы; на Грибоедова оказал большое влияние профессор эстетики Булз, сторонник классической теории искусств, с которым он много и часто беседовал. Грибоедов вышел из университета в 1812 году, в самый разгар Отечественной войны; он сразу определился волонтером на военную службу, но ему не удалось участвовать в военных действиях; полк его больше трех лет пробыл в Белоруссии, переходя из одного местечка в другое. Впоследствии Грибоедов с горечью вспоминал эти годы военной службы, проведенные им большей частью в карточной игре, в кутежах и развлечениях, отвлекавших его от всякой культурной работы. Веселый, пылкий, страстный Грибоедов, тогда еще очень юный, легко увлекался примером окружавшей его офицерской среды, становясь часто центром разных шалостей и выходок. Рассказывают, например, что однажды он на пари появился на бал к одному богатому белорусскому помещику, въехав верхом на лошади в бальный зал.

В 1816 году Грибоедов вышел в отставку и определился на службу в Коллегию иностранных дел. Живя в Петербурге, он увлекался театром и познакомился с князем Шаховским, Хмельницким, Катениным, произведения которых ставились тогда на сцене. Мы уже упоминали несколько раз Шаховского, автора комедий «Новый Стерн», «Липецкие воды» и многих других. Хмельницкий известен как автор комедии «Воздушные замки» и переводчик Мольера; Катенин — главным образом как переводчик Корнеля («Сид») и Расина («Эсфирь»); «...наш Катенин воскресил Корнеля гений величавый», — сказал про него впоследствии Пушкин («Евгений Онегин»).

Через Шаховского Грибоедов познакомился с другими членами «Беседы» и всей душой примкнул к классическому течению. В первой своей комедии «Студент» Грибоедов осмеивает сентиментализм, задевает Жуковского и даже, как ни странно, Батюшкова. Но в этой же комедии довольно серьезно затронут и вопрос крепостного права, изображено тяжелое положение крепостного крестьянина, с которого барин требует непосильного оброка.

Вместе с Шаховским и Хмельницким Грибоедов написал очень забавную комедию — «Своя семья, или Замужняя невеста», которую до сих пор иногда ставят на сцене; комедия эта всегда пользуется успехом благодаря живым, забавным картинам и очень легкому языку.

Одна из пьес Грибоедова, «Молодые супруги» (переделка с французского), была поставлена на сцене уже в 1815 году.

В 1819 году Грибоедов был назначен секретарем при русском посольстве в Персии и должен был ехать в Тавриз. Ему хотелось всецело посвятить себя литературе, но мать

его требовала, чтобы он служил. Своей служебной деятельности Грибоедов отдался всей душой и скоро обратил на себя внимание своими выдающимися дипломатическими способностями. Несмотря на службу, Грибоедов находил время для серьезных занятий. В Тавризе, который он остроумно называл своим «дипломатическим монастырем», он серьезно изучил персидский и арабский языки, изучал персидскую литературу, историю. Там же он серьезно работал над своей знаменитой комедией «Горе от ума», которую задумал чуть ли не с пятнадцати лет. В Тавризе закончены были 1-е и 2-е действия.

По делам службы Грибоедов несколько раз ездил из Тавриза в Тифлис. Известный генерал А. П. Ермолов, главнокомандующий на Кавказе, обратил внимание на блестящие способности молодого человека, и, по его просьбе, Грибоедов был назначен к нему секретарем по иностранной части. В Тифлисе он оставался до 1823 года. Несмотря на успех по службе и сердечное отношение Ермолова, Грибоедова неудержимо тянуло в Россию. Наконец он получил отпуск и около года провел то в Москве, то в Петербурге, то в имении своего друга Бегичева в Тульской губернии.

Приехав в Москву после долгого отсутствия, окунувшись, как его герой Чацкий, в водоворот московского общества, Грибоедов под свежим впечатлением закончил «Горе от ума» в имении Бегичева.

Редко какое литературное произведение, не будучи напечатанным, распространилось и стало известно с такой быстротой, как «Горе от ума». Друзья переписывали его и передавали рукописи друг другу. Многие заучивали наизусть отрывки и целые сцены комедии. «Горе от ума» сразу вызвало в обществе бурный восторг — и такое же бурное негодование; негодовали все те, кто чувствовали себя задетыми, осмеянными в комедии. Враги Грибоедова кричали, что комедия его — злой пасквиль на Москву; они сделали все, что могли, чтобы не допустить печатания «Горе от ума», не допустить постановки на сцене. И действительно, «Горе от ума» было издано уже только после смерти Грибоедова, а постановку своей замечательной комедии он видел только раз в любительском исполнении офицеров в Эривани (1827 г.).

Несмотря на горячее желание Грибоедова подать в отставку, он должен был, по настоянию своей матери, вернуться вновь на службу на Кавказ.

После вступления на престол государя Николая I в 1826 году, Грибоедов был неожиданно арестован и привезен в Петербург; он был обвинен в участии в заговоре декабристов, но очень скоро оправдался и был отпущен. До сих пор не установлено, состоял ли он действительно членом «Северного общества». В «Горе от ума» Грибоедов высказал свое отрицательное отношение к тайным обществам (Репетилов); но известно, что он действительно был близок и переписывался с некоторыми из декабристов (Кюхельбекером, Бестужевым, кн. Одоевским), — поэтами и литераторами.

В 1826—27 годах Грибоедов принимал деятельное участие в войне против Персии, служил при генерале Паскевиче, который заменил на Кавказе Ермолова. Много раз Грибоедов проявлял на войне блестящую храбрость, самообладание. Заключение Туркманчайского договора, по которому Россия получила Эриванскую область и большую контрибуцию, было делом рук Грибоедова, который вел дипломатические переговоры. Паскевич, ценя его заслуги, хотел, чтобы он лично доложил Государю о заключенном мире. Николай I принял его очень милостиво, наградил и вскоре назначил посланником в Персию.

Дипломатическая карьера Грибоедова была блестяща; ему было всего 33 года, когда он был назначен на ответственный пост посланника. Но эта честь и отличия не радовали его. Никогда еще ему не было так тяжело покидать Россию. Тяжелые, смутные предчувствия не давали ему покоя. Прощаясь с друзьями, он чувствовал, что никогда больше их не увидит.

По дороге в Персию Грибоедов остановился в Тифлисе и здесь провел несколько месяцев. Грибоедов любил одну молодую девушку, княжну Нину Чавчавадзе, которую еще девочкой он видал в Тифлисе. Встретившись с нею вновь, Грибоедов решился сделать предложение и, получив согласие, в скором времени женился. Счастье молодых супругов продолжалось очень недолго! Грибоедов должен был ехать в Персию, на место своего назначения. Он не хотел брать с собой молодую жену, так как атмосфера в Персии после недавней войны была очень натянутой; жена проводила Грибоедова до Тавриза, откуда он один отправился в Тегеран, надеясь через некоторое время выписать ее туда. Но больше им не суждено было встретиться на этом свете...

Персы были крайне раздражены против Грибоедова, который заключил такой невыгодный для них мир. Есть основания предполагать, что и английская дипломатия поддерживала это раздражение персов против России. Грибоедов, как представитель России, занял сразу очень твердую и решительную позицию; он сделал все, что мог, для освобождения множества русских пленных, томившихся в персидском плену, а также взял под свою защиту христиан, которых преследовали магометане. Раздражение персов разжигали фанатичные муллы. Узнав, что в доме посольства скрываются христиане, бежавшие от преследования персов, возбужденная толпа народа окружила посольство, требуя их выдачи. Грибоедов отказался выдать скрывавшихся под его защитой христиан. Огромная толпа персов начала штурмовать дом. Грибоедов сам с саблей в руках стал во главе защищавших посольство казаков и был убит в этой неравной битве, — персов было раз в десять больше русских, которые были все перебиты рассвирепевшей толпой. Из всего русского посольства спасся один человек, который и рассказал о твердом, смелом поведении Грибоедова и его геройской смерти. Только на третий день пришли войска; мятеж был усмирен. Мстительная толпа персов изуродовала тело Грибоедова, волоча его по улицам города; узнали его только по сведенному пальцу руки, которая была за несколько лет до этого прострелена пулей на дуэли.

Пушкин в это время путешествовал по Кавказу и случайно на дороге встретил арбу, на которой везли тело Грибоедова в Тифлис. Вот что написал Пушкин об этой встрече в своем «Путешествии в Арзрум»: «Несколько грузин сопровождали арбу. "Откуда вы?", — спросил я их. — "Из Тегерана". — "Что вы везете?" — "Грибоедова". Это было тело убитого Грибоедова, которое препровождали в Тифлис.

Не думал я встретить уже когда-нибудь нашего Грибоедова! Я расстался с ним в прошлом году в Петербурге, перед отъездом в Персию. Он был печален и имел странные предчувствия».

Говоря дальше о Грибоедове, Пушкин пишет: «Его меланхолический характер, его озлобленный ум, его добродушие, самые слабости и пороки, неизбежные спутники человечества, — все в нем было необыкновенно привлекательно. Самая смерть, постигшая его среди смелого, неравного боя, не имела для Грибоедова ничего ужасного, ничего томительного. Она была мгновенна и прекрасна».

Грибоедов был убит 30 января 1829 г.; похоронили его в Тифлисе, в монастыре Св. Давида.

Грибоедов написал в общем очень немного; до своей знаменитой комедии «Горе от ума» он написал легкие комедии: «Студент», «Молодые супруги», «Притворная неверность», несколько сцен комедии «Своя семья».

В бумагах Грибоедова сохранилось несколько сцен из неоконченной трагедии «Грузинская ночь», которую он начал писать уже после «Горя от ума». В этой трагедии автор затрагивает большой вопрос крепостного права, произвол помещиков. Грибоедов, по существу своего таланта, был сатириком, трагическое удавалось ему хуже; тем не менее, в дошедших до нас сценах «Грузинской ночи» есть очень сильные места.

Нечего и говорить, что «*Горе от ума*» является главным произведением всей жизни Грибоедова и относится к лучшим произведениям русской драматической литературы. Несмотря на то, что Грибоедов описывает русское общество очень определенной исторической эпохи (первой половины XIX века), комедия его не потеряла и никогда не потеряет своей свежести, не устареет, будет пользоваться таким же успехом. В этом мы видим несомненное доказательство гениальности произведения Грибоедова.

«Горе от ума» — и картина нравов, и галерея живых типов, и вечно острая жгучая сатира, и, вместе с тем, комедия, больше всего — комедия, какая едва ли найдется в других литературах», — пишет Гончаров в своей замечательной статье «Миллион терзаний».

Комедия «Горе от ума» необыкновенно богата по содержанию, она поражает своей насыщенностью, если так можно выразиться. Действительно, нет ни одного явления, ни одного разговора, которое можно было бы пропустить; каждое слово, фраза имеют свое значение, каждое, даже самое незначительное, действующее лицо носит свой определенный характер, занимает место, необходимое для единства всей комедии.

Обратимся теперь к разбору главных действующих лиц.

В центре московского общества, изображенного в «Горе от ума», стоит *Фамусов*, представитель чиновного барства. Грибоедов сам в одном из своих писем (к Катенину) говорит, что в лице Фамусова он изобразил своего дядю, известного московского барина. «Что за тузы в Москве живут и умирают», — говорит сам Фамусов; вот именно такого «туза» изображает он сам. Его крупная, живая фигура внушает несомненную симпатию именно своей живостью, бытовой типичностью и цельностью; но, вслушиваясь в его слова, вникая в смысл его речей, видишь его не менее крупные отрицательные черты. Фамусов, по-видимому, занимает видное место на государственной службе, имеет большой чин. Но как он относится к своей должности, как смотрит на службу вообще? При нем состоит секретарем Молчалин, которого Фамусов держит «затем, что (он) деловой»; Молчалин разбирает дела, приносит своему начальнику бумаги для доклада, но у Фамусова одна забота:

Боюсь, сударь, я одного смертельно,
Чтоб множество не накопилось их;
Дай волю вам — оно бы и засело;
А у меня — что дело, что — не дело,
Обычай мой такой:
Подписано, так — с плеч долой.

Видно, что он не вникает в дело, решение которого зависит от него, а только спешит подписать и избавиться от заботы. *Служба* для Фамусова не представляет из себя исполнения каких-то обязанностей, а является путем и способом для достижения личной выгоды, богатства и славы. В противоположность Чацкому, который считает, что надо служить «делу, а не лицам», Фамусов находит, что «служить лицам» необходимо для того, чтобы достичь знатности. Он ставит в пример своего дядю, Максима Петровича, который, будучи уже сам знатным вельможей, —

(Не то на серебре, на золоте едал;
Сто человек к услугам; весь в орденах), —

сумел шутовской выходкой заслужить милость Государыни (Екатерины II):

А дядя! что твой князь? что граф?
Сурьезный взгляд, надменный нрав.
Когда же надо подслужиться,
И он сгибался вперегиб.

Вот — идеал Фамусова! Низкопоклонство — вернейший способ к достижению чинов, а Фамусов называет «гордецом» того, кто не хочет идти этой пробитой дорогой. Не желая даже вслушиваться и вдумываться в горячие возражения Чацкого, Фамусов *уверен* в своей правоте, потому что так, как он, думали и «делали отцы», так повелось со старых времен. Он совершенно откровенно говорит об этих низких и уродливых приемах чиновного мира; так же просто признается в том, что старается всегда устраивать своих родственников на выгодные места, не заботясь о том, способны ли они выполнять возложенные на них обязанности:

Как станешь представлять к крестикшу ли к местечку,
Ну, как не порадеть родному человечку.

Признания Фамусова были бы циничны, если бы они не высказывались с таким искренним простодушием.

Интересны взгляды Фамусова на воспитание детей и на образование вообще. В книгах он не видит ничего хорошего:

В чтение прок-от не велик, —

говорит он в ответ на слова Лизы, что Софья «ночь целую читала» по-французски. «Ей сна нет от французских книг, — продолжает он, — а мне от русских больно спится».

В ученье, в книгах он видит причину всякого вольнодумства и беспорядка:

Ученье — вот чума, ученость — вот причина,
Что нынче, пуще, чем когда,
Безумных развелось людей, и дел, и мнений.

...уж коли зло пресечь, —

Собрать все книги бы, да сжечь.

Однако, вопреки такому своему мнению, Фамусов нанимает Софье учителей-иностранцев, презрительно называя их «побродягами», но делает это потому, что так делают «все», а главный принцип Фамусова — следовать общему течению. Он дает Софье образование, но не трудится вникать в нравственные качества ее воспитателей: мадам Розье, «вторая мать, старушка золото», которой Фамусов доверил воспитание дочери,

За лишних в год пятьсот рублей
Сманить себя другими допустила.

Каким принципам могла научить такая воспитательница? Очевидно, Фамусов, как и многие другие родители светского общества, стремился для своей дочери набирать «учителей полки, числом поболее, ценою подешевле». Лично он не хвалит всеобщего увлечения иностранцами:

Кузнецкий мост и вечные французы, —
негодует он, —

Откуда моды к нам, и авторы, и музы,
Губители карманов и сердец.

Но видно, что бранит он французов именно потому, что считает их «губителями карманов», и не видит разницы между «книжной» и «бисквитной» лавкой.

Заботы Фамусова о дочери сводятся к тому, чтобы дать ей внешнее воспитание, согласное с общепризнанными требованиями общества, и выдать ее замуж за подходящего человека; он старается внушить Софье, что тот

кто беден, тот (ей) не — пара.

В его глазах идеал мужа для Софьи — Скалозуб, так как он «и золотой мешок, и метит в генералы». А то, что Скалозуб противен его дочери, ни мало не беспокоит заботливого отца. Что важнее для Фамусова: чтобы Софья выбрала мужа себе по сердцу или чтобы в обществе говорили, что она сделала блестящую партию? Конечно, — последнее! *Общественное мнение*, то, «что станет говорить княгиня Марья Алексеевна», вот — пружина и двигатель всех слов и поступков Фамусова.

И все же в этом человеке есть если не положительные, то хотя бы симпатичные черты. Симпатично его гостеприимство, свойственное всем истинно-русским натурам; дом его открыт:

Дверь отперта для званных и незванных,
Особенно для иностранных;
Хоть честный человек, хоть нет —
Для нас ровнехонько — про всех готов обед.

Но и в этих словах мы видим, кроме гостеприимства, известную нравственную неразборчивость Фамусова: он тешит своим хлебосольством, а нравственные качества его гостей ему совершенно безразличны. Симпатична в нем искренняя любовь к всему своему, русскому, московскому; как он восхищается московскими тузами, старичками, дамами, юношами и девицами! Симпатично также добродушие Фамусова, скорее — простодушие, которое так и сквозит во всех его речах. Грибоедов изобразил действительно живого человека, с личными, отличающими его, чертами; «брюзглив, неугомонен, скор», — характеризует его Софья; он вспыльчив, но отходчив — «часто без толку сердит», но и добродушен (*Говоря о Фамусове, нельзя не упомянуть знаменитых артистов, исполнявших его роль. «Горе от ума» впервые было поставлено на сцене в 1831 году, уже после смерти Грибоедова; известен был тогда в роли Фамусова замечательный актер Щепкин. В первой половине XX века эту роль необычайно талантливо исполнял знаменитый режиссер и основатель традиции Московского Художественного театра — Станиславский; роль Чацкого бесподобно исполнял Качалов.*).

Фамусов стоит на верхних ступенях служебной и общественной лестницы. Молчалин, находясь на нижних ступенях той же лестницы, старается взобраться по ней, следуя принципам и жизненным правилам своего начальника. Низкопоклонство, угодливость с детства были ему привиты.

Мне завещал отец, —

говорил Молчалин, —

Во-первых, угождать всем людям без изъятия;
Хозяину, где доведется жить,
Начальнику, с кем буду я служить,
Слуге его, который чистит платье,
Швейцару, дворнику, для избежания зла,
Собачке дворника, чтоб ласковой была.

Можно сказать, что Молчалин действительно исполняет завещания отца! Мы видим, как он старается угодить знатной старухе Хлестовой, как хвалит и ласкает ее собачку; и хотя Хлестова относится к нему очень свысока («Молчалин, вот чуланчик твой!»), однако же, она позволяет ему вести себя под руку, играет с ним в карты, зовет «мой дружок», «родной» и, наверное, не откажет ему в покровительстве, когда это ему понадобится. Молчалин уверен, что идет правильным путем и советует и Чацкому съездить «к Татьяне Юрьевне», так как, по его словам, «частенько там мы покровительство находим, где не метим».

Сам Молчалин признает в себе два «таланта»: «умеренность» и «аккуратность», и нет сомнения, что с такими свойствами «он дойдет до степеней известных», как замечает Чацкий, прибавляя: «ведь нынче любят бессловесных». Молчалин действительно — бессловесный, так как не только не высказывает, но даже и не имеет собственного мнения, — недаром Грибоедов назвал его «Молчалиным»:

В мои лета не должно сметь
Свое суждение иметь, —

говорит он. Зачем рисковать «иметь свое суждение», когда настолько проще и безопаснее думать, говорить и поступать так, как это делают старшие, как делает княгиня Марья Алексеевна, как «все»? Да и может ли Молчалин иметь свое мнение? Он, несомненно, глуп, ограничен, хотя и хитер. Это — мелкая душа. Мы видим низость и подлость его поведения с Софьей; он притворяется, что любит ее, потому что думает, что это может ему быть выгодным, и в то же время заигрывает с Лизой; он подло ползает на коленях перед Софьей, вымаливая ее прощенья, и сразу после этого спешит спрятаться от гнева Фамусова, как настоящий трус. Жалкий тип Молчалина изображен Грибоедовым с беспощадным реализмом.

Не менее ярка фигура Скалозуба. «Созвездие маневров и мазурки», — говорит про него Чацкий. В лице Скалозуба Грибоедов карикатурно изобразил тот тип военных, которые обращают внимание главным образом на внешнюю часть военной службы, интересуются формой, отличающей один полк от другого, занимаются муштровкой, «шагистикой», как тогда говорили, и лишены того настоящего военного духа, который создал доблесть русского войска. В Скалозубе воплощена вся пошлость, вся ограниченность такого рода офицеров. Имя его свидетельствует о том, что он постоянно «зубоскалит», шутит, старается острить; но остроты его вовсе не смешны, а именно пошлы; типичен его рассказ о княгине Ласовой, которая, упав с лошади,

...на днях расшиблась в пух:
Жокей не поддержал — считал он, видно, мух.
И без того она, как слышно, неуклюжа,
Теперь ребра недостает,
Так для поддержки ищет мужа.

Типичен его ответ на вопрос Фамусова, в каком родстве с ним состоит Настасья Николаевна:

Не знаю-с, виноват:
Мы с нею вместе не служили.

Этой остротой Скалозуб хочет показать, что ничто вне военной службы его не интересует. Что же занимает его? «...в мундирах выпушки, погончики, петлички...», — сравнение гвардии с армией, в которой у офицеров «все так прилажено и талии так узки»... Стремится Скалозуб только к чинам, наградам, повышениям. Сам он — полковник, но уже «метит в генералы». Интересно узнать, каким образом достиг он

высокого чина; он сам совершенно откровенно рассказывает, что повышение по службе получал не за личные заслуги, а по счастливым стечениям обстоятельств:

Довольно счастлив я в товарищах моих, —
Вакансии как раз открыты:
То старших выключат иных,
Другие, смотришь, перебиты.

Откровенность, с которой Скалозуб говорит о своем повышении, свидетельствует о его крайней глупости:

Речист, а больно не хитер, —

характеризует его Лиза. Так же, как и Фамусов, он убежден во вреде науки и желает, чтобы во всех лицеях и гимназиях детей учили бы маршировать, а книги сохраняли бы «так, для больших okazji».

Вот какого зятя желал бы иметь Фамусов! Среди московского общества Скалозуб безусловно — герой... «не моего романа», — говорит Софья. Ей он противен не только потому, что она любит Молчалина; она понимает пустоту и глупость Скалозуба, — он «слова умного не выговорил с роду». Софья, несомненно, выделяется из окружающего ее общества, стоит выше общего уровня московских девиц, княжон Тугоуховских, интересы которых сводятся только к туалетам. А между тем Софья получила воспитание, общее всем барышням светского общества. Гувернантки, учителя-иностранцы, — мадам Розье, танцмейстер Гильоме, — «француз, подбитый ветерком», — французские романы. Воспитанье это дало Софье внешний лоск светской барышни, но внутренне не дало ей ничего. Софья не знает жизни, не понимает того, что кругом нее творится, не понимает возмущенья Чацкого, его недовольства московским обществом. Из-за того же незнания жизни Софья не понимает истинного характера Молчалина; сама она склонна к сентиментальности, к романтизму, который она почерпала во французских романах, и вот она идеализирует Молчалина, считает, что он «за других себя забыть готов», что у него «на душе проступков никаких»; в ее глазах он добр, «уступчив, скромн, тих». Чацкий совершенно справедливо говорит Софье, что, любя Молчалина, она придала ему свойства характера, которые выдумала за него («быть может, качеств Ваших тьму, любуясь им, Вы придали ему»). В Софье есть прямота, искренность и известная нравственная свобода; она не считается с тем, «что станет говорить княгиня Марья Алексевна», не дорожит общественным мнением:

кем из них я дорожу? —

говорит она. —

Хочу —. люблю, хочу — скажу:
Да что мне до кого, до них? до всей вселенны?
Смешно? — пусть шутят их; досадно? — пусть бранят.

Ее холодность к Чацкому вполне объяснима и только свидетельствует о ее искренности; девочкой она его любила, может быть, была оскорблена его отъездом: «у нас ему казалось скучно», — вспоминает она; теперь же, когда она любит Молчалина, Чацкий, естественно, ей неприятен, она боится его острого, пронизательного взгляда. К тому же Чацкий несколько раз очень нелестно отзывался о Молчалине и выводит

Софью из себя, — вот почему она жестокой шуткой мстит ему, распуская слух о его сумасшествии.

В последнем действии, когда перед Софьей открывается вся низость души Молчалина, она действительно жалка; тут тоже видна ее прямота, когда вся в слезах она говорит Чацкому: «Я виню себя кругом».

Рядом с Софьей стоит фигура бойкой служанки Лизы. Она немного напоминает субреток французских комедий, но Грибоедов сумел придать ей столько свежести, с таким реализмом изобразил ее, что Лиза — совершенно живая фигура.

Огромный талант Грибоедова сказывается именно в том, что все, даже незначительные, лица светского общества, изображенного в «Горе от ума», написаны с подлинным реализмом, имеют каждый свой определенный характер.

Так и видишь крупную фигуру знатной старухи Хлестовой, у которой «воспитанниц и мосек полон дом»; в обществе она держит себя с той свободой и прямолинейностью, которые позволяют ей ее возраст и положение в свете; она говорит всем правду в глаза. Чтобы не скучать по дороге на вечер к Фамусовым, она привезла с собой в карете «арапку-девку, да собачку»; и, заботясь совершенно наравне об этой арапке, которую держит «для услуг», и о собачке, просит Софью велеть их накормить, от ужина послать «подачку»; Хлестова, как и Фамусов, вероятно, никогда и не задумывалась над вопросами крепостного права; ей кажется естественным, что часть человечества должна быть в подчинении и служить, а другая — принимать услуги и повелевать. С каким-то мелочным любопытством она интересуется материальным положением, состоянием подобных ей дворян и простодушно восклицает:

Уж чужих имений мне не знать!

Так и видишь неглупого, но совершенно безвольного Платона Михайловича Горича и его взбалмошную, капризную, хоть и нежную жену; княгиню Тугоуховскую с глухим мужем и целым выводком дочерей, которых надо выдать замуж; светского полушута, плута и лгуна Загорецкого, которого «ругают везде, а всюду принимают».

Несколько в стороне от этого светского общества стоит фигура Репетилова, появляющегося только в последнем действии. В его лице Грибоедов осмеивает тайные общества, тайные собрания молодежи, которым, видимо, Грибоедов не сочувствовал. Репетилов сам — пустейший человек, который даже не понимает, о чем идет речь на заседаниях того общества, в котором он участвует. Рассказывая о «шумном заседании» *«секретнейшего союза»*, он просит Чацкого:

Пожалуйста, молчи,

Я слово дал молчать.

А на вопрос Чацкого, о чем же говорят, что делают эти «решительные люди», «горячих дюжина голов», Репетилов отвечает:

Шумим, братец, шумим!

«Шумите вы, и только?» — иронически отзывается Чацкий, высказывая этими словами все свое отношение к подобным собраниям.

Но не все молодые люди московского общества подобны Репетиловым, Загорецким, Скалозубам. Из разговоров мы узнаем, что есть среди молодежи и такие, которые ищут высших идеалов, стремятся к культуре, искусствам, — но встречают всегда в обществе отпор, осуждение, критику.

...Пускай из нас, —

говорит Чацкий, —

Из молодых людей, найдется враг исканий.
Не требуя ни мест, ни повышенья в чин,
В науки он вперит ум, алчущий познаний,
Или в душе его Сам Бог возбудит жар
К искусствам творческим, высоким и прекрасным, —
Они тотчас: разбой! пожар!
И прослывешь у них мечтателем опасным.

Таков двоюродный брат Скалозуба, который

...крепко набрался каких-то новых правил:
Чин следовал ему — он службу вдруг оставил,
В деревне книги стал читать.

Таков племянник княгини Тугоуховской, увлекающийся наукой, о котором с таким презрением отзывается его тетка, говоря, что, окончив образование, он готов

хоть сейчас в аптеку, в подмастерья!
Чинов не хочет знать! Он — химик, он — ботаник.
Князь Федор, мой племянник.

Герой «Горя от ума», *Чацкий*, принадлежит именно к этой, лучшей части молодого поколения. Многие литературные критики утверждали, что Чацкий — резонер. Это совершенно неверно! Резонером можно назвать его только постольку, поскольку автор его устами выражает свои мысли и переживания; но Чацкий — лицо живое, реальное; у него, как и у всякого человека, есть свои качества и недостатки.

Мы знаем, что Чацкий воспитывался сперва в доме Фамусова, вместе с Софьей учился у учителей-иностранцев. Но такое образование не могло удовлетворить его, и он уехал за границу, чтобы там пополнить пробелы своего образования. Путешествие его длилось 3 года, и вот мы видим Чацкого снова на родине, в Москве, в доме Фамусова, где протекало его детство. Как всякому человеку, вернувшемуся после долгого отсутствия домой, все ему мило, все возбуждает приятные воспоминания, связанные с детством; он с удовольствием перебирает в памяти знакомых, в которых он, по свойству своего острого ума, непременно видит смешные, карикатурные черты, но делает это вначале безо всякой злобы и желчи, а так, для смеха, для прикрасы воспоминаний: «...француз, подбитый ветерком», «...этот ...черномазенький, на ножках журавлиных...»

Перебирая всякие типичные, иногда карикатурные стороны московской жизни, Чацкий горячо говорит, что когда

...поостранствуешь, воротись домой,

И *дым отечества* нам сладок и приятен!

Этим Чацкий совершенно отличается от тех молодых людей, которые, возвращаясь из-за границы в Россию, относились всему русскому с презрением и восхваляли только все то, что видели в чужих странах. Именно благодаря этому внешнему сравнению родного русского с иностранным развилась в ту эпоху в очень сильной степени *галломания*, которая так возмущает Чацкого. У него разлука с родиной, сравнение

русской жизни с европейской вызвали только еще более сильную, более глубокую любовь к России, к русскому народу. Вот почему, попав вновь после трехлетнего отсутствия в среду московского общества, он под свежим впечатлением видит всю утрировку, все смешные стороны этой галломании. Но горячий от природы Чацкий уже не смеется, он глубоко возмущается при виде того, как «французик из Бордо» царствует среди московского общества только потому, что он — иностранец; возмущается тем, что все русское, национальное вызывает насмешку в обществе:

Как европейское поставить в параллель

С национальным — странно что-то! —

говорит кто-то, возбуждая общий смех одобрения. Доходя в свою очередь до преувеличения, Чацкий в противовес общему мнению говорит с негодованием:

Хоть у китайцев бы нам несколько занять
Премудрого у них незнания иноземцев.
Воскреснем ли когда от чужевластья мод,
Чтоб умный, бодрый наш народ
Хотя по языку нас не считал за немцев, —

говорит Чацкий, подразумевая под «немцами» иностранцев и намекая на то, что в обществе в ту эпоху все говорили между собой на иностранных языках; Чацкий страдает, понимая, какая бездна отделяет миллионы русского народа от правящего класса дворян.

Вспоминается здесь статья Грибоедова «Загородная поездка»; он описывает светский пикник, во время которого веселое общество, попав случайно на сельский праздник, с любопытством

слушает русские песни, любит хороводом крестьянских девушек. «Прислонясь к дереву, — пишет Грибоедов, — я с голосистых певцов невольно свел глаза на самих слушателей-наблюдателей, тот поврежденный класс полуевропейцев, к которому и я принадлежу. Им казалось дико все, что слышали, что видели; их сердцам эти звуки невняты, эти наряды для них странны. Каким черным волшебством сделались мы чужие между своими?.. Народ единокровный, наш народ, разрознен с нами и навеки!»

В этих словах Грибоедова звучат слова Чацкого. Из этого образа мыслей Чацкого — Грибоедова вылилось впоследствии *славянофильство*.

С ранних лет детям давалось иностранное воспитание, которое понемногу отдаляло светскую молодежь от всего родного, национального. Чацкий вскользь иронизирует над этими «полками» иностранных учителей, «числом поболее, ценою подешевле», которым доверялось воспитание дворянской молодежи. Отсюда — незнание своего народа, отсюда непонимание тяжелого положения, в котором находился русский народ благодаря *крепостному праву*. Устами Чацкого Грибоедов высказывает мысли и чувства лучшей части дворянства, возмущавшегося несправедливостями, которые влекло за собой крепостное право, боровшегося с произволом заядлых крепостников. Чацкий яркими красками изображает картины такого произвола, вспоминая одного барина, «Нестора негодяев знатных», обменявшего нескольких из своих верных слуг на трех борзых собак; другого, — любителя театра, — который

На крепостной балет согнал на многих фурах
От матерей, отцов отторженных детей; —

он заставил «всю Москву дивиться их красе». Но потом, для того, чтобы расплатиться с кредиторами, распродал поодиночке этих детей, изображавших на сцене «амуров и зефиров», разлучив их навсегда с родителями...

Чацкий не может спокойно об этом говорить, душа его возмущается, сердце болит за русский народ, за Россию, которую он горячо любит, которой он хотел бы послужить. Но как служить?

Служить бы рад — прислуживаться тошно, —

говорит он, намекая на то, что среди множества государственных чиновников он видит лишь Молчалиных или таких вельмож, как дядя Максим Петрович.

В мире Фамусовых Чацкий одинок: все общественное мнение против него. Все кругом него считают, что *служба*, необходимо *прислуживаться*; никто не видит зла в крепостном праве; все считают, что русское, «национальное» нельзя ставить в параллель с европейским, все увлечены галломанией... Вот откуда происходит горе Чацкого, горе от ума его. Он чувствует всю трудность благородной борьбы с целым обществом, вечную борьбу «отцов и детей». Душа его испытывает «миллион терзаний» из-за горячей любви к родине, которой он хочет, но не может помочь. Он не понимает, что его слова, его благородные порывы не могут остаться без плода в будущем. Недаром Гончаров сказал, что слова Чацкого были тем громом, при котором русский человек крестится («Миллион терзаний»). Чацкий видит только настоящее и, понятно, страдает. К этому «горю» его ума прибавляется сердечное горе, — измена Софьи, которую он «без памяти» любит. К разочарованию в любви примешивается еще горькое и унижительное сознание того, кто ему предпочтен! Человек, воплощающий в себе все то, что так противно Чацкому. «Молчалины блаженствуют на свете», — с горечью говорит он. Может показаться странным, что Чацкий при своем остром уме и проницательности не видит с первого взгляда холодности Софьи, не понимает ее колкостей. Это лишний раз доказывает, что Чацкий — живой человек, а не резонер, — человек, способный увлекаться и ошибаться. В последнем действии он упрекает Софью:

Зачем меня надеждой завлекли?

Зачем мне прямо не сказали? —

тогда как Софья и не думала «завлекать его надеждой» и не скрывала своей холодности. Чацкий приходит в бурное отчаяние, когда узнает о любви Софьи к Молчалину. Его сердечное горе сливается с страданием и горем ума, он кипит негодованием и готов

... на весь мир излить всю желчь и всю досаду.

Вон из Москвы! —

воскликает он, —

сюда я больше не ездук.

Бегу, не оглянусь, пойду искать по свету.

Где оскорбленному есть чувству уголок!..

Карету мне, карету!

В этом бурном порыве отчаяния видна вся пылкая, неуравновешенная, благородная душа Чацкого.

Закончив разбор характеров главных действующих лиц, необходимо сказать еще несколько слов о языке и художественности комедии Грибоедова; «Горе от ума», несомненно, принадлежит к лучшим произведениям русской литературы. Недаром Пушкин сказал, что «комедия "Горе от ума" поставила Грибоедова на ряду с первыми нашими поэтами» («Путешествие в Арзрум»). В одном письме Пушкин, показывая свое удивительное литературное прозрение, восхищается комедией Грибоедова и прибавляет: «О стихах я уже не говорю — половина должна войти в пословицы». Так оно и случилось. Сколько выражений из «Горя от ума» обратилось в пословицы: «Счастливые часов не наблюдают», «И дым отечества нам сладок и приятен», «Свежо предание, а верится с трудом», «С чувством, с толком, с расстановкой» и множество других.

Язык «Горя от ума» разработан и отделан до совершенства. Грибоедов необыкновенно умело заставляет своих героев говорить языком, соответствующим их характеру. Мы узнаем Фамусова по его способу выражаться: «В мои лета не можно же пускаться мне в присядку!» — говорит он Чацкому. «Ослы! сто раз вам повторять?» — кричит он на слуг, и в этих словах безошибочно сказывается его характер. «Дистанция огромного размера», — определяет Скалозуб Москву, — и никто другой не выразился бы такими словами. Можно привести множество подобных примеров.

Уже сказано, что по своим литературным взглядам и симпатиям Грибоедов примыкал к классическому направлению. В своей комедии он еще платит некоторую дань классической теории: соблюдает единство времени и места; все действие комедии происходит в продолжение одного дня в доме Фамусова, только в разных комнатах. Но на этом заканчивается влияние классицизма. По характеру своего огромного дарования Грибоедов был прежде всего *реалистом*. Действующие лица «Горя от ума» изображены с неподражаемой яркостью и реализмом, слова и разговоры их звучат и врезаются в память. Вот почему «Горе от ума» не устарело и не может устареть.

В русской литературе Грибоедов своей замечательной комедией открывает путь реализму, тот путь, по которому пойдут величайшие из наших писателей.

В. Н. Ильин

Горе от ума — вечное горе

Хоть поздно, а вступленье есть.

А. Пушкин

Не понимаешь: насмешник, мне будет жаль тебя.

Бл. Августин. «Исповедь»

Но мерзок сердцу облик идиота,

И глупости я не могу принять.

К. Бальмонт

Плывя по беспредельному морю тайн и таинств русской литературы, мы незаметно очутились посредине этого океана. Жутко! От обоих берегов одинаково далеко, а вглубь всматриваться страшно, да и опасно. Недаром сказал Ницше: «Если ты всматриваешься в бездну, то знай, что и бездна всматривается в тебя».

Но среди бездн бывают и отмели. По этому поводу тот же загадочный Ницше говорит: «Кто от черни, того память восходит к деду, с дедом же теряется память. Весьма возможно, что чернь будет господствовать — и все времена потонут в ее мелкой воде»... Кому как, но нам представляется гораздо пригляднее участь потонуть на глубине, чем завязнуть в мелком болоте...

Однако эта горькая участь как будто бы была уготована несравненной русской литературе XIX и начала XX веков. Иначе ведь нельзя назвать то, что произошло на страницах так называемой «передовой» критики той же эпохи, следовавшей за Русским гением по пятам, «как тень иль верная жена», а лучше сказать — как полицейский сыщик, «герои нашего времени». О нем ведь тоже никак нельзя утверждать, что он страдает от чрезмерности умственных способностей.

Русская литература не только гениально художественна: она еще и пророчески глубока. Но там, где пророк, там обязательно увивается вокруг него ничего не понимающий, глупейший сыщик — и притом далеко не всегда официальный, служащий в полиции, но гораздо худшая разновидность этого отродия — добровольный «сикофант», «сексот», представитель так называемого «общественного мнения», которое в России XIX и начала XX веков было обязательно радикальным, общественническим, уравнилельским, социально-политическим, «право-левым», от которого скрыться было решительно некуда. Лесков попал, что называется, в точку.

Но было нечто худшее, чем критик-доносчик, сексот и добровольный соглядатай, докладывавший «по начальству»: не уклонился ли писатель-пророк в чистое творчество? Было вот еще что: «У каждого мерзавца был наготове шприц с серной кислотой для выжигания глаз инакомыслящим»... «Ты будешь ходить только нашими путями или не будешь ходить вовсе»... Так обрисовал положение В. В. Розанов, сам щеголявший с выжженными «интеллигентской» кислотой глазами, а ныне вовсе замолчанный в СССР (вспомните гнусные статьи о нем некоего Ожигова в пошлой «Киевской Мысли», большинство сотрудников которой потом подделались литературными чекистами — во главе с Троцким — «Антид Отто»).

Конечно, постепенно, да и лишь перед самым концом, появились настоящие критики, исследовавшие литературные феномены по существу, а не творившие чекистскую расправу. Появились Волынский-Флексер, Ю. И. Айхенвальд, Измайлов,

Иннокентий Анненский, Арабажин; превосходными критиками были сами великие писатели наши — стоит, например, вспомнить статьи Достоевского о Льве Толстом, о Фете, о Случевском; статьи Вл. Соловьева (особенно о Тютчеве) и др. Но уже было поздно: злое дело было сделано, интеллигентская душа была уже изуродована. «Казалось бы, нас могла исцелить великая литература, выросшая у нас в эти годы. Она не была связана нашими духовными путями. Истинный художник прежде всего внутренне независим, ему не предпишешь ни узкой области интересов, ни внешней точки зрения: он свободно воспринимает всю полноту явлений и всю полноту собственных переживаний. Свободны были и наши великие художники, и, естественно, чем подлиннее был талант, тем ненавистнее были ему шоры общественно-утилитарной морали, так что силу художественного гения у нас можно было безошибочно измерять степенью его ненависти к интеллигенции: достаточно назвать гениальнейших — Л. Толстого и Достоевского, Тютчева и Фета. И разве не стыдно знать, что наши лучшие люди смотрели на нас с ненавистью и отвращением и отказывались благословить наше дело? Они звали нас на иные пути — из нашей духовной тюрьмы на свободу широкого мира, в глубину нашего духа, в постижение вечных тайн. То, чем жила интеллигенция, для них словно не существовало; в самый разгар гражданственности Толстой славил мудрую "глупость" Каратаева и Кутузова, Достоевский изучал "подполье", Тютчев пел о первозданном Хаосе, Фет — о любви и вечности. Но за ними никто не пошел... Больше того, в лице своих духовных вождей — критиков и публицистов — она (интеллигенция) творила партийный суд над свободной истиной творчества и выносила приговоры: Тютчеву — на невнимание, Фету — на посмеяние, Достоевского объявляла "реакционным", Чехова — индифферентным" и пр. Личностей не было, потому что каждая личность духовно осквернялась уже на школьной скамье» (М. О. Гершензон. «Творческое самосознание». Сборник «Вехи», 1909, стр. 83—84).

Радикальный интеллигент-шестидесятник, а за ним «ходившие в народ» опрошенцы-народники, ненавистники культуры и «иконоборцы» («писаревцы»), «аскетически» воздерживавшиеся от познания безграмотные «студенты» (ср. «облезлый барин» Трофимов из «Вишневого сада» Чехова) и «бесы» Достоевского со всевозможными их вариантами, вплоть до марксо-коммунистических чекистов, авторов екатеринбургской бойни, с их предтечами — Желябовым и К⁰ — авторами злодеяния 1 марта 1881 года; травивший и поливавший грязью Л. Толстого в своем непотребном листке («Дело») Ткачев; Нечаев и К⁰, принципиальный убийца невинных; Варфоломей Зайцев, затравивший Владимира Онуфриевича Ковалевского; Чернышевский, издевавшийся над Лейбницем и Лобачевским, и прочая «ничтожная пыль», которой «не дано дышать Божественным огнем» (согласно Тютчеву), — что все это? Неужели в самом деле духовные потомки «декабриста» Чацкого? Неужели Чацкий — зачинатель российской радикально-революционной интеллигенции? Так нас во всяком случае хотят уверить бесчисленные стада «Скабичевских» — вплоть до жалкой советской «крысы» Нечкиной.

На деле же очень скоро выяснилось обратное: «интеллигенты»-чекисты переняли все черты важнейших персонажей «Горя от ума» — Фамусова, Скалозуба, а более всего — Молчалина и его обожательницы Софьи, и все сообща стали гнать Чацкого и преследовать и гасить не только таких гигантов, как Пушкин, Лев Толстой и Достоевский, но всех, кто носил в себе хотя бы самомалейший признак «искры Божией» или мог быть заподозрен в том, что он этой «искрой Божией» любуется в другом... Такое превращение уже полностью свершилось в Белинском: не кто иной, как он, заорал «Разбой! пожар!» от лучших творений Пушкина, Достоевского, Языкова... вплоть до Шеллинга и Гете!.. Его отношение к Гоголю иначе как скалозубовски-фамусовским и назвать нельзя. Здесь уже даже и не «тихое гасительство» Молчалина и шипение его «суккубы», «змеи подкольной» Соньки Фамусовой, здесь начальственно-жандармский окрик «служаки исправного» — по острому выражению

Александра Блока, человека очень «левых» убеждений, но настоящего большого поэта, отлично чувствовавшего, что «критический» наган Белинского из могилы метит и в него:

Фельдфебеля в Вольтеры дам.
Он в три шеренги вас построит,
А пикнете — так мигом успокоит!

Первые, кто в наше время показали тождество между «беллинскими» и «жандармерией» — это профессор Д. И. Чижевский (см. его превосходную монографию «Гегель в России») и автор этих строк (см. исследование «Столп злобы богопротивной» в «Евразийском Временнике», кн. IV, Берлин, 1925). К этому присоединим «Духовный путь Гоголя» К. В. Мочульского.

У русского радикально-интеллигентского коллектива родилась общая молчалинская душа, навтыжку стоящая перед начальниками красного социально-политического интернационального коллектива. Да и как могло бы быть иначе? (В огромном большинстве случаев это люди с загруженным комплексом подсознанием и больные тяжкими формами того, что можно назвать, согласно терминологии Карла Юнга, «политическим неврозом». У некоторых (собственно — у большинства из них) дело и кончалось клиническим помешательством; только не всех убирали в клиники, как это случилось, например, с Ткачевым и Писаревым. Сюда надо также отнести разные формы сексуального помешательства, как, например, у Чернышевского, Добролюбова и др. Это целая тема, которая заслуживает особого и обширного анализа. Тогда откроются и многие другие тайны этих черных душ, назвавших себя с забавным самодовольством «светлыми личностями» (ср. «Бесы» Достоевского).)

«...Жажда справедливости сужается. Моральный пафос вырождается в мономанию. "Классовые" объяснения идеологий и философских учений превращаются у марксистов в какую-то навязчивую идею. И эта мономания заразила у нас большую часть "левых". Деление философии на "пролетарскую" и "буржуазную", на "левую" и "правую", утверждение двух истин, полезной и вредной, — все это признаки умственного, нравственного и общекультурного декаданса. Путь этот ведет к разложению общеобязательного универсального сознания, с которым связано достоинство человечества и рост его культуры» (Бердяев, «Философская истина и интеллигентская правда», сборник «Вехи», стр. 10).

Здесь нотабене. Справедливость требует сказать, что подобно тому, как католики от болезненной сосредоточенности на разыскании всюду «ересей», причем последние тоже расценивались по принципу политического утилитаризма, сами исказили в себе масштабы и критерии ценностей, так и борющиеся ныне с марксо-коммунизмом многочисленные направления оказались зараженными недостатками и болезнями самого марксо-коммунизма.

Уже во времена гениального Эразма создалось такое положение, что глупость (stultitia, под которой Эразм фактически понимал сочетание психологии толпы — умственной тупости — и клинического безумия) создала себе колоссальную мировую империю, в которой сама-то оказалась безраздельно властвующей самодержицей. Так как в огромном большинстве случаев глупость-безумие идет в окружении массы других пороков, преступлений и искажений человеческой личности, то «уродики, уродища, уроды» (по выражению В. Ходасевича) составили настоящий мировой клан, управляющий миром и раздающий призывы или выносящий (громко или подпольно) порицания, с лишением «наказанных» Чацких «всех прав состояния» и нередко с их физической казнью или депортацией. Наглое объявление порока и пошлости (то есть собственной глупости) как единственного критерия положительных оценок содержится уже в пресловутой «Басне о пчелах» Бернарда Мандевилля (1670—1733; *Mandeville*,

«The fable of the bees or private vices made public benefits», 1714). Большая, хотя невольная, заслуга этого несомненно большого циника (в дурном, современном, смысле термина) та, что он «обнажил и заголил» то, из чего выросли как марксисты, так и их противники в стоящей ниже всякой диалектики звериной грызне их, которая ныне именуется деликатно — «диаматом». Огромное влияние Мандевилля на философию просветительства, а значит и на русскую радикальную интеллигенцию, на марксо-коммунизм и вообще на всю ту совокупность меднолобых доктрин, которые носят общую кличку «позитивизма», не подлежит сомнению. Известный экономист и философ права кантианец Рудольф Штаммлер подверг дело довольно обстоятельному разбору, но сути так и не коснулся, ибо кантианство само есть в значительной степени — просвещение со всеми его недостатками (см. *Rudolf Slammeler*, «Mandeville's Bienenfabel»).

Обскурантизм противников просветительства (кажущихся противников) объясняется тем, что они без толку стали разыскивать «ереси» и набросились на «демонизм» гениальных натур в духе Байрона или Ницше. Но и здесь Н. А. Бердяев учит нас тому, что обычное мещанское «кондовое» благочестие бессильно что-либо сделать так же, как оно бессильно и против марксизма. Ход назад невозможен, исторические процессы необратимы, революцию надо обвинять не в том, что она «зашла слишком далеко», но, наоборот, в *отсталости*, в топтании на одном месте, в бессилии сойти с позиций, уже устаревших, при самом своем рождении в XVIII веке заболевших «собачьей старостью». Ибо, по гениальному выражению Н. А. Бердяева, «дух революции враждебен революции духа». Вот где надо искать корни фамусовщины, молчалинщины и скалозубовщины представителей радикальной российской интеллигенции, ее вражды к представителям всего подлинно творческого, как в России, так и на Западе.

«Старые лекарства не помогают от новых болезней. Вся сложность и глубина проблем Ницше в том, что он был таким же благочестивым демонистом, как и Байрон, что богоборчество тут не темная, злая сила, а временное затмение религиозного сознания от добрых творческих изменений человеческого бытия. Новый опыт человечества, бесконечно важный для полноты религиозного сознания, не осмыслен еще, не соединился еще с Разумом-Логосом — вот в чем недоразумение благочестивого демонизма... Дух Божий невидимо и неведомо присутствует в них, и ошибки их сознания простятся им. По словам Христа, спасутся богоборцы, не совершившие хулы на Духа Святого. И Иов боролся с Богом. Без такого богоборчества нет богатой мистической жизни и свободного религиозного выбора. Все новые мученики Духа, все томящиеся и ищущие, неудовлетворенные уже односторонней, частной, неполной религиозной истиной, предчувствующие биение новой религиозной жизни, не осознанной еще, — совершают ли они хулу на Святого Духа? Быть может, не разгаданное еще и влекущее в демонизме есть одна из сторон Божества, один из полюсов добра, и будет понято это лишь в религиозном синтезе конечного фазиса мистической диалектики бытия» {Н.А. Бердяев. «Новое религиозное сознание», стр. 26 —27, СПб., 1907). Слова этой, несомненно, пророческой и истинно пифической, «сивиллиной», книги становятся понятными лишь в наше время, когда марксизм со своими мнимыми противниками поступили в ту же кунсткамеру грибоедовских «уродиков, уродищей, уродов», где, по выражению Гоголя, «мертвецы грызут мертвецов», и когда все зашло в тупик и провалилось в ров преисподней. Это особенно ясно видно из отношения к русской религиозно-мистической философии, например, из отношения к софиологии... Здесь ведь мелкая политическая склока сыграла определяющую роль. И несомненно, Карл Маркс оказался вместе с марксистами на положении лютых антитворческих обскурантов и хульников Духа Святого, — так же, как и так называемые «реакционеры».

Начать с того, что никогда все они настоящими друзьями народа и пролетариата не были. Как очень хорошо видно из показаний Георга Адлера (не смешивать с психологом Альфредом Адлером), Маркса все время тянуло к крупной германской аристократии и к крупной буржуазии. Он был германским империалистом, глубоко презирал в глубине души пролетариат, на который смотрел, как на пушечное мясо и на средство прихода к власти по горам трупов, как и подобает безбожнику-материалисту, о чем пророчествовали и Радищев, и Герцен, которых к реакционерам никак не причислишь. Россию и русский народ он глубоко презирал и ненавидел. Поэтому 8 миллионов убитых по «раскулачиванию», «дзержинщину», «ежовщину», «бериевщину», вообще говоря, все виды «сталинизма», готового вопли заливаемого потоками невинной крови русского народа отождествлять с «шуршанием тараканов», надо считать мерой любви как марксо-коммунистов, так и радикальных интеллигентов к русскому народу.

Это все — отродье «Великого Инквизитора». Достоевский, что называется, попал в самую точку. Это он указал на отвратительную смесь молчалинщины, фамусовщины, скалозубщины, репетиловщины и «Загорецкого» в своих «Бесах», хотя и не называл их поименно. Однако же это так ясно!

«Атеизм Маркса не есть мука и тоска, но злобная радость, что Бога нет, что от Бога наконец отделались и стало в первый раз возможным помыслить о счастье людей» (Я. А. Бердяев, там же, стр. 28). Какое при этом получилось «счастье» в духе Людендорфа, Гимmlера, Гитлера, Розенберга, Ленина, Дзержинского, Берии и Сталина — мы хорошо знаем.

Вступать в бой с таким противником — дело вполне донкихотское. Но Чацкий и есть один из славной и благородной плеяды «дон-кихотов» русской литературы, где на первом месте стоит их центральное солнце — князь Мышкин (в «Идиоте» Достоевского). Свет же свой он заимствует от Того, на Которого Алеша Карамазов побоялся смотреть в «Кане Галилейской» «Братьев Карамазовых».

Не будет ни ошибкой, ни преувеличением сказать, что все великое и прекрасное творится при ожесточенном сопротивлении среды. По степени этого сопротивления и по ожесточению ее прямых или косвенных агентов можно судить даже о величине предпринятого творческого деяния...

Это сопротивление имеет много общего с тем, что именуется в технике «сопротивлением материалов». Разница, однако, и большая, в том, что в технике материал противится вполне пассивно и бессознательно. Мастеру и его механизмам приходится преодолевать лишь сцепление частиц, в то время как людская среда к принципам механической инерции и непроницаемости привносит еще и вполне сознательное ожесточение, исходящее из подсознательных «глубин», загруженных всевозможного рода «комплексамии». Так что здесь как бы мобилизуются все силы сознания и подсознания — коллективного и индивидуального — для того, чтобы творчество или вовсе не свершилось и сам творец погиб — чем раньше, тем лучше («мы всякого гения задушим в младенчестве»), или, если оно «без дозволения начальства» началось, то чтобы оно прекратилось как можно скорее; наконец, если оно по «недосмотру» свершится, то чтобы свершившемуся и тому, кто его свершил, ход не был дан под каким угодно, вовсе бессмысленным предлогом...

Если творчество продолжается, несмотря ни на что, то сопротивление переходит в убийственную ненависть с воплями: «Разбой! Пожар! Распять его! Объявить его сумасшедшим!»

Последнее и есть основа трагикомедии Грибоедова «Горе от ума».

Это единственная в своем роде пьеса — драматизированная история того, что случается, выражаясь фигурально, если лебедю придется залететь — по своей странной охоте или «так» — в гусиное стадо и — о, ирония и насмешка судьбы — полюбить гусыню, да еще имеющую своего плотно втершегося и притершегося «гусака»... Для

понимания страданий, нелепости положения, града неудач и мучительных приступов безысходной любовной лихорадки с потрясающим ознобом ревности, да еще без всяких на то «прав», кроме воспоминаний — для «гусыни» вполне постылых и смешных — о когда-то бывших и односторонне сохранившихся в памяти «ребяческих нежностях»... для расшифровки этого шифра униженного и оскорбленного гения, и злоключений переживаемого им «скверного анекдота» неразделенной любви, притом самого квалифицированного типа, — для этого были нужны силы признанного специалиста именно по этого рода ситуациям. Этим специалистом оказался Гончаров. Поэтому так и удалась ему блестящая критическая статья о «Горе от ума», которую он многообещающе и многозначительно озаглавил выражением, взятым из самой же пьесы — *«Милльон терзаний»*...

Тщательно анализируя эту комедию и подавая результаты своего анализа блестящим стилем, несколько не устаревшим и для нашей эпохи, Гончаров с неопровержимостью показывает невозможность подхода к трагедии Чацкого с категориями анализа «человеческими», «слишком человеческими». Чацкий, как некогда Данте, странствуя в темном лесу жизни, унес с собою вдохновительный образ четырнадцатилетней девочки — Софьи Фамусовой. Полудетские игры с нею были для него в то же время и зарей его «Песни Песней». Зачарованный «однолюб» Чацкий, после трех лет разлуки, летел в Москву, чтобы взглянуть на ту, чувства к которой не изменили «ни годы странствия, ни перемена мест». Он возвращается в раскаленной ауре своего собственного чувства и долгое время не замечает той чудовищной реальности, что никакой Беатриче-Софии больше нет, а есть всего лишь любовница лакея Молчалина, окруженная соответствующими ей чудищами, совсем не социально-политическими, а чудищами просто. С неба «Песни Песней» он падает сразу в самые последние низины человеческого ада кипящих нечистот. Наступает для него «милльон терзаний».

Самое замечательное в очерке Гончарова — это то, что он задолго до появления теории сублимации показал, как чистая страстность Чацкого и постепенно нарастающая эротическая мука разочарования превращают его самого в блестящий многоцветный фейерверк ума, горящий неизвестно для кого, ибо

Все гонят! все клянут! мучителей толпа,
В любви предателей, в вражде неутомимых.
Рассказчиков неукротимых,
Нескладных умников, лукавых простаков,
Старух зловещих, стариков,
Дряхлеющих над выдумками, вздором.
Безумным вы меня прославили всем хором —
Вы правы: из огня тот выйдет невредим,
Кто с вами день прожить сумеет,
Подышит воздухом одним,
И в нем рассудок уцелеет.

С ума есть от чего сойти: предполагаемая Беатриче полностью превратилась в вавилонскую блудницу; это она в своей злобе на невольного разоблачителя ее божка, идольчика Молчалина, сознательно сеет клевету на гений Чацкого, на Дух, на Слово в нем — будто это все лишь безумие. Но с какой «лю-бовию» к Молчалину и с какой убийственно-отвратительной злобой к Чацкому говорит она:

Конечно, нет в нем этого ума,
Что гений для иных, а для иных чума,
Который скор, блестящ и скоро опротивит.

Отсылаем читателя к этой статье Гончарова. Она так хороша, написана с таким блеском и стилистически так бесподобна, что пересказывать ее «своими словами» — просто смешно. От себя же прибавим следующее.

Бессмертная комедия (а в сущности драма или даже трагедия) Грибоедова, о которой хорошо сказал Ю. И. Айхенвальд, что это «не стиль, но стилет», открыла мартиролог ума, его своеобразное мученичество. Страдания Чацкого типичны и возникают всякий раз, когда человек «с сердцем и умом» попадает в среду, где особенно густо копошатся

Сердцем хладные скопцы,
Клеветники, рабы, глупцы.

Грибоедов взял трагедию ума, так сказать, «с точки зрения смеха», того самого смеха, о котором Гейне сказал: «Когда разбито сердце и счастьем нет возврата, — нам остается смех, открытый звонкий смех».

Ум на стоны сердца отвечает холодным блеском полемической рапиры — и это в душе одного и того же человека, с которым приключается этот конфликт. Так это случилось и с Чацким.

Центром «трагедийной комедии» Грибоедова, ее узлом, является «затея хитрости презренной» — объявление Чацкого сумасшедшим, то есть его духовное убийство, которое ближе всего походит на отравление. Обыкновенно этим делом и занимается *la donna delinquente* — «женщина преступница и проститутка» (ср. *Ломброзо*) — в данном случае Софья Фамусова, не могшая простить Чацкому ни его гения, ни его насмешек над ее любовником, тем более, что она, как самая умная из всех «гусей и гусынь», очень хорошо их поняла и служит дураку сознательно.

«Хитрость презренная» ответила уму предательством и убивающей клеветой. Сделать это было очень легко. Ведь Чацкий, как и всякий подлинно одаренный и одухотворенный человек, был прост сердцем, как дитя, и очень наивен. Хорошо сказал Шопенгауэр: «Наивность так же подобает гению, как нагота — красоте».

Лишь только в последний момент пустил Чацкий в ход всю силу своего ума, чтобы разобраться окончательно в своем несчастье и разорвать сеть, которой он был опутан. Сердце мешало ему сделать это с самого начала. Эта сердечная простота и наивность главного героя «комедийного действия» помешала очень многим понять Чацкого, как живого человека. С легкой руки бездарной и каменносердечной нашей «критики» в нем

всегда видели ходячую гражданскую пропись и ментора обличительства... да еще «декабриста», или кого-то или, вернее, «что-то» в этом роде. Словом, все что угодно, но только не живого человека, о котором хорошо сказал поэт:

С моей души сняты покровы,
Живая ткань ее обнажена,
И каждое к ней жизни прикасанье
Есть злая боль и лютое терзанье.

В драме Чацкого по-настоящему разобрался один только Гончаров.

Трудность и «неблагодарность» положения Чацкого в том, что хотя он — страдалец и воин-борец, но все же не может быть назван ни героем, ни подвижником. Он страдал только за себя. И катастрофа, жертвой которой он стал, есть его личное дело, правда, выходящее за пределы обыкновенных в этом роде личных дел, как это, например, случилось с Адуевым-племянником в «Обыкновенной истории» или с артистом Райским — в «Обрыве» того же Гончарова.

«Принципиальных элементов» можно при желании набрать (и наврать) по поводу комедии Грибоедова — три короба. Это и сделала «принципиальная критика». Но ее рацеи и старческое либеральное брюзжание могут привести только к зевоте смертельной скуки и отбить даже желание пойти в театр на представление «Горя от ума»...

Однако история знает великую комедию ума, закончившуюся ужасающей трагедией, могущей смело назваться предтечей трагедии Голгофы.

Мы имеем в виду тот исполненный высокого юмора диалог, который всю свою жизнь Сократ, «мудрейший из людей», вел со своими согражданами, пока те наконец не поднесли к его устам отравленный кубок. Очень показательна ненависть коммунистов к Сократу и Платону!

Замечательно, что все перипетии этого «сократического диалога», насколько мы можем судить, носили черты высокой комедии — поистине «божественной». «Мудрейший из людей» обладал простым, даже наивным, детским сердцем. Эта сердечная простота подвела его даже в философии: она внушила ему в корне ложную мысль о том, что люди делают зло по невежеству и что достаточно им растолковать, «в чем дело», как они станут добрыми. Сократ растолковал — и был отравлен, как «бешеная собака» (по выражению Льва Шестова).

Наконец, Сам Хозяин и Творец вселенной (по выражению Сенеки) разделяет участь посланных Им в мир «мудрых книжников и пророков». Он оклеветан «хитрой враждой», предан в любви и возведен на Голгофу Своими близкими — именно за то, что Он — «свет разума», а не за что-нибудь другое. Тьма не потерпела вторжения «Света не вечернего» в ее «подполье»...

Можно смело сказать, что больше всего люди ненавидят ум. Отсюда и ненависть к философам, о которой так картинно говорят Шопенгауэр и Н. А. Бердяев. Еще бы не ненавидеть! Ведь философия — подлинная, творческая философия, разумеется, а не жевание академической резины на философские темы, — по преимуществу есть область, где господствует ум.

Дело тут не в зависти. Кому и чему в философии может завидовать филистер-обыватель? Он может только потешаться над мудрецом, тем более, что так легко зубоскалить по поводу философа, засмотревшегося на небо и свалившегося в колодец (сухой, по счастью). Да, конечно, зависть есть одна из преобладающих черт в характере огромного большинства людей. Но именно уму-то и не завидуют, ибо обыватель в этом совершенно не компетентен и для него ум — ничто, не стоящая внимания безделка.

Завидуют талантам, красоте, знатности, успехам в жизни, богатству, высокопоставленности... завидуют, но сравнительно редко ненавидят.

По-настоящему ненавидят только ум. Боятся его, как огня, и ненавидят глубокой, неутолимой ненавистью. Зато уму никогда не завидуют. Но от этого уму не лучше. Скорее хуже.

В чем дело? Откуда эта ненависть? И почему столь многие

С умом людей боятся
И терпят при себе охотней дураков, —

хотя отлично знают, что дураки далеко не всегда честны и добры?.. И если уж делать «поспешные обобщения», то меньше шансов ошибиться, сказав, что «дурак всегда подл и зол», чем утверждать, что «умница всегда честен и добр».

Одна из важнейших причин ненависти к уму та, что «во mnogой мудрости много печали и кто умножает познания, тот умножает скорбь» (Екклесиаст, 1,18). А кому охота скорбеть и напоследок дней своих сказать: «И возненавидел я жизнь, потому что противны мне стали дела, которые делаются под солнцем, ибо все это — суета и томление духа» (Екклесиаст, 2,17).

Но до таких скорбных глубин ненавистники ума, можно сказать, никогда не докапываются и не доходят... Есть нечто помельче. И об этом повествует нам Гоголь, написавший своей кистью «свободной и широкой» целую галерею дураков — в прибавление к тому, что было создано уже до него Гойей.

По своей универсальности, по всеобъемлющей своей природе, по своей глубине и высоте ум вообще неопределим, ибо неопределим Тот, Кто его дал и Кого он является образцом и подобием. Но для характеристики его основного свойства существует великолепный эпитет — «*острый*». Свойство «остроты» присуще только уму, так же как, по противоположности, свойство его противников, основное свойство глупости, есть тупость.

Свойство «остроты» присуще только подлинному уму. Бывают блестящие, бывают, относительно говоря, даже талантливые глупцы... Не раз в истории играли решающую и большей частью печальную роль дураки и маньяки, наделенные железной волей. Но «острых дураков» быть не может — это внутренне противоречивое понятие, вроде «круглого квадрата» или «деревянного железа»...

Ум и острота — одно и то же. Ум есть *острота* духа, его, так сказать, острое или колющее острие. Глупость связана с тупостью, с мягкотелым бессилием духа. Не следует смешивать «остроту» с «остроумием» в ходячем смысле слова, или, лучше, острословием.

И каждый вечер за шлагбаумами,
Заламывая котелки,
Среди канав гуляют с дамами
Испытанные остряки, —

то есть нравящиеся «их полу» дураки.

Недаром глагол «острить» очень часто приобретает иронический оттенок, ибо сплошь и рядом предприятия глупцов в этом направлении бывают «покушением с негодными средствами», наводят скуку и вызывают насмешки подлинных умниц:

Затейник зол — с улыбкой скажет глупость.

Невежда глуп — зевая, скажет ум.

И сколько раз приходится выслушивать снотворную околесицу от так называемых «испытанных остряков»... Впрочем, красноречье, да еще патетическое, с трагической дрожью в голосе, тоже не далеко ушло от этого по своей смехотворности и усыпительной силе.

Быть простым и острым — как это трудно и как это редко встречается!

Шутить по-настоящему — тоже свойственно только уму, так же как недалеким людям свойственно не понимать шуток и даже обижаться на них, хотя по своей природе шутка, как правило, не зла и никого не обижает и не затрагивает (другое дело — эпиграмма). Нет ничего очаровательнее ажурно построенной, порхающей мотыльком шутилой речи... И здесь талантливые умницы могут себе позволить смертельно опасный прием того, что в музыке именуется «скерцандо», игру невинным вздором, под поверхностью которого можно почти всегда открыть подлинные перлы настоящего творчества и глубокомыслия, так же как чинное и тяжелое «плетение словес» сплошь и рядом есть маска, скрывающая пустоту и «отсутствие всякого присутствия».

Иногда завязывается легкая «перепалка», вроде теннисной игры между достойными партнерами. «Скорбные головой», вместо парирования контр-остротой, сейчас же обижаются, ибо, по Шекспиру

Спит слово острое в ушах глупца.

Шопенгауэр дает иронический совет людям со слабым наполнением черепной коробки: при встрече с умом и талантом быть просто грубыми. «Ум, талант, знания — все должно будет отступить и уйти, сбитое с позиций божественной грубостью», — иронизирует франкфуртский философ, здесь, как нигде, поддерживающий свою репутацию пессимиста и беспощадной метлы.

Итак, острота духа, его, так сказать, «соль» и «перец» — вот свойства, возбуждающие ненависть к уму, ненависть, сплошь и рядом переходящую в настоящую революцию против него. Дьявол и им одержимые ненавидят соль земли. Их замысел — через убийство мудрых праведников — все опреснить, сгноить, оскопить, рассолить. Поэтому дьявол и есть вечный «теплохладный» мещанин, блюститель «умеренности и аккуратности», вдохновитель вечной «молчалинщины» — приживал покладистый и смиренный, на все согласный, но при случае притворяющийся и позитивистом, и революционером, и анархистом. «Смотря по обстоятельствам, синьор», — он то верит в Бога и рабски трепещет, то оказывается атеистом и отрицателем, но всегда употребляя самые заезжие, опошленные места «вольномыслия», что мы и видим в безбожной пропагандистской макулатуре СССР, литературное ничтожество которой равняется идеологической пошлости, где

...усыпительный Зоил
Разводит опиум чернил
Слюною бешеной собаки.

Поострее, товарищи, и особенно — поновее: нельзя носить лохмотья, которые уже в XVIII веке были грязными обносками, свалившимися с безбожных миллионеров и банкиров, делавших, вроде Гольбаха, на безбожии выгодные аферы и срывавших дешевые лавры. О них поэт — ненавидимый Белинским Баратынский — сказал:

Его капустою раздует,
Но лавром он не расцветет.

Между прочим, сторонникам полицейщины никогда не следует забывать того, что гонимый Фамусовыми, Молчалиными и Софьями ум мстит свои противникам так же, как Чацкий: *он оставляет тех, кто надругался над ним, — и оставляет навсегда.*

Настоящий ум встречается только в соединении с большим, широким и любящим сердцем, и поистине «в злохудожную душу не внидет премудрость». Праведность, более всего ненавидимая злыми глупцами, есть та вершина духа, где рапира ума, «железный стих, облитый горечью и злостью», уступает место «нетленной соли горящих речей» и высокому сочетанию «змеиной мудрости» и «голубиной простоты», «холодной головы и горячего сердца». В праведнике ум уже становится высокой и высшей мудростью, поистине *богоподобной* духовностью.

С этих вершин открывается, что *подлинный ум коренится в сердце*; вот почему глупая голова и злое сердце — естественные союзники и действуют заодно, так же, как умная голова и доброе сердце тоже действуют сообща. И когда происходит преображение человеческого существа под воздействием высших благодатных энергий, великая перемена касается одновременно как ума, так и сердца:

И он к устам моим приник
И вырвал грешный мой язык,
И празднословный и лукавый,
И жало мудрыя змеи

В уста замершие мои
Вложил десницею кровавой.
И он мне грудь рассек мечом
И сердце трепетное вынул,
И уголь, пылающий огнем,
Во грудь отверстую водвинул.

Ум так же, как святость, есть «скандал» и «жестокость» — оба к тому же «бесчеловечны» именно потому, что *сверхчеловечны*.

Бесчеловечны еще и потому, что «благородство обязывает». Ницше прав, человек есть категория, которая должна быть преодолена в направлении, конечно, не «сверхчеловека» — наци или коммуниста, забывших все слова, все смыслы и ставших на четвереньки, — но в направлении *Богочеловека*, Который есмь «*первый и последний, и живой; и был мертв, и се, жив во веки веков, аминь; и имеющий ключи ада и смерти*»... «*и ключ Давидов, Который открывает — и никто не затворит, затворяет — и никто не отворит*» (Откр., 1,17—18; 3, 7).

Революционеры, как и их противники, те из них, которые стоят в одинаковой с ними социально-политической плоскости, стремятся, наподобие гоголевского педагога, водворить по всей земле единомыслие, благонамеренную скуку, тишину и хорошее поведение — «умеренность и аккуратность», — ибо (повторяем острое выражение Н. А. Бердяева) «дух революции враждебен революции духа».

Есть другое острое орудие, в котором соединены свойства воинственности и творчества. Это — стилет скульптора и гравера. При всем различии этих орудий, их общее свойство — твердость, острота, беспощадность. От их действия все валится вокруг, все расступается, разделяется. Возникают новые формы, новые миры. Стиллет касается безобразной груды сырого материала («материи», «хаоса», «небытия»), из которого возникает стройный образ, отмеченный печатью мастерства и мудрости, иногда после множества упорно повторяемых попыток и нащупываний, опытов, отборов. Ведь без этого не только нет жизни, но нет и искусства, нет науки...

Быть может, только на воинственной остроте ума и оправдывается старинное изречение древнего Гераклита, «плачущего философа», что «война — отец всего». Тем более, что петушинный и, как правило, всегда дурацкий задор решительно всех «Скалозубов» всего мира соединяется у них с такой умственной робостью, которая, как правило, переливает самой жалкой духовной трусостью.

Чистое поле с беспредельными далями и богатый, вооруженный острым мечом, на быстром коне — вот символический образ ума. Все должно расступаться перед ним. И притесняет ум только притеснителей.

Ум, любя простор, теснит.

Естественно, что «теснимые» не могут испытывать особой нежности к «притеснителям» и противодействуют им как могут. Конечно, об открытом бое, о честном поединке врагам ума мечтать не приходится. Но зато насчет житейских хитростей и арривизма с ними никто не сравнится. Тем более, что с ними всегда заодно гетевская ведьма, безапелляционно устанавливающая от века действующий закон всех «академий» в мире:

Науки храм, ее друзьям
Недостижимый вечно,
Открыт тому, кто враг уму,
Он в нем царит беспечно.

(В переводе Холодковского)

Хитрость, как правило, прибегает к лицемерию, к святошеству, к маскам благонадежности — все это более или менее удачно, но уму ничего не стоит срывать маски хитрости и открывать убежища и притоны своих врагов. И если он сравнительно редко делает это, то по врожденному чувству брезгливости, а то и по специфической «лени ума», которая мешает ему заниматься пустяками и тратить свои силы на бабьи вздоры. В «Герое нашего времени» с блеском показано такое столкновение Печорина-ума с Грушницким-хитростью, круглым и скучным дураком, однако похваляющимся зарезать своего противника ночью из-за угла, — и это по той причине, что *«ы.и вдвоем нет на земле места»*. И с какой небрежной легкостью ум открывает проделки «хитрецов», белыми нитками шитые маскировки заговорщиков, отгадывает незамысловатые ребусы интриганов и лицемеров, ласковое шипение разных «подколодных ягнят», говоря языком Зинаиды Гиппиус.

«Ядовит», в сущности, не ум, но его противники, решившиеся приписать ненавистному врагу свои же свойства.

Так же, как и горячее солнце летней поры юга, ум отнюдь не «хитер» и не слащав. Ум — не дешевый рационализм «для парикмахеров и горничных» из какой-нибудь «Литературной газеты» или энциклопедии... От него пахнет солью моря и пряной горечью горных трав и полыни. А это далеко не всем по вкусу, особенно из тех, кто воспитал свой вкус на лакричных конфетках, считая их почему-то «картезианством» и «латинским умом» и пристегивая еще сюда «Аристотеля», препарированного под «томизм»... Все они ищут не истины, но удобной и безопасной социальной педагогики, когда это нужно, проводимой мерами гильотинной резни, чекистских расстрелов и массовых, многомиллионных ссылок и казней «в порядке статистики» и по канцеляриям всевозможных стран. Оно и понятно: самый обыкновенный человек с умом и сердцем — это слишком сложная механика для их прямолинейного рационализма, который не только ничего общего не имеет с умом, но по всем пунктам ему противоречит, особенно когда это ум высшего типа или, в особенности, тот ум, который связан органически с сердцем, с любовью. У тех, кто гонит Чацкого и ненавидит Логос IV Евангелия, все выворочено и перевернуто вверх дном: каменное ледяное безлюбное сердце диктует свою злую человекоубийственную и всегда глупую волю горячечной голове, охваченной «передовыми» уродливыми идейками, в огромном большинстве случаев социально-политического характера, ибо социальный вопрос и политика так легко заимствуется из дешевых газетин и книжонок, безразлично какого направления, — лишь бы только от читателя не потребовалось собственное серьезное и глубокое размышление за своей свободной ответственностью. Здесь революция и реакция соперничают в пустоте и ничтожестве голов и полярной стуже сердец... Давно уже подлинное христианство подменяется слащаво-общедоступной его подделкой или же схоластическими упражнениями в тоже поддельных «тонкостях» — совершенно как в «диамаде», против чего и восстал в свое время Паскаль.

Удивляться ли теперь тому, что придуман «принцип наименьшего усилия» и приложен, главным образом, к философии, относительно которой хотят, чтобы она была мышлением о мире согласно принципу «наименьшей траты психической энергии». Совершенно ясно, что идеальный случай такого эмпирио-критического позитивизма состоит в том, чтобы вовсе не мыслить, не читать и не рассуждать — и запрещать это другим... Вот она и готова — трагедия Чацкого! И притом не только в пустейшем салоне.

Где даже глупости смешной
В тебе не встретишь, свет пустой...

Это происходит также в академиях, лабораториях, библиотеках... А уж о кабинетах министров лучше и не говорить. Поэтому и возникает страшный вопрос: да кто же,

собственно говоря, убил Столыпина и чьими руками? Ибо ясно, что он всем без исключения досадил умом, честностью, волей... И прежде всего — умом...

То же самое придется сказать о ссылке и смерти такого «рыцаря без страха и упрека» в отношении революции и коммунизма, как «федоровец» Валериан Муравьев, — не говоря уж о массе убитых и замученных ученых и «спецов», не за страх, а за совесть преданных революции и коммунизму. Ясно все: *они провинились тем, что умны, знающие и культурны...* А это мозолит глаза не одному только Ленину, Дзержинскому, Сталину или Ежову... Все, что угодно, но только не ум.

У истории есть своя тема, которая спасает от «великого абсурда» потенциальной («дурной») бесконечности. Эта тема, которая в некотором отношении совпадает со смыслом, или, если угодно, с «энетелел-ней» истории, символизирует себя, так сказать, в «мессианском замысле» истории. Этот замысел может быть коллективным («*нация-мессия*», «*класс-мессия*») или индивидуально-личным, в виде какого-либо *героя, гения или святого*. Иногда эти три признака *личности-мессии* совпадают, и тогда возникают подлинные благодетели человечества, или же соблазнитель, «прельстители», даже настоящие шарлатаны и мошенники, кровавые изверги, к тому же глупцы (Клеон, Писистрат, Гитлер, Аполлоний Тианский и проч.). При всем их резком различии, даже при всей бездне, часто отделяющей их друг от друга, у них есть то формально общее, что исторические времена и сроки, так сказать, «конвергируют» к ним, сходятся на них, иногда надолго и даже как будто навсегда, во всяком случае для очень значительной части человечества, иногда на сроки совсем краткие. Важно то, что они обладают притягивающими, чарующими силами, которые производят в окружающих людях брожение умов и душ, и притом такого рода, что влекомые и привлекаемые идут за своим (истинным или ложным) кумиром вполне добровольно.

Иногда такими лицами оказываются очень ничтожные субъекты, собирающие вокруг себя толпы, падкие до дутых, дешевых «знаменитостей». Легкомыслие бессмысленных толп, предпочитающих Варраву Христу, не раз бывало предметом художественной или философской трактовки. Дурной иррационализм мелкого мещанского псевдо-«мессианства» отлично осмеял Тургенев («Два четверостишия» — Юниус и Юлиус). Совершенно напрасным трудом оказываются поиски смысла в том, например, что какой-нибудь ничтожный писака, «насаганивший» повестушку, или романчик, или музыкальную ерунду, вдруг становится «знаменитостью», прославляется на всех углах, а подлинно гениальные творцы новых ценностей гибнут от нужды в безвестности. Для нас важно то, что вся история человечества переполнена подобного рода «конвергенциями» и «дивергенциями».

Конечно, в смысле еврейском или индусском Греция не была страной с мессианским призванием, ее призвание — иное (Бердяев, «Опыт эсхатологической метафизики», стр. 174). Но вместе с тем никак нельзя отрицать того, что вся духовная история Греции «конвергирует» к сократо-платонизму и «дивергирует» от него. Мессианизм Сократа просто бросается в глаза, и мученическая кончина его — типично мессианское мученичество, хотя очень индивидуально-личное.

Трагедия Чацкого — это сжатая в общей формуле трагедия всякого мессианства, начиная с Того, Кто посылает в мир «мудрецов и пророков», и кончая самими этими «мудрецами и пророками».

В мир они приходят неузнанными, так сказать, «инкогнито», да и как могло бы быть иначе? Ум и самореклама, особенно же сердечный ум и самореклама, никак не совпадают, да и совпасть не могут, так же, как самый подлинный, то есть сердечный, ум никак не совпадает с шумом, который «выглядит» глупо, даже идиотски... Конечно, здесь речь идет не о трубе архангела, от которой загораются небо и земля, но о том шуме и треске, которыми сопровождается то, что мы называли как-то «обратной алхимией», дурной алхимией превращения золота в свинец, что и случается всякий раз,

когда высокие ценности захватываются толпой или людьми толпы, «человеком улицы»...

«Верь ты мне, о друг оглушительного шума, что наши самые великие — это самые тихие часы».

Шум и скандал поднимают не «Чацкие», но их враги, которые «подобно псам, лают на то, чего не понимают» и «подобно ослам, предпочитают солому золоту» (Гераклит). Это подобно также петуху старой, как мир, басни, у которого в постоянной немилости жемчуг: «зерно ячменное», видите ли, «не столь видно, да сытно»... Словом, хорошо известные рацеи шестидесятников.

Совершенно естественно, что чекисты XX века почувствовали в шестидесятниках своих прямых предков по всем своим культуроборческим и человекоубийственным мерзостям и возвели их в ранг «святых отцов Октября». Доказать это более чем легко, да и неоднократно было доказываемо как автором этих строк, так и другими исследователями и мыслителями.

Но это — тема, требующая специальной статьи.

**А. А. Чацкий в «Горе от ума» Грибоедова
Попытка развенчания героя**

Большие писатели часто оказываются необъективными критиками. Напомню несколько примеров. И. Бунин не признавал таланта Ф. Достоевского, не ценил пьес А. Чехова. В. Набоков (*От редакции. Дабы не создавать недоразумений, сообщаем, что наша редакция отнюдь не считает Набокова «большим писателем». Одаренность литературного трюкачества и эпатажа (особенно скабрёзного) дана многим снобам и пиютам в литературе. Но это совершенно иная литературная категория, чем «большой писатель». В «большом писателе» всегда наличествует и большая личность. Его не может потянуть порнографическая «слава» (среди международных снобов, конечно) бездарной «Лолиты» и еще более бездарной «Ады». К перечислению Р. В. Плетневым снобистически-глупых заявлений господина Набокова добавим, что ему же принадлежит в одном интервью сообщение, что «Платон — не философ».*) считал, что в курсе по русской литературе достаточно посвятить десять минут творчеству и личности Достоевского. Роман «Доктор Живаго» для Набокова бесталанен и полон мутной советчины. Солженицын же — третьестепенный журналист, а Гете — «пошляк». В истории литературы бывали и обратные случаи, т. е. высокая оценка гением, великим писателем слабого писателя и незначительного поэта. Приведу пример: неумеренные похвалы Гете сербскому плохому поэту и великому чудаку — Симе Милутиновичу Сарайлии. Бывает и так, что «дух времени», установившаяся оценка произведения и его героя, увлекают за собою и талант, и ум, и объективность критика.

В русской критике положительная и похвальная оценка характера, слов и действий Чацкого покоилась не столь на отзыве В. Белинского (он говорит в своей статье больше о Гоголе, чем о «Горе от ума» и Чацком), но на мнениях и аргументах А. Григорьева и особенно И. Гончарова. Статья последнего «Милльон терзаний» (*Собр. соч. т. VIII. М., 1955, стр. 7, 13, 15, 19, 22. 32-34.*) была решающей. Возможно ли считать И. Гончарова вполне объективным критиком? Я полагаю, что нельзя. Если, напр., взять его письмо к А. Пыпину — «Заметки о личности Белинского» (1874 г.), то необходимо отметить известную пристрастность. Гончаров замалчивает многое, оправдывает ряд выпадов, даже таких, где Белинский заявлял о Лукреции Флориани (героиня модного романа Жорж Занд): Лукреция «богиня, перед которой весь мир должен стать на колени!» Гончаров опускает отзывы Белинского о зрелом Пушкине. В этих отзывах читаем: «По своему воззрению Пушкин принадлежит к той школе искусства, которой пора уже совершенно миновала в Европе и которая даже у нас не может произвести ни одного великого поэта». Гончаров не мог не знать, как Белинский печатно одобрял в переводе «Гамлета» самовольную вставку в монолог: «У Шекспира этого нет. Так что ж?.. Переводчик вошел в дух Шекспира, освоился...» (Кстати, Белинский не знал ни слова по-английски и толковал о достоинствах двух переводов!) Гончаров не признает недостатка образования у Белинского, затушевывает его полнейшую зависимость в философских вопросах от мнений приятелей, знавших иностранные языки. В статье-письме ясно желание выгородить Белинского. Замалчивается многое, затушевывается невыгодное при признании горячности, а порою и непоследовательности Неистового Виссариона, как звали Белинского некоторые современники.

Обратимся теперь к «критическому этюду» — «Милльон терзаний». Основные положения этой большой статьи (около 34 страниц) можно свести к двух пунктам. 1) Чацкий впадает в расстройство нервов, добываясь от Софьи: любит ли она его или нет. Отсюда-де его нетерпимость, преувеличения, отчаяние и гнев. 2) Чацкий ценен как

обличитель дурного, закоснелого, эгоистического общества. По Чацкому, старшие чиновники — «подлейшего житья подлейшие черты», или «За дряхлостью лет к свободной жизни их вражда непримирима». Гончаров пишет: «Главная роль, конечно, — роль Чацкого, без которой не было бы комедии, а была бы, пожалуй, картина нравов... Чацкий не только умнее всех прочих лиц, но и положительно умнее... У него есть и сердце, и притом он безукоризненно честен... Он вечный обличитель лжи, запятанной в пословицу: "Один в поле не воин". Нет, воин, если он Чацкий, и притом победитель, но передовой воин, застрельщик и — всегда жертва». Далее Гончаров полагает, что те критики ошибаются, которые считают, что в Чацком мало жизненности и это «абстракт, идея, ходячая мораль комедии, а не такое полное и законченное создание, как, например, фигура Онегина...» И с этим несогласен автор «Обломова», тут-де действует закон драматической формы произведения, «Евгений Онегин» же эпическое. С этим положением трудно согласиться, если вспомнить, напр., тип Хлестакова и его обрисовку в «Ревизоре» Гоголя. Знает Гончаров и об отрицательном суждении об уме Чацкого Пушкина: «Сам Грибоедов приписал горе Чацкого его уму, а Пушкин отказал ему вовсе в уме». Здесь, вероятно, подразумевается письмо поэта к А. А. Бестужеву, где читаем следующее: «Теперь вопрос. В комедии "Горе от ума" кто умное действующее лицо? Ответ: Грибоедов. А знаешь ли, что такое Чацкий? Пылкий, благородный и добрый малый, прошедший несколько времени с очень умным человеком (именно с Грибоедовым) и напивавшийся его мыслями, остротами и сатирическими замечаниями. Все, что говорит он, очень умно. Но кому говорит он все это? Фамусову? Скалозубу? На бале московским бабушкам? Молчалину? Это непростительно. Первый признак умного человека — с первого взгляду знать, с кем имеешь дело...»

Однако большинство критиков и в новейшее время (см. работы Вл. Орлова («Грибоедов. Очерк жизни и творчества». М., 1954.)) считали, подобно Гончарову, Чацкого и умным, и дельным, и добрым героем. Вот именно в его-то характере, словах и действиях я и попробую разобраться. Вперед же упомяну, что в русском литературном кружке в Филадельфии в юбилейный 1979 год шел спор о «Горе от ума» и его действующих лицах. Судя по газетам, одни из присутствующих обвиняли Грибоедова в неумеренном и излишнем сгущении красок, в неправильном представлении Москвы и москвичей 1820-х годов, тогда как другие защищали автора и его взгляды. Сошлись же, кажется, на том, что Москва 1970-х годов и ее элита хуже изображенной Грибоедовым.

Такой спор, по моему мнению, совершенно беспредметен. Конечно, Москва и москвичи в «Войне и мире» Л. Толстого привлекательны, симпатичны, часто патриоты, во многом люди чести и совести. Да и «Грибоедовская Москва» под пером М. Гершензона нам приятна. Грибоедов же — сатирик! Эдак бы можно упрекать и Гоголя в «Ревизоре» за изображение сплошь отрицательных типов, за судью, берущего взятки борзыми щенками, за невежду лекаря, за городничего — тирана и взяточника, упрекать и говорить, что не все же люди, не все чиновники были так плохи. Но сатира есть сатира, комедия нравов и быта должна насолить и... пересолить, обличить и подчеркнуть зло в обществе, в социальных отношениях, в формах быта. Речь же наша идет о том, насколько главный герой комедии и любимец автора положительный тип, представитель разума и добра.

Прежде чем начать анализ действий и слов Чацкого, позволю себе несколько замечаний о тексте комедии «Горе от ума». Известно, что полностью при жизни Грибоедова она не была напечатана, что лучшими списками считаются Булгаринский и Музейный, но и они несовершенны. Неоспоримо: «Горе от ума» и «Ревизор» — лучшие комедии русской литературы XIX века, даже при ряде неувязок и анахронизмов в произведении Грибоедова. Привожу только наиболее существенные. 1) Служанка-субретка шесть раз названа Лизанька, а затем все время только Лиза. 2) Чацкий

спрашивает Софью: «А тетушка? все девушкой Минервой? Все фрейлиной Екатерины Первой?» Но Екатерина Первая (Скавронская) стала императрицей лишь в 1725 году и умерла в 1727 г. Сколько же лет упомянутой тетушке? Судя же по дальнейшим словам Чацкого о тетушке: «воспитанниц и мосек полон дом», что в духе именно некоторых фрейлин Екатерины Второй, о ней и речь? Все в комедии, и сам Чацкий, говорят о его трехгодичном непрерывном отсутствии и езде по Европе. В то же время он замечает офицеру в отставке — Горичу: «Не в прошлом ли году, в конце, в полку тебя я знал? Лишь утро: ногу в стремя и носишься на борзom жеребце...» И тут же он, в болтовне с женою Горича, подчеркивает, что отсутствовал три года. Легко найти еще и другие мелкие недочеты, не уменьшающие блеска речений и живых фразеологизмов комедии. Возможно, что, готовя к печати «Горе от ума», Грибоедов исправил бы ряд недостатков текста и даже черт характера главного героя. Но чего нет — нет.

Личность Чацкого я разбираю по десяти пунктам-упрекам. 1) Невежливость, неучтивость, невоспитанность совершеннолетнего человека. 2) Неумение владеть собою. 3) Ненастоящая любовь к Софье. 4) Неспособность быть благодарным. 5) Слабое отечестволюбие. 6) Остро-личное свободолюбие и забвение своих крепостных и их положения. 7) Безделке в Европе — пребывание на «кислых водах». 8) У Чацкого трудно найти новые идеи и свежие мысли. 9) Не умеет, не может догадаться, кому и что можно говорить, не видит, что его не то что понимать, а и слушать не хотят. 10) Нечуткость для влюбленного непростительная: все ясные слова и намеки Софьи перетолковывает в свою пользу или их не понимает. Глупо дает оружие в руки врагам, говоря сам несколько раз о своем сумасшествии.

1. Можно ли человеку более чем вдвое старшему, да еще возможному тестю, в доме которого он жил в детстве и отрочестве и получал бесплатно образование и знание иностранных языков, возможно ли за три года отсутствия не написать двух слов? А на вопрос о сватовстве спросить: «А вам на что?» На столь невежливый и просто глупый вопрос Чацкий получает отповедь Фамусова:

Меня не худо бы спроситься.
Ведь я ей несколько сродни,
По крайней мере искони
Отцом недаром называли.

На похвалы Фамусова уму и литературной деятельности Чацкого он, в присутствии незнакомого ему полковника Скалозуба, грубо говорит Фамусову: «И похвалы мне ваши досаждают». Фамусов просил Чацкого «помолчать, не велика услуга», т. е. не критиковать всё и вся в присутствии Скалозуба. Но герой комедии с места в карьер налетает на москвичей, на их любовь к военным, на их предрассудки, на суждения старших, не замечающих-де «об себе: что старее, то хуже». И все это и еще горшее Чацкий говорит при Фамусове и о Фамусове, с которым, однако, при встрече дружески обнимается! Малоознакомому Молчалину на вопрос о незнакомой Чацкому даме он отрезает: «С ней век мы не встречались. Слышал, что вздорная». Или о начальнике отделения Фоме Фомиче Чацкий насмешливо восклицает: «Хорош! Пустейший человек, из самых бестолковых». Зачем все это говорить Молчалину? Чего хочет добиться Чацкий? Сплетен? Пересудов? Думает переубедить Молчалина, которого презирает? А как невежлив вопрос о дяде Софьи: «Ваш дядюшка отпрыгал ли свой век?»

2. Александр Андреевич Чацкий совершенно не владеет собою. На совет Фамусова: «С дороги нужен сон. Дай пульс. Ты нездоров», — раздражается несдержанной, полубезумной для слушателей, речью. Чацкий признает:

Да, мочи нет: мильон терзаний
Груди от дружеских тисков,
Ногам от шарканья, ушам от восклицаний,
А пуще голове от всяких пустяков...
Душа здесь у меня каким-то горем сжата,
И в многолюдстве я потерян, сам не свой.
Нет! недоволен я Москвой...

Весь кипя гневом, он с жаром ораторствует долгонько против увлечения французоманией и внезапно замечает:

Я, рассердись и жизнь кляня.
Готовил им ответ громовый.
Но все оставили меня...

Его не хотят слушать, отходят от говоруна. Чацкий, не владея собой, и после первого фиаско опять начинает ораторствовать: «... Глядь...» («Оглядывается, все в вальсе кружатся, с величайшим усердием. Старики разбрелись к карточным столам»). В четырнадцатом явлении Чацкий вопит:

Вон из Москвы! сюда я больше не ездок.
Бегу, не оглянусь, пойду искать по свету.
Где оскорбленному есть чувству уголок!
Карету мне, карету!

Но не сказал ли он Софье, сразу по приезде, на ее вопрос и замечание: «Гоненье на Москву. Что значит видеть свет! Где ж лучше?» — «Где нас нет».

Пустейший болтун, бесструнная балалайка — Репетилов, спешно уезжая, приказывает своему слуге: «Поди, сажай меня в карету, вези куда-нибудь». Не уезжает ли сходно Репетилу и Чацкий «куда-нибудь», искать по свету некий уголок своей обиде на Софью и москвичей? Он в сути дела убегает без цели, без дела, без самообладания.

3. Действительно ли Чацкий столь сильно и искренно любит Софью? И тут возникают у меня серьезные сомнения. Возможно ли любящему верно и страстно и беспокойно: «Ах! тот скажи любви конец, кто на три года вдаль уедет», возможно ли не писать любимой письма три года, не дать знать о себе, не поделиться с подругой детства и отрочества своими впечатлениями и переживаниями? Такая психология искренно любящего и хорошо знакомого любимой совершенно непонятна. По приезде в дом Фамусова, видя явную холодность Софьи, Чацкий упорно добивается, кого она любит, и произносит исключительно характерные слова:

Чтоб равнодушнее мне понести утрату,
Как человеку вы, который с вами взрос.
Как другу вашему, как брату.
Мне дайте убедиться в том;
Потом,
От сумасшествия могу я остеречься;
Пушусь подальше — простыть, охолодеть.
Не думать о любви, но буду я уметь
Теряться по свету, забыться и развлечься.

Чацкий, увы, совсем не думает, что он три года уже развлекался, что пора бы подумать о работе, о службе, о занятиях, о литературе. Он вновь желает «развлекаться» и не на тех ли «кислых водах» (курорте), о которых вспоминает Лиза?

Сам же герой замечает о себе и своих путешествиях: «Хотел объехать целый свет, и не объехал сотой доли». Любя столь сильно, а не общаясь письменно за все три года, он непонятнее, чем Софья. Она говорит:

Кто промелькнет, отворит дверь,
Проездом, случаем, изчужа, издалека —
С вопросом я, хоть будь моряк:
Не повстречал ли где в почтовой вас карете?

Софья не влюблена в Чацкого, она увлечена бесцветным Молчалиным, но она все же вспоминала прежнюю дружбу с Чацким, справлялась о нем, и это понятно. Любопытно, что, мучась сомнением, кого любит Софья, хотя она очень ясно выразила свою любовь и словами, и обмороком при падении с лошади Молчалина, Чацкий и не думает бороться за свою любовь, попытаться вернуть к себе расположение и дружбу Софьи. Грубо и глупо он нападает, он насмехается перед Софьей над тем, кого может считать своим соперником.

4. О неблагодарности по отношению к Фамусову и говорить нечего. Он забыл и хлеб-соль, и ученье, и добродушие Фамусова, в доме которого был явно принят как родной.

5. В начале комедии Чацкий радуется приезду на родину: «Когда постраниствуешь, воротись домой, и дым отечества нам сладок и приятен!» Так он повторил известный стих Г. Державина. Но вскоре «дым отечества» уже ест ему глаза. «Душа здесь у меня каким-то горем сжата... Нет! недоволен я Москвой».

6. Чацкий свободолюбив, жаждет независимости. Бранит помещиков, у которых за долги распродают поодиночке крестьян, не думая о их семьях. Упреки справедливы, однако он сам забывает о своих крепостных. Фамусов подчеркивает: «Именем не управляй оплошно». Четыреста душ крепостных крестьян свободолюбца дали ему средства на поездки по Европе; да мог ли Чацкий «оплошно» управлять именем, отсутствуя три года! Герой наш нигде не выражает желания освободить своих крестьян или перевести их хотя бы на положение вольных хлебопашцев. Можно бы легко ему заметить по басне И. Крылова: «Чем кумушек считать трудиться, не лучше ль на себя, кума, оборотиться». Хорошо о таких, как Чацкий, написал Некрасов в поэме «Саша»: «...Книги читает да по свету рыщет — дела себе исполинского ищет, благо наследье богатых отцов освободило от малых трудов».

7. Ни единым словом герой комедии не упоминает о работе, о своих трудах за время поездок и пребывания в Европе.

8. Чацкий возмущается отсталостью старшего поколения, их презрением к науке и философии, их суждениям «из забытых газет времен очаковских и покоренья Крыма». Возможно, негодование его справедливо. На поверку же в речах героя-критика мы не находим ни новых идей, ни дельных мыслей. Он гневно, просто с пеной у рта, критикует галломанию, но это же делает и представитель старшей генерации — Фамусов. Это старое недовольство еще XVIII века, вспомним Д. Фонвизина, вспомним русского поросенка, из Парижа воротившегося «свиньей». Чацкий за просвещение, за книги и их чтение. Он бранит век минувший, век Екатерины Второй. Но вспомнить бы следовало: в 1763 году вышло из печати около тридцати разных романов по-русски. В 1793 году, за три года до смерти Екатерины Второй, напечатано уже сто двадцать восемь! Переведены десятки шедевров западноевропейской литературы, родились общественные журналы, где смели даже критиковать мнения императрицы.

9. По мнению Пушкина, Чацкий неумный человек. Его тирады обращены не по адресу и встречают то отпор, то недоумение или пренебрежение. В ряде случаев его просто не слушают.

Чацкий доходит и до смешного, считая фрак одеждой, созданной «рассудку вопреки, наперекор стихиям». Чацкий не хочет служить, чтоб не прислуживаться: «Служить бы рад, прислуживаться тошно». И не подумает Чацкий попробовать служить без прислуживания и подслуживания, как сам А. С. Грибоедов.

10. Чацкий просто неспособен, не в силах понять не только намеки, но и откровенные слова Софьи. Она ясно, недвусмысленно выражает свои мысли и чувства. Заметил, однако, Чацкий при встрече: «Удивлены? и только? вот прием! Ни на волос любви!..» Софья и дает, и произносит в лицо герою ряд беспощадных замечаний и упреков:

Случалось ли, чтоб вы смеясь? или в печали?
Ошибкою? добро о ком-нибудь сказали?
Хоть не теперь, а в детстве, может быть...
Убийственны холодностью своею.
Смотреть на вас, вас слушать нету сил...
Зачем же быть, скажу вам напрямик,
Так невоздержну на язык?
В презреньи к людям так нескрыту?
Что и смирнейшему пощады нет!

Софья признается Чацкому, что с Молчалиным «Бог нас свел», и попутно так характеризует ум и действия Чацкого Чацкому же:

Конечно, нет в нем (Молчалине) этого ума,
Что гений для иных, а для иных чума.
Который скор, блестящ и скоро опротивит,
Который свет ругает наповал.
Чтоб свет об нем хоть что-нибудь сказал;
Да эдакий ли ум семейство осчастливит?

Софья открыто говорит о Молчалине нашему герою: Молчалин «чужих и вкривь и вкось не рубит, вот я за что *его люблю*». Все колкости, шпильки, вся откровенность Софьи не убеждают Чацкого до последней сцены. Правда, в середине комедии он что-то видит: «Ах! Софья! Неужели Молчалин избран ей! А чем не муж? Ума в нем только мало; но чтоб детей иметь, кому ума недоставало?» Однако он вскоре опять ничего не понимает, не глядит правде в глаза, не хочет видеть фактов любви Софьи к Молчалину. Он глух и слеп на ее резкости, на пренебрежение просьбой его войти на минутку в ее комнату, вспомнить старое.

Что же представляет собою Чацкий, кому он сродни в середине двадцатых годов XIX века? Ближе всего он к друзьям декабристов. Сомнительно, чтоб Чацкий мог убить героя 1812 года М. Милорадовича на Сенатской площади или в испуге убежал в австрийское посольство. Скорее всего, к нему приложима эпиграмма Грибоедова о самом себе:

По духу времени и вкусу
Он ненавидел слово раб.
За то попался в Главный штаб
И был притянут к Иисусу (*Тогда значило: попасть под следствие.*).

Разобрались бы в его непричастности к бунту и отпустили. Чацкий же полагает во многоглаголении найти спасение. Без передышки, захлебываясь, течет часто его речь, его монологи. Историк В. Ключевский считал «Горе от ума» самым политически острым произведением первой половины XIX века. Чацкий — обличитель, критик общественных неурядиц и недостатков — был поднят на щит либеральной и левой прессой. Он-де за новое, он за свободу! Либеральной печати было совершенно неважно разбираться в характере слов и язвительных тирад этого героя, а важно было то, что он критикует, он обличает!

Блестящий стиль и язык разноstopных ямбов комедии создал несколько десятков пословичных изречений, фразеологизмов и остроумных выражений. Многие изречения из комедии Грибоедова вошли в золотой фонд русского языка. Вспомнив Пушкина, Гончаров сказал, что эти изречения из «Горя от ума» есть «милльон, размененный на гривенники». Но проблемы стиля и языка, типы и характеры других лиц комедии не входят в наш этюд, это особая тема.

Монтреаль, 1980

НАУЧНО-СПРАВОЧНЫЙ РАЗДЕЛ

Комментарии

Вошедшие в данный сборник разноплановые труды представителей Зарубежной России о Грибоедове публикуются по первоисточникам, без каких бы то ни было сокращений, с сохранением характерных особенностей орфографии и пунктуации авторов. Они расположены в хронологическом порядке, в соответствии с датой появления в том или ином печатном органе. Явные опiski авторов или типографские опечатки исправлены без уведомления читателей. Комментарии к публикуемым сочинениям носят реальный характер.

Во избежание повторов и перегрузки комментария отсылками справочные данные о лицах, упомянутых в сборнике, а также о персонажах произведений Грибоедова внесены в специальные словарные разделы, помещенные вслед за основным корпусом комментария

Создатели книги выражают признательность сотрудникам библиотек и архивов, оказавших немалую помощь в деле поиска соответствующих материалов. Особая благодарность — коллегам из Библиотеки фонда «Русское Зарубежье»; именно их коллекции легли в основу данного сборника.

«Цена крови» Грибоедова

«Русская Мысль», Прага — Берлин, 1923, № 3—5. С. 333-345.

Грибоедову было двадцать три года, когда его назначили впервые на службу в Персию — принято считать, что Грибоедов родился в 1795 году, однако по другим сведениям (в том числе по всем послужным спискам с 1818 года), Грибоедов родился в 1790 году, следовательно, в 1818 году, когда Грибоедов как секретарь русской дипломатической миссии выехал в Персию, ему было двадцать восемь лет.

Персия была мрачной «ссылкой к дикообразным азиатам» — в письме С.Н. Бегичеву от 15 апреля 1818 года Грибоедов, описывая встречу с К. В. Нессельроде, в качестве одной из высказанных министру причин своего нежелания ехать в Персию указал следующую: «...Жестоко бы было мне цветущие лета свои провести между дико-образными азиатами, в добровольной ссылке...»

А. П. Ермолов <...> в своем замечательном дневнике путешествия 1817 года — имеются в виду «Выписки из журнала Российского посольства в Персию в 1817 году», опубликованные в «Отечественных Записках» (1827, № 92; 1828, № 93-95).

«По духу времени и вкусу / Я ненавижу слово: раб» — цитата одного из вариантов стихотворения, известного по многочисленным спискам; написано Грибоедовым в период с 11 февраля по 2 июня 1826 г., во время заключения на гауптвахте Главного штаба по делу декабристов.

Он уже восклицал: «Рабы, мой любезный! И поделом им...» — см. «Путевые заметки» А.С. Грибоедова, запись 10—13 февраля 1819 г.

Муэдзин — служитель мечети, призывающий с минарета мусульман на молитву.

Письмо князю А. А. Шаховскому. Тавриз. 17 ноября 1820 года, час пополудни — назывались и другие адресаты указанного письма: П. А. Катенин, П. И. Могилевский; в современных изданиях печатается как письмо к неизвестной.

В ноябре 1819 года Грибоедов читал в Тифлисе стихи из «Горя от ума», которое только было набросано — имеется в виду свидетельство Д. О. Бебутова: «Он мне читал много своих стихов, в том числе, между прочим, и из "Горя от ума", которое тогда еще у него было в проекте».

Летом 1823 года <...> были закончены третий и четвертый акты великой комедии — Грибоедов работал над ними в июне — августе 1823 года в тульской деревне С.Н. Бегичева, а 29—31 мая 1824 года, по дороге из Москвы в Петербург, обдумал новую развязку комедии, о чем писал С.Н. Бегичеву в июне того же года: «...Я с лишком восемьдесят стихов или, лучше сказать, рифм переменил, теперь гладко, как стекло. Кроме того, на дороге мне пришло в голову приделать новую развязку; я ее вставил между сценою Чацкого, когда он увидел свою негодяйку со свечою над лестницею, и перед тем, как ему обличить ее; живая, быстрая вещь, стихи искрами посыпались, в самый день моего приезда».

Булгарин упоминает вещий сон Грибоедова в Персии — Булгарин, со слов Грибоедова, рассказал, как тот «лег спать в киоске, в саду, и видел сон, представивший ему любезное отечество, со всем, что осталось в нем милого для сердца. Ему снилось, что он в кругу друзей рассказывает о плане комедии, будто им написанной, и даже читает некоторые места из оной. Пробудившись, Грибоедов берет карандаш, бежит в сад и в ту же ночь начертывает план "Горя от ума" и сочиняет несколько сцен первого акта».

Это возвращение в Москву «было переворотом в его судьбе и началом непрерывных успехов», как свидетельствовал впоследствии Пушкин — см.: Пушкин А.С. Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года // Поли. собр. соч. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1937-1949. т. I-XVI; 1959, т. XVII («Справочный»). Т. VIII. С. 461; далее ссылки на это издание даются в скобках с указанием тома — римскими цифрами и страницы — арабскими.

Туркманчайский мир — составленный Грибоедовым мирный договор между Россией и Персией, по которому шах уступал России территорию Восточной Армении, отказываясь от притязаний на Грузию и Северный Азербайджан; подписан 10 февраля 1828 года в деревушке Туркманчай.

«Нас там непременно всех перережут». — говорил он Жан-Лру — см.: Смирнов Д.А. Рассказы, записанные со слов друзей Грибоедова // А. С. Грибоедов в воспоминаниях современников. М.: Федерация, 1929. С. 247. О своих дурных предчувствиях Грибоедов рассказывал Пушкину, Ф. В. Булгарину, С. Н. Бегичеву и др.

Дурные приметы преследуют его, даже когда он стоит под венцом — во время венчания Грибоедов был нездоров, почувствовал сильный приступ лихорадки, уронил обручальное кольцо (см. примеч. к с. 39).

«Аббас-Мирза расстался со всеми своими драгоценностями <...>» — писал Грибоедов в конце 1828 года — о том, что «Аббас-Мирза отдал нам в заклад все свои драгоценности» в 1828 г. Грибоедов сообщал в депешах К. В. Нессельроде 20 октября и 30 ноября; в письме К. К. Родофиникину 30 октября; в отношении И. Ф. Паскевичу 2 декабря и др. посланиях.

Он спешит в свой «гарем», где у него «и сестра, и жена, и дочь — все в одном милом личике» — см. письмо Грибоедова В. С. Миклашевич от 3 декабря 1828 г.

С полпути, из Казеина, он пишет жене: «Грустно без тебя...» — см. письмо Н. А. Грибоедовой от 24 декабря 1828 г.

«Египетский труд» выколачивания контрибуции — тяжелый, изнурительный труд; выражение восходит к библейскому рассказу о тяжелых работах, которые выполняли евреи, находясь в египетском плену (Исх., 1, 11, 13—14).

Молох — символ жестокой силы, требующей множества человеческих жертв.

Шариат — мусульманское право, совокупность юридических и религиозных норм, основанных на Коране.

Гяур — у магометан презрительное название человека другой веры.

Еще вечером Грибоедов сочинял ноту протеста персидскому правительству — вечером 29 января 1829 г. Грибоедов продиктовал Мальцеву ноту к Мирзе-Абул-Гассан-хану, где объявлял о своем намерении выехать из Персии.

Николай Первый на торжественной аудиенции заявил, что предаст происшествие забвению — заявление было сделано во время беседы Николая I и Хосров-мирзы в Зимнем дворце 12 августа 1829 г.

Россия только что вышла из войны с Персией — русско-персидская война 1826—1828 гг. закончилась подписанием Туркманчайского мирного договора 10 февраля 1828 г.

Шла война с Турцией — русско-турецкая война 1828—1829 гг. завершилась подписанием Адрианопольского мира 2 сентября 1829 г.

Санджак — основная административно-территориальная единица в Османской империи.

В. Ходасевич Грибоедов

«Возрождение», Париж, 1929, 11 февраля.

«Он был печален и имел странные предчувствия, — вспоминал Пушкин. — Я было хотел его успокоить...» — см.: Пушкин А.С. «Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года» (VIII, 460-461) и примеч. к с. 21.

А.А. Жандр рассказывает: «Грустно провожали мы Грибоедова...» и далее — Грибоедов уезжал из Петербурга 6 июня 1828 г.; см.: Смирнов Д.А. Рассказы, записанные со слов друзей Грибоедова // А.С. Грибоедов в воспоминаниях современников. М.: Федерация, 1929. С. 248.

Гостя у Бегичева <...> сказал: «Прощай, брат Степан, вряд ли мы с тобой увидимся...» — см.: Бегичев С. Н. Записка об А.С. Грибоедове // А.С. Грибоедов в воспоминаниях современников. М.: Федерация, 1929. С. 14—15.

Нина Чавчавадзе <...> была похожа на мадонну Мурильо — об этом Грибоедов писал В.С. Миклашевич 3 декабря 1828 г.: «Полюбите мою Ниночку. Хотите ее знать? В Malmaison, в Эрмитаже, тотчас при входе, направо, есть Богородица в виде пастушки Murillo, — вот она».

Уже 24 июля он писал Булгарину, с которым был друг: «Это было 16-го. В тот день я обедал у старой своей приятельницы, за столом сидел против Нины Чавчавадзевой...» — неточная цитата, ср.: Грибоедов А.С. Сочинения. М.: Худ. лит., 1988. С. 601.

Во время венчания лихорадка вновь стала трясти Грибоедова — об этом Грибоедов писал Ф. В. Булгарину из Тифлиса в начале сентября: «Но в самый день свадьбы, под венцом уже опять посетил меня пароксизм, и с тех пор нет отдыха; я так исхудал, пожелтел и ослабел, что думаю, капли крови здоровой во мне не осталось».

Он уронил обручальное кольцо (как через полтора года уронил свое кольцо Пушкин) — рассказывают, что во время венчания Пушкина и Н. Н. Гончаровой «нечаянно упали с наложницы крест и Евангелие, когда молодые шли кругом», а кроме того, Пушкин

«неприятно был поражен, когда его обручальное кольцо упало неожиданно на ковер, и когда из свидетелей первый устал <...> не шафер невесты, а его шафер».

С дороги Грибоедов написал в Петербург одной знакомой замечательное письмо — имеется в виду письмо В.С. Миклашевич от 17 сентября 1828 г.

Трапер — охотник, герой романов Ф. Купера.

Куперова «Prairie» — роман Ф. Купера «Прерия» (1827).

Жена говорила Грибоедову: «Как это все случилось? Где я, что и с кем? Будем век жить, не умрем никогда!» — см. письмо Грибоедова В. С. Миклашевич от 17 сентября 1828 г.

В «Сыне Отечества» 1830 г. неизвестный автор за подписью «Очевидец» рассказывал... — речь идет о «Заметках из моей жизни» В. Н. Григорьева.

Грибоедов был прав, когда писал, что его живой роман во сто крат занимательнее романов Купера — ср. в письме Грибоедова В.С. Миклашевич от 17 сентября 1828 г.: «Бросьте вашего Трапера и Куперу Prairie, мой роман живой у вас перед глазами и во сто крат занимательнее».

Грибоедов умер через девять лет после окончания своей комедии — «Горе от ума» было завершено не ранее 1824 г. (см. примеч. к с. 20), следовательно, Грибоедов погиб через четыре с половиной года после окончания своей комедии.

В 1825 году он писал из Крыма своему другу... — далее не совсем точно цитируется письмо С. Н. Бегичеву от 9 сентября 1825 г. из Симферополя.

«Эпитафия доктору Кастальди» — Грибоедов сам охарактеризовал ее в письме Н.А. Каховскому от 3 мая 1820 г.:

«Длинно И дурно, но чтоб не вычеркивать, заменю ее другою, в ней же заключается историческая истина:

Брыкнула лошадь вдруг, скользнула и упала —

И доктора Кастальдия не стало!»

Автору было уже двадцать шесть лет — см. примеч. к с. 17.

«Молодые супруги» — переделка пьесы французского драматурга Крезе де Лессера «Secret du menage» (1807).

«Студент» написан в сотрудничестве с Катениным — участие Катенина ограничилось, по-видимому, окончательной отделкой и редактированием пьесы.

«Своя семья» — лишь несколько сцен, вставленных в комедию Шаховского — Грибоедов, по словам А. А. Шаховского, «написал все начало второго действия».

«Притворная неверность» — просто перевод — вольный перевод (при участии А. А. Жандра) пьесы французского драматурга Н.-Т. Барта «Les fausses infidelites» (1768).

«Кто брат, кто сестра» — написано в сотрудничестве с Вяземским — в опере-водевиле «Кто брат, кто сестра, или Обман за обманом» Грибоедов, по словам Вяземского, «брал на себя всю прозу, расположение сцен, разговоры и проч.», однако написал еще несколько стихотворных куплетов.

Совершенный пустячок (водевильная интермедия с куплетами) — имеется в виду «Проба интермедии»; поставлена 10 ноября 1819 г. на сцене петербургского Большого театра.

В 1826 году он писал <...> Бегичеву: «Поэзия! Люблю ее без памяти...» и далее — см. письмо С.Н. Бегичеву от 9 декабря 1826 г.

С. 45. «Горе от ума» <...> все же не более, как сатира... — это широко распространенное заблуждение блистательно опровергнуто А.А. Белым в статье

«Осмеяние смеха. Взгляд на "Горе от ума" через плечо Пушкина» («Московский пушкинист». М.: Наследие, 2000. Вып. VIII).

С. 46. «Подвиг честного человека» — оценка Пушкиным труда Н.М. Карамзина: «История Государства Российского есть не только произведение великого писателя, но и подвиг честного человека» (XI, 47).

Н. Кульман

А. С. Грибоедов (К столетию со дня кончины)

«Россия и Славянство», Париж, 1929, № 12, 16 февраля.

Год рождения его долгое время не был точно установлен — год рождения Грибоедова, вызывая немало споров, и в настоящее время не может считаться окончательно установленным; см. примеч. к с. 17.

Печататься он стал рано, с 19 лет... — первое опубликованное произведение Грибоедова «Письмо из Брест-Литовска к издателю» появилось в журнале «Вестник Европы» в 1814 г. (ч. 76, № 15); там же была напечатана и статья Грибоедова «О кавалерийских резервах» («Вестник Европы», 1814, ч. 78, № 22), следовательно, считая, что Грибоедов родился в 1790 г. (см. примеч. к с. 17), печататься он начал с 24 лет.

«Молодые супруги» <...> Стихи настолько плохи, что самая пылкая фантазия не позволит угадать в ней будущего автора «Горя от ума» — отражение господствующего (и неверного!) мнения о Грибоедове как авторе «одного произведения». «Молодые супруги» открывали на русской сцене жанр легкой, или светской комедии, были достаточно высоко оценены критикой и оставались в репертуаре более десятка лет. Александр Бестужев отметил в авторе «Молодых супругов» «большое дарование для театра» («Полярная Звезда на 1823 год», с. 25); «очень много достоинства» увидели в комедии Грибоедова члены «Зеленой лампы»; О. Сомов писал, что эта комедия «отличается в русском переводе чистотою разговорного языка и прекрасным, свободным стихосложением» («Северная Пчела», 1828, № 81). На реплику М.Н. Загоскина («Такие, граф, стихи / Против поэзии суть тяжкие грехи») в положительной в целом рецензии («Северный Наблюдатель», 1817, № 15) Грибоедов резко ответил стихотворением «Лубочный театр».

Грибоедов <...> записывается почему-то в масоны — в 1817 году Грибоедов подписал *L'acle primitif* масонской ложи *Du Bien*, чем, по-видимому, его участие в деятельности этой организации и ограничилось.

О разборе вольного перевода Бюргеровой баллады «Аенора» — защищая Катенина от придирчивой критики Н.И. Гнедича, Грибоедов как будто предвосхитил оценку Пушкина: «Первым замечательным произведением г-на Катенина был перевод славной Бюргеровой "Леноры". Она была уже известна у нас по неверному и прелестному подражанию Жуковского, который сделал из нее то же, что Байрон в своем "Манфреде" сделал из "Фауста": ослабил дух и формы своего образца. Катенин это чувствовал и вздумал показать нам «Ленору» в энергической красоте ее первобытного создания; он написал «Ольгу». Но сия простота и даже грубость выражений, сия сволочь, заменившая воздушную цепь теней, сия виселица вместо сельских картин, озаренных летнею луною, неприятно поразили непривычных читателей, и Гнедич взялся высказать их мнения в статье, коей несправедливость обличена была Грибоедовым» (XI, 220—221).

Комедия «Студент», по заслугам не появившаяся ни на сцене, ни в печати... — впервые отрывки из комедии были опубликованы в статье Л.Н. Майкова «Заметки об А.С.Грибоедове» в «Сборнике, издаваемом студентами Императорского

Петербургского Университета» (1860); на сцене комедия ставилась 1 мая 1904 г. в Александрийском театре, но получила отрицательные рецензии.

Перевел совместно с Жандром французскую комедию «Притворная неверность» — см. примеч.

Сочинил интермедию, принятую на сцену — см. примеч. к с. 44.

Написал несколько явлений для комедии Шаховского и Хмельницкого «Своя семья» — см. примеч. к с. 43.

Фасесия — от франц. *facetie* — грубоватая шутка, проделка; фация.

Доказывает министру, что это значит «цветущие лета свои провести между дикообразными Азиятцами. в добровольной ссылке, отказаться от литературных успехов» — см. примеч. к с. 17.

«Нынче мои именины: благоверный князь, по имени которого я назван, здесь прославился» — не совсем точная цитата из написанного 30 августа 1818 г. из Новгорода письма Грибоедова С. Н. Бегичеву. 30 августа совершается память святого благоверного князя Александра, который во время своего Новгородского княжения одержал славную победу над шведами, за что и получил название Невского.

«В Москве все не по мне...» и далее — см. письмо к С.Н. Бегичеву от 18 сентября 1818 г., написанное в Воронеже.

«Слишком важные вещи: дуэль, карты и болезнь» — из недописанного письма С.Н. Бегичеву, ставшего началом второй части «Путевых заметок» «Тифлис — Тегеран» (29 января — 9 марта 1819 г.).

«Я не путешественник, — писал он, — судьба, нужда, необходимость может меня со временем преобразовать в исправника, в таможенные смотрители...» — неточная цитата из «Путевых заметок» Грибоедова; запись 11—13 февраля 1819 г.

Ему было в это время 24 года — см. примеч. к с. 17.

«До меня известия из России доходят, как лучи от Сириуса, через шесть лет» — см. письмо П. А. Катенину, датируемое февралем 1820 г.

«В Петербурге, где всякий приглашал меня писать, я молчал, а здесь <...> я не выпускаю пера из рук» — неточная цитата из «Путевых заметок» Грибоедова; запись 31 января, вечером.

«Все просят у меня манускрипта и надоедают» — письмо к С.Н. Бегичеву от 10 июня 1824 г.

«Грому, шуму, восхищению, любопытству конца нет» — см. письмо к С.Н. Бегичеву, датируемое июнем 1824 г.

«Здесь Грибоедов Персидский...» — см. письмо П. А. Вяземского А. И. Тургеневу от 30 апреля 1823 г.

Рассказ одного современника <...>: «Я уже не раз слышал о ней...» — имеется в виду рассказ А.А. Бестужева «Знакомство мое с Грибоедовым».

По словам Каратыгина, «откалывали с горем пополам» — неточная цитата «Из моих записок» П. А. Каратыгина.

Первые представления комедии... — премьера «Горя от ума» в Петербурге состоялась 26 января 1831 г., в Москве — 27 ноября 1831 г.; до этого, с 1829 г., в Петербурге и с 1830 г. в Москве, ставились отдельные сцены из «Горя от ума» (сцена из 1-го действия, «Московский балц «Московский бал» и «Разъезд после бала»); первое «полное» издание комедии вышло в Москве в 1833 г.

«Мы ленивы и нелюбопытны» — цитата из «Путешествия в Арзрум» А.С. Пушкина (VIII, 462).

«Комедия Грибоедова — феномен, какого не видали мы от времен "Недоросля"»... — оценка А.А. Бестужева в статье «Взгляд на русскую словесность в течение 1824 и начале 1825 годов», опубликованной в альманахе «Полярная Звезда на 1825 год».

Катенин упрекал Грибоедова, что его характеры порт-ретны. Грибоедов <...> возражал — см. письмо П. А. Катенину, датируемое первой половиной января — 14 февраля 1825 г.

Многие из лиц комедии Грибоедова имели двойников в действительной жизни — об этом см.: Пиксанов Н.К. Прототипы действующих лиц комедии «Горе от ума» // Грибоедов А.С. Поли. собр. соч. СПб., 1911-1917. Т. II. С. 336.

На станции Екатериноградской он был арестован в связи с декабрьскими событиями — Грибоедов был арестован 23 января 1826 года в крепости Грозной.

Дело ограничилось только непродолжительным арестом — Грибоедов находился под арестом более пяти месяцев.

«Я рожден для другого поприща» — см. письмо Ф.В. Булгарину от 16 апреля 1827 г.

Любит поэзию «без памяти, страстно» — Грибоедов писал об этом С. Н. Бегичеву 9 декабря 1826 г.

На обеде у Свиньина, в марте 1828 года... — см. воспоминания Ксенофонта Полевого «О жизни и сочинениях А. С. Грибоедова» // А.С. Грибоедов в воспоминаниях современников. М.: Федерация, 1929. С. 185-187.

«Я так состарился <...> в душе не чувствую прежней молодости» — должно быть: «Я там состарился...». В цитируемых воспоминаниях Ксенофонта Полевого речь идет о времени, проведенном Грибоедовым в Персии: «Я там состарился, — отвечал Грибоедов, — не только загорел, почернел, почти лишился волос на голове, но и в душе не чувствую прежней молодости!» (А. С. Грибоедов в воспоминаниях современников. М.: Федерация, 1929. С. 187).

Существует предание, что после представления «Недоросля» Потемкин сказал Фонвизину: «Умри, Денис, или больше ничего не пиши» — это предание было опубликовано в «Русском Вестнике» (1808, № 8. С. 264), но достоверность его маловероятна, потому что в день премьеры «Недоросля» Потемкина не было в Петербурге.

Пушкин правильно заметил, утешая кого-то, горевавшего о безвременной кончине Грибоедова: «Грибоедов сделал свое. Он уже написал "Горе от ума"»... — эти слова Пушкина известны в записи В. А. Ушакова, опубликованной в журнале «Московский Телеграф» (1830, № 12. С. 515): «В прошедшем году я встретился в театре с одним из первоклассных наших поэтов и узнал из его разговоров, что он намерен отправиться в Грузию. «О Боже мой, — сказал я горестно, — не говорите мне о поездке в Грузию. Этот край может назваться врагом нашей литературы. Он лишил нас Грибоедова». — «Так что же? — отвечал поэт. — Ведь Грибоедов сделал свое. Он уже написал "Горе от ума"».

П. Струве

Лицо и гений Грибоедова Речь, произнесенная на грибоедовском вечере Белградского Союза Русских Писателей и Журналистов

«Россия и Славянство», Париж, 1929, № 21. 13 апреля. Вечер в Белградском Союзе Русских Писателей и Журналистов, на котором выступил П. Б. Струве, состоялся 7 апреля 1929 г.

«Меж детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он» — цитата из стихотворения А.С. Пушкина «Поэт» (1827).

В другом, менее популярном, но не менее замечательном стихотворении... — имеется в виду стихотворение А.С. Пушкина «Еще одной высокой, важной песни» (1829).

Пушкинский завет «читать самого себя» — из стихотворения «Еще одной высокой, важной песни» (1829).

«К портрету Грибоедова» — стихотворение написано не позднее января 1825 г.; впервые опубликовано в «Северных Цветах на 1826 год»; название дано редакторами посмертного издания сочинений Е.А. Баратынского (1869) на основании инициалов «А.С.Г.» в позднейшей копии. Убедительным представляется мнение исследователей, полагающих, что в стихотворении изображено обобщенное «лицо элегика, скорее всего — самого автора».

«Мы ленивы и нелюбопытны» — см. примеч.

«Меланхолический характер» <...> — вот как рисует лицо Грибоедова Пушкин — см. «Путешествие в Арзрум» (VIII, 461).

«Умнейший человек в России» — так после аудиенции в Чу-довом дворце Николай I охарактеризовал Пушкина в разговоре с Д.Н. Блудовым.

Явившись участником сложной любовной истории... и след. — имеется в виду неоднозначно оцениваемое участие Грибоедова в конфликте между графом А. П. Завадовским и В. В. Шереметевым из-за балерины Истоминой и последовавшей за этим дуэли, на которой Грибоедов, будучи секундантом Завадовского, ничего не сделал для примирения противников; после гибели Шереметева его секундант А. И. Якубович вызвал Грибоедова на дуэль и ранил его в руку 23 октября 1818 г.

«Нас цепь угрюмых должностей опутывает неразрывно» — цитата из стихотворения А. С. Грибоедова «Прости, Отечество».

Недаром его <П.А. Вяземского> эпиграмматические стихи Пушкин брал эпиграфами к своим произведениям — речь идет об эпиграфах к роману «Евгений Онегин» («И жить торопится и чувствовать спешит») (VI, 5); к повести «Станционный смотритель» («Коллежский регистратор, / Почтовой станции диктатор») (VIII, 97) и рукописном, не вошедшем в основной текст эпиграфе к поэме «Цыганы» («Под бурей рока — твердый камень, / В волненьях страсти — легкий лист») (IV, 453).

Она получила еще в рукописи такое распространение, с которым вряд ли могли соперничать печатные произведения той же эпохи — до нас дошло около тысячи ее рукописных копий.

А. Погодин

Грибоедов как государственный человек

«Новое Время», Белград, 1929, №№ 2420, 2421, 28 и 29 мая.

В основу статьи положена речь, произнесенная А. Л. Погодиным на торжественном собрании памяти А. С. Грибоедова в Научном Институте в Белграде 26 мая 1929 г.

Туркманчайский договор — см. примеч.

«Горе уму», как названа была сначала его комедия — изменение первоначального названия на окончательное «Горе от ума» зафиксировано в тексте Музейного автографа, который датируется 1823-1824 гг.

В письме к Катенину он назвал Чацкого «здравомыслящим человеком»... — в письме, датируемом первой половиной января — 14 февраля 1825 г.

В его роду насчитывался с начала XVII века ряд лиц, участвовавших в строительстве русского государства — Грибоедовы в русской истории известны с 1503 г.; Михаилу Ефимовичу Грибоедову в 1614 г. царь Михаил Федорович пожаловал несколько деревень в Вяземском уезде «за его многая службы»; прямым предком Грибоедова по матери был разрядный дьяк Федор Иоакимович Грибоедов, член Комиссии по составлению Соборного уложения 1649 г., автор «Истории о царях и великих князьях земли Русской»; в «Алфавитном списке дворянских родов Владимирской губернии» род Грибоедовых записан в VI часть, куда вносились только «древние, благородные дворянские роды».

В поездках по Кавказу и Крыму — впечатления от поездок по Кавказу и Крыму отразились в письмах и «Путевых заметках».

Юношеская записка «О кавалерийских резервах» — опубликована в журнале «Вестник Европы», 1814, ч. 78, № 22.

Пиксанов замечает, что «в этих рассуждениях <...> государственного деятеля» — см.: Пиксанов Н.К.

А С Грибоедов. Биографический очерк // Грибоедов А.С. Поли, собр. соч. СПб.. 1911-1917. Т. I. С. XIX.

Ермолов «мало того, что умен, нынче все умны, но совершенно по-русски» — цитата из «Путевых заметок» Грибоедова, запись 30 января 1819 г.

Слух о военном восстании в Грузии <...> без проверки был перепечатан в «Русской Инвалиде» — «Русский Инвалид», № 284, 6 декабря 1818 г.

Грибоедов не замедлил отозваться иронической статьей в «Сыне Отечества» — возражение Грибоедова «Письмо издателю из Тифлиса» было опубликовано 8 марта 1819 г. («Сын Отечества», 1819, ч. 52. №10).

За время отпуска были написаны последние два действия, и комедия уже осенью 1823 года стала известна русскому обществу — см. примеч. к с. 20.

Паскевич был женат на его двоюродной сестре — на Елизавете Алексеевне Грибоедовой, дочери от первого брака дяди Грибоедова Алексея Федоровича и княжны А. С. Одоевской.

В его <Паскевича> доме Грибоедов встретился с великим князем Николаем Павловичем — о чем Грибоедов писал С. Н. Бегичеву 10 июня 1824 г.: «Вчера я нашел у Паскевича великого князя Николая Павловича; это до цензуры не касается, но чтоб дать понятие, где бываю и кого вижу».

Он ехал на Кавказ через Крым — в Крыму Грибоедов находился с 18 июня по 15 сентября 1825 г.

В Феодосии его коробило от того «духа разрушения», которое принесли с собой русские — об этом Грибоедов писал С.Н. Бегичеву 12 сентября 1825 г. из Феодосии.

Арест Грибоедова 2 января 1826 года и след. — ошибка: Грибоедов был арестован в ночь с 22 на 23 января 1826 г. в крепости Грозной; 2 января был подписан приказ об аресте.

Из этого следствия <...> Грибоедов вышел не только с «очистительным аттестатом», но и с награждением чином и годовым окладом жалования — Грибоедову был пожалован орден Св. Анны 2-й степени с алмазами, чин надворного советника, он получил также «не в зачет годовое жалование» и прогонные деньги для возвращения в Грузию; в «очистительном аттестате» указывалось: «По высочайшему его императорского величества повелению Комиссия для изыскания о злоумышленном Обществе сим свидетельствует, что коллежский асессор Александр Сергеев сын Грибоедов, как по исследованию найдено, членом того Общества не был и в злонамеренной цели оного участия не принимал».

Советское издание 1925 года (Центрархива) — с 1925 года начали выходить издаваемые Центрархивом материалы по истории восстания декабристов («Восстание декабристов. Материалы». М.; Л., 1925. Т. I; Л., 1925, т. VIII («Алфавит декабристов»).

Ивановский желал помочь Грибоедову на письменном допросе — имеется в виду рассказ А. А. Жандра, записанный Д. А. Смирновым: «На первом же допросе Грибоедов начал было писать: "В заговоре я не участвовал, но заговорщиков всех знал и умысел их был мне известен"... и проч. в таком роде. Ивановский, видя, что Грибоедов сам роет себе яму, подошел к столу, на котором он писал, и, перебирая какие-то бумаги, как будто что-то отыскивая, наклонился к нему и сказал ему тихо и отрывисто: "Александр Сергеевич, что вы такое пишете... Пишите "знать не знаю и ведать не ведаю"". Грибоедов послушался».

Сам Грибоедов смеялся, что на основании «Горя от ума» может доказать свое отрицательное отношение к заговору — об этом рассказал Д. И. Завали шин, сидевший под арестом в Главном Штабе вместе с Грибоедовым: «Грибоедов смешил нас рассказами, как ему доказывали на основании "Горя от ума", что он должен быть членом тайного общества, а он доказывал противное на том же основании».

Грибоедов не отрицал, что он всегда осуждал то, что следовало осуждать — из ответа на «Допрос, отобранный от Грибоедова генерал-адъют. Левашевым» 11 февраля 1826 г.: «В разговорах <...> я брал участие: осуждал, что казалось вредным, и желал лучшего».

Письмо к Одоевскому : «Ты был хотя моложе, но основательнее прочих. Не тебе бы к ним примешаться, а им у тебя уму и доброты сердца позаимствовать» — цитата из чернового письма А. И. Одоевскому, датированного началом июня 1828 г.

Известное стихотворение Лермонтова на смерть Одоевского — «Памяти А. И. Одоевского» (1839).

Тени создателей России <...> «пророчествуют о године искупления...» и далее — цитата из плана драмы «1812 год».

«Всеобщее ополчение без дворян», «трусость служителей правительства», «под палку господина, который хочет ему сбрить бороду... отчаяние... самоубийства» — цитата из плана драмы «1812 год».

Паскевич в своем докладе <...> получения части денег... и след. — неточная цитата; см.: Пиксанов Н. А. С. Грибоедов. Биографический очерк. СПб., 1911. С. 79.

На другой день был принят Государем, получил ряд наград... — Грибоедов был награжден чином надворного советника, орденом Св. Анны 2-й степени с алмазами и деньгами.

Он твердил: «Должны прежде всего бояться России и исполнять то, что велит Государь Николай Павлович...» — см. письмо Грибоедова В.С. Миклашевич от 3 декабря 1828 г.

Шаховской <...> написал до ста пьес, причем переделывал французские пьесы — Шаховской написал и переделал более ста пьес.

«La coquetten — «Урок кокеткам, или Липецкие воды» — комедия в стихах А. А. Шаховского (1815).

«Le menteur» — «Не любо, не слушай, а лгать не мешай» — комедия в вольных стихах А. А. Шаховского (1818).

Хмельницкий перевел мольеровские комедии «Тартюф» и «Школа женищин» — «Тартюф» в переводе Н.И. Хмельницкого поставлен на петербургской сцене 15 декабря 1841 г.; «Школа женищин» — 12 ноября 1820 г.

Кокошкин в 1815 году перевел «Мизантропа» — поставлен на московской сцене 13 декабря 1815 г.

В 1815 году он переделал французскую комедию Creuze de Lesser «Le secret du menage» в «Молодые супруги» — см. примеч. к с. 43.

В 1817 году он написал несколько сцен <...> для комедии Шаховского «Своя семья, или Замужняя невеста» и след. — см. примеч. к с. 43.

В 1818 году, совместно с Жандром. Грибоедов переделал пьесу Барта «Les fausses infide'les» <...> («Притворная неверность») — премьера состоялась в Петербурге 11 февраля 1818 г.

Уже Екатерина II выставила в своей пьесе «Именины госпожи Ворчалкиной» такого Громова — комедия Екатерины II была поставлена лишь один раз, 27 апреля 1772 г., в Петербурге; в 1774 г. вышла отдельным изданием.

Комедия Шаховского «Новый Стерн» — поставлена на петербургской сцене 31 мая 1805 г.

«Пустодомы» Шаховского — комедия поставлена на петербургской сцене 10 октября 1819 г.

«Говорун» Хмельницкого — переделка комедии Л. Буасси «Le babillard» поставлена на петербургской сцене 7 мая 1817 г.

«Воздушные замки» Хмельницкого — переделка комедии Ж.-Ф. Коллена д'Арлевиля «Les chateaux en Espagne» поставлена на петербургской сцене 29 июля 1818 г.

«Ум и дела твои бессмертны в памяти русских, но для чего пережила тебя любовь моя» — надпись на могиле Грибоедова.

Петр Пильский
Грибоедов
(К столетию со дня его смерти)

«Сегодня». Рига, 1929, № 41.

Бегичев рассказывает <...>: «Как только Грибоедов замечал, что дядя въехал к ним во двор...» и след. — воспоминания С.Н. Бегичева впервые опубликованы в «Русском Архиве» (1874. № 6, стлб. 1528).

О нем Грибоедов записал: «Он, как лев, дрался с турками при Суворове, потом пресмыкался в передних всех случайных людей в Петербурге...» и след. — цитата из заметки «Характер моего дяди».

Совсем не сочувственно относился <...> к Карамзину. Гнедичу — однако в письме П. А. Вяземскому от 21 июня 1824 г. писал о Гнедиче, «что он гораздо толковее многих здесь», а Карамзина почитал как человека, который России «наиболее чести приносит своими трудами».

Подверг самой злой и уничтожающей критике «Людмилу» Жуковского — в статье «О разборе вольного перевода Бюргеровой баллады "Ленора"» (1816).

«Карамзин бы заплакал, Жуковский стукнул бы чашей в чашу...» — цитата из «Путевых заметок» Грибоедова с ироническим намеком на сентиментализм Карамзина и реминисценцией строки «И стукнем в чашу чашей» из стихотворного послания Жуковского «К Батюшкову».

«Вчера я обедал со всею сволочью здешних литераторов, — писал он в январе 1825 года Бегичеву. — Отовсюду коленопреклонение и фимиам...» и след. — не совсем точная цитата из письма С. Н. Бегичеву от 4 января 1825 г.

В другом, более раннем, письме к тому же Бегичеву Грибоедов говорит: «Я враг кичливого пола» — цитата из письма С.Н. Бегичеву, датированного июнем 1824 г.

А.А. Бестужев вспоминал такие слова Грибоедова: «Женщина есть мужчина-ребенок» — см.: Бестужев А.А. Знакомство мое с А. С. Грибоедовым // А.С. Грибоедов в воспоминаниях современников. М.: Худ. лит., 1980. С. 102.

Он разделял взгляд Байрона: «Дайте им пряник да зеркало — и оне будут совершенно довольны» — см. Бестужев А.А. Знакомство мое с А. С. Грибоедовым // А. С.

Грибоедов в воспоминаниях современников. М.: Худ. лит., 1980. С. 102. Тегеранская катастрофа — гибель Грибоедова. На дуэли с Якубовичем — см. примеч. к с. 59.

«Сто человек прапорщиков хотят изменить весь государственный быт в России» — см.: Беседы в Обществе любителей российской словесности. 1868. Вып. 2. С. 20.

Грибоедов отправил письмо на имя самого государя — имеется в виду письмо Николаю I от 15 февраля 1826 г., написанное с гауптвахты Главного штаба.

Дибич <...> положил резолюцию: «Объявить, что таким тоном не пишут государю» — резолюция И. И. Дибича на письме Грибоедова Николаю I от 15 февраля 1826 г.

Его ранило в кисть левой руки — см. примеч. к с. 59. Потом Грибоедов откровенно говорил, что он метил в голову Якубовича и хотел его убить — свидетельство Н.Н. Муравьева-Карского; см.: Муравьев-Карский Н.Н. «Из "Записок"» // А.С. Грибоедов в воспоминаниях современников. М.: Худ. лит., 1980. С. 44.

Известна сцена, происшедшая у Н.И. Хмельницкого — имеется в виду случай, описанный в воспоминаниях П. А. Каратыгина «Мое знакомство с Александром Сергеевичем Грибоедовым» (см.: А.С. Грибоедов в воспоминаниях современников. М.: Худ. лит., 1980. С. 107—108), когда Грибоедов на обеде у Н. И. Хмельницкого отказался читать «Горе от ума» в присутствии В.М. Федорова.

В декабре 1828 года писал В. С. Миклашевич: «Всем я грозен кажусь, и меня прозвали сахтир — соеыг dur (твердое сердце)» — см. письмо В.С. Миклашевич от 3 декабря 1828 г.

Сам Грибоедов это раскрыл в письме к писателю Катенину: «В моей комедии 25 глупцов на одного здравомыслящего человека» — см. письмо П. А. Катенину, датированное первой половиной января — 14 февраля 1825 г.

Н.К. Пиксанов верно замечает, что «Горе от ума» — барская пьеса — см.: Пиксанов Н.К. Грибоедов. Исследования и характеристики. А: Изд-во писателей, [1934]. С. 49: «"Горе от ума" — барская пьеса. Это самая барственная из пьес русского репертуара <...>. Это барская пьеса и по автору, и по герою, и по бытовому содержанию, и по идеологии. Она барственная и по своему лиризму».

А.А. Бестужев упоминает о «странности и отрывистости» грибоедовских манер и его яркой «оригинальности» — в воспоминании о первой встрече с Грибоедовым; см.: Бестужев А.А. Знакомство мое с А.С. Грибоедовым // А.С. Грибоедов в воспоминаниях современников. М.: Худ. лит., 1980. С. 98: «...Движения его были как-то странны и отрывисты и со всем тем приличны как нельзя более. Оригинальность кладет свою печать даже и на привычки подражания. — Это был Грибоедов».

П.А. Каратыгин говорит, как Грибоедов был «сильно вспыльчив, заносчив и раздражителен» — см. воспоминания П. А. Каратыгина «Из моих записок» // А. С. Грибоедов. Его жизнь и гибель в мемуарах современников. Л.: Красная газета, 1929. С. 59.

Е.А. Баратынский оставил нам стихотворение «К портрету Грибоедова» — см. примеч. к с. 58.

Хорошо и верно охарактеризовал Грибоедова С. А. Андреевский... — см.: Андреевский С.А. К столетию Грибоедова («Новое время», 1895, № 6833; см. также: Пиксанов Н. А.С. Грибоедов. Биографический очерк. СПб.. 1911. С. 105.

А. Кизеветтер Грибоедов и его комедия

Печатается по газетной вырезке, хранящейся в РГАЛИ (ф. 2482, оп. 1, ед. хр. 32, лл. 57—59). Датируется 1929 г.

Он начал писать трагедию из грузинской жизни — имеется в виду трагедия «Грузинская ночь», содержание которой известно в изложении Ф.В. Булгарина: «...Один грузинский князь за выкуп любимого коня отдал другому князю отрока, раба своего. Это было делом обыкновенным, и потому князь не думал о следствиях. Вдруг является мать отрока, бывшая кормилица князя, няня дочери его; упрекает его в бесчеловечном поступке; припоминает службу свою, и требует или возврата сына или позволения быть рабою одного господина, и угрожает ему мщением ада. Князь сперва гневается, потом обещает выкупить сына кормилицы, и, наконец, по княжескому обычаю — забывает обещание. Но мать помнит, что у нее отторжено от сердца детище, и как азиатка, умышляет жестокую месть. Она идет в лес, призывает Дели, злых духов

Грузии, и составляет адский союз на пагубу рода своего господина. Появляется русский офицер в доме, таинственное существо по чувствам и образу мыслей. Кормилица заставляет Дели вселить любовь к офицеру, в питомице своей, дочери князя. Она уходит с любовником из родительского дома. Князь жаждет мести, ищет любовников и видит их на вершине горы св. Давида. Он берет ружье, прицеливается в офицера, но Дели несут пулю в сердце его дочери. Еще не свершилось мщение озлобленной кормилицы! Она требует ружья, чтобы поразить князя, — и убивает своего сына. Бесчеловечный князь наказан небом за презрение чувств родительских и познает цену потери детища. Злобная кормилица наказана за то, что благородное чувство осквернила мстостью. Они гибнут в отчаянии. Трагедия, основанная <...> на народной грузинской сказке, если б была так окончена, как начата, составила бы украшение не только одной русской, но и всей европейской литературы. Грибоедов читал нам наизусть отрывки, и самые холодные люди были растроганы жалобами матери, требующей возврата сына у своего господина». *«Что у меня с избытком найдется что сказать — за это я ручаюсь...»* — неточная цитата из письма С.Н. Бегичеву от 9 сентября 1825 г.

«Чем старей, тем сильнее» — неточная цитата из стихотворения А.С. Пушкина «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье») (1830).

Многие — особенно Веселовский — хотели видеть в Чацком <...> мольеровского Альцеста — имеется в виду исследование А.Н. Веселовского «Альцест и Чацкий» («Вестник Европы», 1881, № 3).

Фамусов и его гости — это то самое, что у Ибсена означено ироническим названием «столпов общества» — имеется в виду комедия Г. Ибсена «Столпы общества» (1877).

«Грех ничего, молва не хороша» — неточная цитата из «Горя от ума»: «Грех не беда, молва нехороша» (д. I, явл. 5).

Сергей Яблоновский

Без Чацкого

Печатается по газетной вырезке, хранящейся в РГАЛИ (ф. 2482, оп. 1. ед. хр. 32, лл. 69-72). Датируется 1929 г.

«Все под личиною усердия к царю» — реплика Чацкого (д. 2, явл. 2).

«Недаром жалуют их скупо государи» — реплика Чацкого (д. 2, явл. 2).

«Согнись-ка кто кольцом, /Хоть пред монаршим лицом, / Так назовет он подлецом» — реплика Фамусова (д. 3, явл. 21).

«Кто что ни говори: /Хотя животные, а все-таки цари» — реплика Загорецкого (д. 3, явл. 21).

С. 90. *Цивический* — от лат. civilis — гражданский.

«Какие-то уроды с того света» — реплика графини внучки (д. 4, явл. 1).

Андрей Луганов

А.С. Грибоедов

Печатается по газетной вырезке, хранящейся в РГАЛИ (ф. 2482, оп. 1. ед. хр. 32, лл. 17-18). Датируется 1929 г.

Пушкин писал: «Как жаль, что Грибоедов не оставил своих записок...» — см. «Путешествие в Арзрум» (VIII, 462).

Жизнь Грибоедова <...> была жизнью «бурной и мятежной» — реминисценция из «Путешествия в Арзрум»: «Не знаю ничего завиднее последних годов бурной его жизни», но Пушкин ничего не говорит о «мятежной жизни Грибоедова» (VIII, 461).

Жизнь Грибоедова «была затемнена некоторыми облаками, вследствие пылких страстей и могучих обстоятельств» — см. «Путешествие в Арзрум» (VIII, 461).

Грибоедов в письме к Кюхельбекеру говорит: «Словно мне отягчело пророчество: и будет ти всякое место в предвиже-ние» — неточная цитата из письма Грибоедова к В. К. Кюхельбекеру, датируемого 1 октября 1822 — концом января 1823 г.

«Ума холодных наблюдений и сердца горестных замет» — цитата из посвящения романа «Евгений Онегин» (VI, 3).

Он написал пять небольших комедий («Молодые супруги», «Притворная неверность», «Проба интермеди», «Кто брат, кто сестра, или Обман за обманом», «Студент») — см. примеч. к с. 43—44.

Мы, вслед за Пушкиным, не можем не признать, что Грибоедов очень умный человек... и след. — см. «Путешествие в Арзрум» (VIII, 461).

«Послание князю А.И. Одоевскому» — адресовано А. И. Одоевскому, поэту-декабристу и другу, после вынесения приговора.

«Телешовой» — стихотворение написано в декабре 1824 г. после постановки (8 декабря) балета «Руслан и Людмила, или Низвержение Черномора, злого волшебника», в котором Е.А. Телешова исполняла роль волшебницы, очаровывающей героя. Опубликовано в «Сыне Отечества» (1825, ч. ХСІХ, № 1). Об обстоятельствах написания стихотворения Грибоедов писал ОН. Бегичеву 4 января 1825 г.: «Долго я жил уединен от всех, вдруг тоска выехала на белый свет, куда, как не к Шаховскому? Там по крайней мере можно гулять смелою рукою по лебяжьему пуху милых грудей etc. В три, четыре вечера Телешова меня с ума свела, и тем легче, что в первый раз, и сама свыклась с тем чувством, от которого я в грешной моей жизни чернее угля выгорел. И что для меня заманчиво было, что соперником у меня — Милорадо-вич, глуп, хвастлив, идол Шаховского, который ему подличает. Оба скоты! Я этого chevalier bavard <болтливого рыцаря. — франц.> бесил ежедневно, возбуждал против себя негодование всего дома, потом стрелял каким-нибудь тряпичным подарком в Ежову и опять мирился, и опять ссорился. Между тем Телешова до такой степени в три недели нашей симпатии успела... в танцах, что здесь не могли ей надивиться, всякий спрашивал ее, отчего такая прелестная перемена? такое совершенство? А я, одаль стоя, торжествовал; наконец у меня зашло рифмами, которые ты, вероятно, читал. Представь себе, с тех пор я остыл, реже вижусь, чтоб не разочароваться. Или то меня с ног сшибло, что теперь все так открыто, завеса отдернута, сам целому городу пропечатал мою тайну, и с тех пор радость мне не в радость».

Грибоедов испытал недовольство собой в публичном признании своих чувств — имеется в виду публикация стихотворения «Телешовой»; см. предыдущее примечание: письмо С. Н. Бегичеву от 4 января 1825 г.

В 1825 году он пишет Бегичеву: «Ну вот. почти три месяца я провел в Тавриде, а результат нуль...» и далее — см. письмо С. Н. Бегичеву от 9 сентября 1825 г.

Еще в 1822 году, в письме Кюхельбекеру <...> Грибоедов пишет: «Переселил бы я их в сокровенность моей души, для нее ничего нет чужою...» — письмо В.К. Кюхельбекеру, датируемое 1 октября 1822 - концом января 1823 г.

Писал он Ахвердовой <...> месяца за два до смерти: «Нет, я вовсе не гожусь для службы...» я далее — вольное изложение письма П.Н. Ахвердовой, написанного в ноябре 1828 года: «Кажется мне, что не очень я гожусь для моего поста...» и т.д.

Пушкин <...> писая: «Не знаю ничего завиднее последних годов его бурной жизни...» — см. «Путешествие в Арзрум» (VIII, 461).

Арзамасцы — члены литературного общества «Арзамас» (1815—1818), объединившего сторонников «карамзинского» направления в литературе в их борьбе против «шишковистов» — членов «Беседы любителей русского слова».

«Беседа любителей русского слова» — созданное в 1811 году по замыслу Г. Р. Державина и А. С. Шишкова общество «литературных староверов», противников реформ в языке, проводимых «карамзинистами».

«Детей страшных лет России» — реминисценция из стихотворения А.А. Блока «Рожденные в года глухие» (1914).

А. Никольский

Александр Сергеевич Грибоедов

Печатается по газетной вырезке, хранящейся в РГАЛИ (ф. 2482, оп. 1, ед. хр. 32, лл. 4—8). По всей видимости, статья была напечатана в одной из русских газет, выходивших в Польше. Датируется 1929 г.

«Его комедия, — пишет Гончаров, — появилась раньше Онегина, Печорина...» и далее — см.: Гончаров И.А. «Мильон терзаний» (Критический этюд) // «Вестник Европы», 1872, № 3; А.С. Грибоедов в русской критике. М.: Худ. лит., 1958. С. 244.

«Карикатуры, — как писая Грибоедов Катенину. — ненавижу, в моей картине ни одной не найдешь» — неточная цитата из письма П. А. Катенину, датируемого первой половиной января — 14 февраля 1825 г.

«Это — картина нравов, галерея живых типов, — говорит Гончаров. — и вечно острая, жгучая сатира, а вместе с тем комедия...» — неточная цитата из критического этюда И. А. Гончарова «Мильон терзаний».

Комедия <...> стала тотчас же. по ее окончательной (третьей) обработке автором (в 1824 году), распространяться в десятках тысячах рукописных экземпляров — см. примеч. к с. 63.

Некоторые критики (Аполлон Григорьев) считали Чацкого единственным героическим лицом нашей литературы... — см.: Григорьев А.А. По поводу нового издания старой вещи // А.С. Грибоедов в русской критике. М.: Худ. лит., 1958. С. 226.

Меньшиков. «Оскорбленный гений» — имеется в виду статья М.О. Меньшикова «Оскорбленный гений», опубликованная в «Книжках Недели» (1895, № 3).

По словам Скабичевского, комедия «Горе от ума» «имеет глубокое общественное значение для всех стран и времен...» — см.: Скабичевский А.М. А.С. Грибоедов, его жизнь и литературная деятельность. СПб., 1893.

Первые его статьи — см. примеч. к с. 47.

Тогда же он окончил и перевод пьесы «Le secret du menage», назвав ее «Молодые супруги» — см. примеч.

Заявляя во всеуслышание, что он «как живет, так и пишет свободно» — цитата из письма П. А. Катенину от первой половины января — 14 февраля 1825 г.

Тогда он задумал «Грузинскую ночь» — см. примеч.

«Взгляни на лик холодный сей» — см. примеч.

«Не знаю, отчего это так долго тянется» — цитата из письма к С. Н. Бегичеву от 12 сентября 1825 г.

Туркманчайский мир 10 февраля 1828 года — см. примеч.

А с ним были убиты и почти все русские, служившие в посольстве — в живых остался один только Иван Сергеевич Мальцев, первый секретарь посольства.

А. С. Грибоедов родился в Москве 4 января 1795 года — см. примеч. к с. 17.

Родоначальник коего Ян Гржибовский — версия о том, что родоначальниками Грибоедовых были польские выходцы Гржибовские, документального подтверждения не имеет и представляется весьма сомнительной.

О РОМАНЕ Ю. ТЫНЯНОВА «СМЕРТЬ ВАЗИР-МУХТАРА»

Публикуемые (а также многие другие рецензии) были написаны в связи с выходом романа Ю. Н. Тынянова в берлинском издательстве «Петрополис» в 1929 г.

1

Георгий Адамович Смерть Грибоедова

«Последние Новости», Париж, 1929, № 2878, 7 февраля.

Тамплиеры (от лат. templum — храм) — духовно-рыцарский орден, возникший в Палестине во время Крестовых походов и названный по Соломонову храму.

Пушкин довольно двусмысленно сказал: «рожденный с честолюбием, равным его дарованиям» — см. «Путешествие в Арзрум» (VIII, 461).

К тому же, по личным признаниям Грибоедова, нам известно, что знаменитая его комедия представляет собой далеко не то, о чем он мечтал — Грибоедов писал об этом в черновой «Заметке по поводу комедии "Горе от ума"»: «Первое начертание этой сценической поэмы, как оно родилось во мне, было гораздо великолепнее и высшего значения, чем теперь в суетном наряде, в который я принужден был облечь его. Ребяческое удовольствие слышать стихи мои в театре, желание им успеха заставили меня портить мое создание, сколько можно было».

«Не знаю ничего завиднее последних годов бурной его жизни...» — см. «Путешествие в Арзрум» (VIII, 461).

Глеб Струве
Роман о Грибоедове

«Россия и Славянство», Париж, 1929, № 11, 9 февраля.

Погибшего 34 лет — см. примеч.; Грибоедову, считая, что он родился в 1790 г., было 39 лет в год гибели.

Тынянов — переводчик Гейне — Тынянов перевел «Сатиры» и «Германию» Г. Гейне.

Автор романа-биографии о В. Кюхельбекере — в первом издании (Л., 1925) книга имела подзаголовок «Повесть о декабристе».

Туркманчайский трактат — см. примеч. к с. 21.

Проект Закавказской Мануфактурной Компании — «Вступление, или Объяснительную записку к проекту Устава Российской Закавказской Компании» Грибоедов и коллежский советник Завалейский подписали в Тифлисе 17 июля 1828 г.

«Дистанция огромного размера» — реплика Скалозуба (д. 2, явл. 5).

Д. Святополк-Мирский

Роман Тынянова о Грибоедове

«Евразия», Clamart, 1929, № 13, 16 февраля.

Русское правительство, занятое войной с Турцией — имеется в виду русско-турецкая война 1828—1829 гг.

Туркманчайский мир — см. примеч. к с. 21. С. 116. Знаменитое «Что везете? — Грибоедова» — см. «Путешествие в Арзрум» (VIII, 461).

М. Цетлин

«Современные Записки», Париж, 1929, № 38, С. 529-531.

Он, как заметил Пушкин, гораздо умнее своего героя — имеются в виду слова Пушкина из письма А.А. Бестужеву (конец января 1825 г.): «Теперь вопрос. В комедии Горя от ума кто умное действ. <ующее> лицо? ответ: Грибоедов. А знаешь ли, что такое Чацкий? Пылкий [и] благородный [молодой человек] и добрый малой, прошедший несколько времени с очень умным человеком (именно с Грибоедовым) и напивавшийся его мыслями, остротами и сатирическими замечаниями» (XIII, 138).

Неблаговидная роль в дуэли Шереметьева — см. примеч. к с. 59.

Он спасся от декабрьской бури — см. примеч. к с. 69.

Его письмо к Паскевичу. где он просит победоносного генерала испросить у царя прощение для Одоевского — см. письмо И.Ф. Паскевичу от 3 декабря 1828 г.

Может быть, это «замерзание» было только внешним, как у Гете после Италии — после двухлетнего путешествия по Италии, начавшегося в 1786 г.

Восьмистишие Баратынского — см. примеч.

Письмо Грибоедова, написанное незадолго до смерти его петербургской приятельнице Варваре Семеновне Миклашевич — письмо В.С. Миклашевич от 17 сентября — 3 декабря 1828 г.

«Слышите?» — пишет Грибоедов, — это жена мне сказала, ни к чему доказательства, что ей шестнадцатый год...» — неточная цитата из письма В. С. Миклашевич от 17 сентября — 3 декабря 1828 г.

Фаустовское «Остановись мгновенье, ты прекрасно!» — Гете И. В. «Фауст». Часть вторая. Действ, пятое. «Большой двор перед дворцом».

Письмо с дороги, из монастыря Эчмиадзина, «под сводами древней обители» — письмо Грибоедова к В.С. Миклашевич от 17 сентября — 3 декабря 1828 г.

«Будем век жить, не умрем никогда» — из письма В. С. Миклашевич от 17 сентября — 3 декабря 1828 г.

Знаменитое «Что везете? — Грибоедова» — см. примеч к с. 116.

«Как жаль, что Грибоедов не оставил своих записок!» — см. «Путешествие в Арзрум» (VIII, 461).

К Словцов

Статьи Р. Словцова — отклик на выпущенную в 1934 г. в Ленинграде книгу Н.К. Пиксанова «Грибоедов. Исследования и характеристики».

Мать Грибоедова

«Последние Новости», Париж, 1935, 12 марта.

«Это была, — пишет лучший биограф Грибоедова Н. Пиксанов, — знатная русская барыня...» и далее — см.: Пиксанов Н.К. А.С. Грибоедов. Биографический очерк // Поли, собр. соч. СПб., 1911-1917. Т. I. С. IV: «Это была знатная русская барыня, умная и любящая, но нетерпимая, страстно резкая в своих приговорах и деспотически властная даже в любви. Ее отношения к сыну очень напоминают мать Тургенева; резкостью она походила на героиню "Войны и мира" Ахросимову; и старуха Хлестова из "Горя от ума" очень близкая ей родня. Современники свидетельствуют, что мать поэта была "некогда очень известна в Москве по своему уму и резкости тона". Л.Н. Майков, со слов короткого знакомого Грибоедова, приписывает Настасье Федоровне руководство первоначальным домашним образованием сына и называет ее "женщиной очень просвещенной". Но это был ум своеобразного, домостроевского склада. Когда такой ум соединяется еще с пылким и властным характером, каков был характер матери Грибоедова, — это становится тяжелым для окружающих, и, прежде всего, для детей».

Он жалуется <...> Бегичеву на «зависимость от семейства» — 9 декабря 1826 г. Грибоедов писал С. Н. Бегичеву: «Буду ли я когда-нибудь независим от людей?»

Зависимость от семейства, другая от службы, третья от цели в жизни, которую себе назначил, и, может статься, наперекор судьбы».

Десятью годами раньше, в 1816 году, он пишет тому же Бегичеву: «Неужели все заводчика корчишь?..» и далее — из письма С.Н. Бегичеву от 9 ноября 1816 г.

«Матушка никогда не понимала глубокого, сосредоточенного характера Александра...» — рассказ сестры Грибоедова Марии Сергеевны (в замужестве Дурново) записан Д. А. Смирновым и опубликован в «Беседах Общества любителей российской словесности при Московском университете».

«В Петербурге <...> судят обо мне и смотрят с той стороны, с которой я хочу, чтоб на меня смотрели. В Москве совсем другое...» — из письма Грибоедова С.Н. Бегичеву от 18 сентября 1818 г.

С обыкновенном своей запальчивостью с первых же слов начала ругать сына на чем свет стоит: и карбонарий он, и вольнодумец, и прочее — изложение рассказа С.Н. Бегичева по записи Д. А. Смирнова; см.: Смирнов Д. А. Рассказы об А.С. Грибоедове, записанные со слов его друзей // А.С. Грибоедов в воспоминаниях современников. М.: Худ. лит., 1980. С. 208.

Грибоедов за месяц до смерти жаловался Паскевичу: «Кому от чужих, а мне от своих...» — см. письмо Грибоедова И.Ф. Паскевичу от 3 декабря 1828 г.

Настасья Федоровна <...> купила у княгини Мецкерской огромное имение в Костромской губернии — «крепость» совершена 1 ноября 1816 г.

«Я, — признавалась она позже, — не имея при покупке того имения собственных денег, продала рязанскую свою деревню...» и далее — цит. по: Пиксанов Н.К. Грибоедов. Исследования и характеристики. Л.: Изд-во Писателей, [1934]. С. 89.

Это было настоящее феодальное владение... и далее — цит. по: Пиксанов Н.К. Грибоедов. Исследования и характеристики. Л.: Изд-во Писателей, [1934]. С. 89.

Приказ, написанный почти военным стилем: «Сбе-ри сход и объяви всем крестьянам, что они проданы мне...» — из первого приказа А. Ф. Грибоедовой бургомистру от 17 ноября 1816 г.

Оброк по сто рублей с тягла был невиданный, вчетверо выше самого высокого оброка в округе — см.: Пиксанов Н.К. Грибоедов. Исследования и характеристики. Л.: Изд-во Писателей, [1934]. С. 91.

«Уверь всех крестьян, что я госпожа добрая и христианка, после и им слюбится» — из третьего приказа А.Ф. Грибоедовой бургомистру от 10 марта 1817 г.; см.: Пиксанов Н. К. Грибоедов. Исследования и характеристики. Л.: Изд-во Писателей, [1934]. С. 93.

Многочисленные и необычные перипетии этой борьбы сохранились в архивном деле «департамента полиции исполнительной» — опубликовано в кн.: Крестьянское движение в России в 1796-1825 гг. М.: Соц.-эконом. лит., 1961. С. 473-501.

Первый из ходоков, Никифоров <...> был приговорен к 35 ударам плетьюми и ссылке в Нерчинск на поселение — см.: Пиксанов Н.К. Грибоедов. Исследования и характеристики. Л.: Изд-во Писателей, [1934]. С. 105.

Тимофей Андреев 4 января 1819 года «утруждал...» — ошибка: «утруждал» царя крестьянин Тимофей Антонов; см.: Пиксанов Н.К. Грибоедов. Исследования и характеристики. Л.: Изд-во Писателей, [1934]. С. 117.

Семен Карпов <...> «сделал при сем случае то бесчинство...» — ошибка: «бесчинство» совершил крестьянин Семен Корнилов; см.: Пиксанов Н.К. Грибоедов. Исследования и характеристики. Л.: Изд-во Писателей, [1934]. С. 118.

Александр I приказал предать «дерзкого ходока суду»... — решение суда неизвестно.

Крестьяне, однако, заявляли, «что ни под каким видом не покорятся...» — из донесения командира костромского внутреннего гарнизонного батальона подполковника Кашпирова; волнения в имении были подавлены 28 апреля 1819 г.

Афронт — публичное оскорбление, позор, неудача.

Ее имение было отдано фактически под опеку, в управление шести соседней-помещиков — высочайшее повеление об этом последовало в 1817 г.: «Крестьян помещицы Грибоедовой поручить должному надзору и ответственности <...> соседственных с вотчиною ее помещиков...»

Грибоедова очень скоро продала имение княжне Долгоруковой — имение было продано в 1819 г.

Костромской губернатор — Карл Баумгартен.

Грибоедовское барство

Особняк Грибоедовых стоял на Новинском бульваре — до покупки в 1800 г. деревянного дома в Новинском близ церкви Девяти мучеников Грибоедовы жили в 1792 г. на Пречистенке в доме Ф. М. Вельяминова, в 1795 г. они снимали комнаты в доме Па-расковьи Шушириной на Остоженке, потом жили в сельце Тимиреве на Владимирщине, откуда, к 1800 г., получив небольшое наследство, Грибоедовы и вернулись в Москву.

Александр Федорович, в честь которого был окрещен и будущий автор «Горя от ума» — ошибка: дядю Грибоедова звали Алексей Федорович; крещен Грибоедов был в честь святого благоверного князя Александра Невского.

«В назначенный день, — вспоминает Лыкошин, — сошлись к нам к обеду профессора...» и далее — см.: Лыкошин В.И. Из «Записок» // А.С. Грибоедов в воспоминаниях современников. М.: Худ. лит., 1980. С. 33.

Это было во время Аустерлицкой кампании — имеется в виду кампания 1805 г., во время которой, 2 декабря, Наполеон разгромил союзные войска под Аустерлицем, после чего третья коалиция распалась.

Университет был только что преобразован — в 1804 г. был принят новый устав университета, назначен новый попечитель М.Н. Муравьев, увеличены материальные средства, изменился штат преподавателей и были открыты публичные курсы.

Пренебрежение к «французикам из Бордо» — ср.: монолог Чацкого о «французике из Бордо» в комедии «Горе от ума», д. 3, явл. 22.

«Много приятных воспоминаний оставило мне время, проведенное на школьных скамьях», — рассказывает Лыкошин — см.: Лыкошин В.И. Из «Записок» // А.С. Грибоедов в воспоминаниях современников. М.: Худ. лит., 1980. С. 34.

Позже здесь поместилась Румянцевская библиотека — библиотека и музейные коллекции графа Румянцева размещаются в «Пашковом доме» с 1862 г.

О многих профессорах Лыкошин вспоминает как о «галерее оригиналов» — см.: Лыкошин В.И. Из «Записок» // А.С. Грибоедов в воспоминаниях современников. М.: Худ. лит., 1980. С. 34-35.

Александрю Грибоедову шел всего 14-й год, когда он получил аттестат на звание «кандидата 12 класса» — см. примеч. к с. 17. Грибоедов поступил в Благородный

пансион Московского университета в 1803 г., в возрасте 13 лет; студентом словесного отделения Московского университета стал в 1806 г., закончил курс в 1808 г., получив звание кандидата словесности и гражданский чин 12-го класса; продолжая образование, в 1809 году слушал private лекции профессора Буле об основах философских систем; как вольнослушатель нравственно-политического отделения изучал естественное и народное право, политэкономия, энциклопедию права и систему российского законодательства. В 1810 г., когда Грибоедову исполнилось 20 лет, был произведен в кандидаты прав Московского университета; до 1812 г. он изучал также математику и естественные науки и был «готов к испытанию для поступления в чин доктора».

Хмелита Вяземского уезда — родовое имение Грибоедовых на Смоленщине.

Дочь *вышла замуж за князя Паскевича* — имеется в виду Елизавета Алексеевна (рожд. Грибоедова) (1795—1856) — кузина Грибоедова.

Барская жизнь грибоедовской Хмелиты кончилась в революцию — в настоящее время здесь открыт мемориальный музей А.С. Грибоедова.

А. Л. Бем

«Горе от ума» в творчестве Достоевского

Из кн.: Бем А.Л. У истоков творчества Достоевского. Прага, «Петрополис», 1936. С. 13—33. В основу статьи положен доклад, прочитанный 20 сентября 1930 г. на V Съезде русских ученых в Софии. Первоначальная редакция статьи: «Slavia», Прага, 1931, т. X, кн. 1. С. 88—108.

Иван Тхоржевский Грибоедов (1795-1829)

Из кн.: Тхоржевский Иван. Русская литература. Изд. 2-е. Париж, «Возрождение», 1950. С. 102-108.

«Лед и пламень» — цитата из романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин» (гл. II, стр. XIII).

Пушкин, прочтя «Горе от ума» в списке, привезенном ему в деревню Пуцциным, пришел в восторг... — И. И. Пуцин приезжал в Михайловское 11 января 1825 г.. «После обеда, за чашкой кофе, он начал читать ее вслух; но опять жаль, — рассказывает И. И. Пуцин, — что не припомню теперь метких его замечаний, которые, впрочем, потом частью явились в печати»: см. письма П. А. Вяземскому (28 января) и А.А. Бестужеву (конец января) 1825 г.; отрывок из первого напечатан в статье Вяземского о Фонвизине («Современник», 1837. Т. V. С. 69); из второго — в статье В. П. Гаевского «Дельвиг» («Современник». 1854. Т. XLVII. № 9. С. 20-21) и в «Материалах для биографии Александра Сергеевича Пушкина» П. В. Анненкова (СПб., 1855).

«О стихах я не говорю, половина — должна войти в пословицу» — цитата из письма А.А. Бестужеву, написанного в конце января 1825 г. (XIII. 139).

Грибоедов всегда казался Пушкину «необыкновенно привлекательным» человеком — см. «Путешествие в Арзрум»: «Я познакомился с Грибоедовым в 1817 году. Его меланхолический характер, его озлобленный ум, его добродушие, самые слабости и

пороки, неизбежные спутники человечества, — все в нем было необыкновенно привлекательно» (VIII, 461).

Как жаль, что Грибоедов не оставил своих записок — см. «Путешествие в Арзрум» (VIII, 462).

Даже год рождения его точно не установлен — см. примеч. к с. 17.

«Мы ленивы и нелюбопытны» — см. «Путешествие в Арзрум» (VIII, 462).

Готовиться к ученой степени, пройти три факультета... — см. примеч. к с. 133.

Пойти ополченцем против Наполеона... — 26 июля 1812 г. Грибоедов поступил корнетом в Московский Гусарский полк князя Салтыкова.

В двадцать два года начать «Горе от ума»... — см. примеч. к с. 17.

В жилах его текла, кроме русской, далекая струя польской крови... — версия о том, что родоначальниками Грибоедовых были польские выходцы Гржибовские, не имеет документального подтверждения и представляется весьма сомнительной.

«Словом и примером / Нас удержатъ, как крепкою возжсой. / От жалкой тошноты по стороне чужой» — цитата из комедии (д. 3, явл. 22).

«Как с детских лет привыкли верить мы. что нам без немцев нет спасенья» — неточная цитата из комедии «Горе от ума» (д. 1, явл. 7).

«Французик из Бордо» — см.: «Горе от ума», д. 3, явл. 21.

«Умному, доброму народу» — ср.: «Чтоб умный, бодрый наш народ...» — «Горе от ума», д. 3, явл. 21.

«Дым отечества» — цитата из стихотворения Г. Р. Державина «Арфа».

«По духу времени — и вкусу — / Я ненавижу слово раб» — см. примеч. к с. 18.

Юношей вступил Грибоедов в масонство — см. примеч. к с. 48.

Пушкин спрашивал Вяземского в письме: верно ли, что Грибоедов «написал комедию на Чаадаева?» — письмо П. А. Вяземскому от 1—8 декабря 1823 г. (XIII, 81).

«Пожалуйста, молчи. — я слово дал молчать» — реплика Репетилова (д. IV, явл. 4).

«Фу, братец, сколько там ума» — неточная реплика Репетилова (д. IV, явл. 5).

«Своя сел«бья» <...> «Студент» — см. примеч. к с. 43.

Впоследствии Грибоедов начал еще трагедию «Грузинская ночь» — см. примеч. к с. 83.

О его пьесе <...> Катенин отозвался так... — см. письмо Грибоедова к П. А. Катенину от первой половины января — 14 февраля 1825 г. — ответ на не дошедшее до нас письмо Катенина.

Чацкий <...> «это будущий декабрист», — сказал Герцен — имеются в виду статьи Герцена «Новая фаза русской литературы», где Герцен писал: «Образ Чацкого <...> появляется в последний момент царствования Александра I, накануне восстания на Исаак невской площади; это декабрист...»; и «Еще раз Базаров»: «Чацкий шел прямой дорогой на каторжную работу».

«Чацкий — единственное героическое лицо в русской литературе», — скажет Аполлон Григорьев — неточная цитата из статьи Аполлона Григорьева «По поводу нового издания старой вещи».

Грибоедов «закончил свою комедию в тульском имении у Бегичева» — см. примеч. к с. 20.

«Не могу пожаловаться: отовсюду коленопреклонения и фимиами» — см. письмо Грибоедова С. Н. Бегичеву от 4 января 1825 г.

Когда разразилось восстание декабристов <...> арестовать Грибоедова... — см. примеч. к с. 69.

Грибоедов отделался пятимесячным арестом... — см. примеч. к с. 69.

Еще несколько месяцев, и Грибоедов «с очистительным аттестатом» возвращается на Кавказ... — см. примеч. к с. 69.

Туркманчайский договор — см. примеч. к с. 21.

«Живой из Персии не вернусь» — см. примеч. к с. 21, 37—38.

«Вы не знаете этих людей», — говорил Грибоедов Пушкину... — контаминация из воспоминаний С.Н. Бегичева и записок А.С. Пушкина (VIII, 461); см. примеч. к с. 21, 37—38.

Грибоедов женился... — Грибоедов и княжна Н. А. Чавчавад-зе венчались 22 августа 1828 г.

Мадонна в виде пастушки Мурильо — см. примеч.

«Я чрезвычайно занят. Наблюдаю, чтобы отсюда не произошла какая-нибудь мерзость...» и далее — неточная цитата из письма Грибоедова В.С. Миклашевич от 17 сентября — 3 декабря 1828 г.

О вдове Грибоедова написана поэма Полонского — «Н.А. Грибоедова» (1879).

О Грибоедове сочинил Тьнянов <...> роман «Смерть Вазир-Мухтара» — см. примеч. к с. 103—121.

«Карикатуры ненавижу; в моей картине не найдете ни одной» — из письма Грибоедова П. А. Катенину от первой половины января — 14 февраля 1825 г.

«Изумительная по совершенству пьеса», — скажет начинающим советским писателям Горький — из статьи А. М. Горького «О пьесах»: «У нас образцово поучительной пьесой является изумительная по своему совершенству комедия Грибоедова...»

Чацкий — «добрый малый», как отозвался о нем Пушкин — см. письмо А. А. Бестужеву, написанное в конце января 1825 г. (XIII, 138).

А.М. Осоргина

А.С. Грибоедов

Из кн.: Осоргина А.М. История русской литературы (С древнейших времен до Пушкина). Париж, YMCA-Press, 1955. С. 246—262.

«Грибоедов принадлежит к самым могучим проявлениям русского духа» — цитата из статьи В. Г. Белинского «"Горе от ума", комедия в 4-х действиях, в стихах. Сочинение Грибоедова».

Грибоедов родился в Москве в 1795 году — см. примеч.

Пятнадцати лет он поступил в Московский университет — см. примеч. к с. 17 и 133.

Рассказывают, что однажды он на пари появился на бал <...> въехав верхом на лошади в бальный зал... — этот рассказ со слов А.А. Жандра записал Д.А. Смирнов.

«...Наши Катенин воскресил / Корнеля гений величавый», — сказал про него впоследствии Пушкин... — см.: «Евгений Онегин», гл. I, стр. XVIII.

«Беседа» — см. примеч.

«Студент» — см. примеч.

«Своя семья, или Замужняя невеста» — см. примеч.

«Молодые супруги» — см. примеч.

«Горе от ума» <...> *задумал чуть ли не с пятнадцати лет* — мнение основано на воспоминаниях В. В. Шнейдера, записанных Л.Н. Майковым: «Литературные занятия будущего автора "Горя от ума" начались еще в университете. Нередко читал он своим товарищам стихи своего сочинения, большею частью сатиры и эпиграммы. Однажды, в начале 1812 г., он прочел Иону и г. <В.В. Шнейдеру> отрывок из комедии, им задуманной...» О какой комедии идет речь, неизвестно.

«Горе от ума» было издано уже только после смерти Грибоедова... — первое полное издание комедии вышло в 1833 г.

Грибоедов был обвинен в заговоре декабристов, но очень скоро оправдался и был отпущен — см. примеч.

Туркманчайский договор — см. примеч.

Николай I <...> *назначил посланником в Персию* — после заключения Туркманчайского договора Грибоедов был назначен министром-резидентом в Персию 15 апреля 1828 г.

Ему было всего 33 года, когда он был назначен на ответственный пост посланника — см. примеч. к с. 17; в 1828 году, когда Грибоедов был назначен министром-резидентом в Персию, ему было 38 лет.

Изо всего русского посольства спасся один человек — первый секретарь посольства Иван Сергеевич Мальцев.

Пушкин в это время путешествовал по Кавказу и случайно встретил на дороге арбу... — см. «Путешествие в Арзрум» (VIII, 460).

Легкие комедии — см. примеч.

«Грузинская ночь» — см. примеч.

Грибоедов в одном из своих писем (к Катенину) говорит, что в лице Фамусова он изобразил своего дядю — вероятно, имеется в виду заметка Грибоедова «Характер моего дяди».

Статья Грибоедова «Загородная поездка» — у исследователей авторство Грибоедова вызывает обоснованные сомнения.

Недаром Гончаров сказал, что слова Чацкого были тем громом, при котором русский человек крестится — см.: Гончаров И. А. «Милльон терзаний» (Критический этюд) // А.С. Грибоедов в русской критике. М.: Худ. лит., 1958. С. 261: «... "ум" Чацкого, сверкающий, как луч света, в целой пьесе, разразился в конце в тот гром, при котором крестятся, по пословице, мужики».

Недаром Пушкин сказал, что комедия «Горе от ума» поставила Грибоедова на ряду с первыми нашими поэтами — см. «Путешествие в Арзрум» (VIII, 461).

«О стихах я уже не говорю — половина должна войти в пословицы» — неточная цитата из письма А. А. Бестужева, написанного в конце января 1825 г. (XIII, 139).

В.Н. Ильин
Горе от ума — вечное горе

«Возрождение», Париж, 1963, № 140. с. 65-82.

«Хоть поздно, а вступление есть» — цитата из романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин», гл. седьмая, строфа LV.

«Не понимаешь: насмешишь, мне будет жаль тебя» — Бл. Августин, «Исповедь».

«Но мерзок сердцу облик идиота. / И глупости я не могу принять» — цитата из сонета К. Бальмонта «Проклятие глупости».

«Как тень иль верная жена» — цитата из романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин», гл. первая, строфа LIV.

Сикофант, сексот — осведомитель, доносчик.

Екатеринбургская бойня — расстрел императора Николая II, его семьи и их верных слуг.

Злодеяние 1 марта 1881 года — убийство императора Александра II боевиками «Народной воли».

Непотребный листок («Дело») Ткачева — ежемесячный литературно-политический журнал (1866—1888).

Белинский заорал: «Разбой! пожар!» — реминисценция из «Горя от ума» (д. 2, явл. 5).

«Фельдфебеля в Вольтеры дам» — реплика Скалозуба (д. 4, явл. 5).

Монография Д. И. Чижевского «Гегель в России» — вышла в Париже в 1939 г.

«Духовный путь Гоголя» К.В. Мочульского — книга вышла в Париже в 1934 г.

Пресловутая «Басня о пчелах» Бернарда Манде-вилля (1670—1733) — в «Басне о пчелах» (1714) в аллегорической форме поэт критиковал буржуазные отношения.

Обскурантизм — крайне враждебное отношение к науке и просвещению, мракобесие.

По словам Христа, спасутся богоборцы, не совершившие хулы на Духа Святого — имеются в виду слова Христа: «Поэтому говорю вам: всякий грех и хула простятся людям; а хула на Духа не простится людям. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему; если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в этом веке, ни в будущем» (Мф., 12, 31—32).

Иов боролся с Богом — см.: Ветхий Завет. Книга Иова.

Пифическая, «сивиллина», книга — «Оракулы Сивилл» — собрание предсказаний.

Песнь Песней — Библейская книга «Песни Песней» Соломона.

Сублимация — утончение, одухотворение; в психоанализе Фрейда — преобразование вытесненного полового влечения в духовную деятельность.

Мартиролог — сборник повествований о христианских мучениках — вид церковной литературы, распространенной в средние века, или перечень пострадавших, замученных, а также перечень пережитых кем-либо страданий или преследований.

«Затея хитрости презренной» — цитата из письма Онегина к Татьяне («Евгений Онегин», гл. VIII).

«И каждый вечер за шлагбаумами...» и далее — цитата из стихотворения А.А. Блока «Незнакомка».

«Затейник зол — с улыбкой скажет Глупость, / Невежда глуп — зевая, скажет Ум» — цитата из эпиграммы Пушкина «На Каченовского» («Хаврониос! ругатель закоснелый») (1820).

Скерцандо — шутка.

Позитивизм — направление в философии и науке, исходящее из данного, фактического и несомненного, чем и ограничивает свое исследование, считая метафизические объяснения теоретически неосуществимыми и практически бесполезными.

Анархизм — безвластие; учение об обществе, которое в качестве руководящего начала признает только волю отдельной личности, отвергая авторитет и государственный строй.

«...Усыпительный Зоил / Разводит опium чернил / Слюною бешеной собаки» — цитата из эпиграммы Пушкина «Охотник до журнальной драки» (1824).

«Его капустою раздует, / Но лавром он не расцветет» — цитата из эпиграммы Е. А. Баратынского «Глупцы не чужды вдохновенья» (1828).

«Железный стих, облитый горечью и злостью» — цитата из стихотворения М.Ю. Лермонтова «Как часто, пестрою толпою окружен» (1840).

«Зленная мудрость» и *«голубиная простота»* — мудрость змеи изредка представляется достойной подражания, но в соединении с простотой голубя: «Вот, Я посылаю вас, как овец среди волков: итак будьте мудры, как змии, и просты, как голуби» (Мф., 10, 16).

«И он к устам моим приник...» — цитата из стихотворения А.С. Пушкина «Пророк» («Духовной жаждою томим») (1826).

«Война — отец всего» — определение Гераклита из Эфеса, иллюстрирующее мысль о том, что все происходящее основано на столкновении противоположностей.

«Ум, любя простор, теснит» — «Евгений Онегин», гл. VIII, строфа IX.

Арривизм — от франц. arriver — ухитриться, суметь, достичь.

Логос IV Евангелия — от Иоанна Святое Благовест - вование.

Эмпириокритический позитивизм — эмпириокритицизм — философское течение, отрицающее объективное существование материального мира и рассматривающее вещи как явления сознания, комплексы ощущений; *позитивизм* — см. примеч. к с. 219.

«Даже глупости смешной / В тебе не встретишь, свет пустой...» — цитата из романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин» (гл. VII, стр. XLVIII).

Энетелехия (энтелехия) — целеустремленность, целенаправленность как движущая сила, активное начало, превращающее возможность в действительность.

Конвергенция — схождение, сближение.

Дивергенция — расхождение признаков организмов в процессе их эволюции.

Труба архангела, от которой загораются небо и земля — имеется в виду первый Ангел из «Окровения Иоанна»: «Первый Ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю; и третья часть деревьев сгорела, и вся трава зеленая сгорела». (Откр., 8, 7).

А. А. Чацкий в «Горе от ума» Грибоедова Попытка развенчания героя

«Новый Журнал», Нью-Йорк, 1980, № 139. С. 92-102.

«Грибоедовская Москва» под пером Гершензона... — имеется в виду книга М.О. Гершензона «Грибоедовская Москва», впервые напечатанная в журнале «Голос Минувшего» (1913, № 11—12); отдельное издание вышло в 1914 г.

Лучшими списками считаются Булгаринский и Музейный... — основной текст устанавливается по практически идентичным Жандровской (1824) и Булгаринской (1828) рукописям с привлечением Музейного автографа, представляющего собой раннюю редакцию, основательно правленную автором.

«И дым Отечества нам сладок и приятен!» — цитата из стихотворения Г. Р. Державина «Арфа».

«Чем кумушек считать трудиться. / Не лучше ль на себя, кума, оборотиться?» — цитата из басни И. А. Крылова «Зеркало и обезьяна».

По мнению Пушкина. Чацкий неумный человек — см. письмо Пушкина А. А. Бестужеву, написанное в конце января 1825 г. (XIII, 138).

Убить героя 1812 года М. Милорадовича — Мило-радович был смертельно ранен 14 декабря 1825 года Каховским.

«По духу времени и вкусу / Он ненавидел слово раб...» — см. примеч. к с. 18.

Гончаров сказал, что эти изречения есть «милльон, разме-ненный на гривенники» — см.: Гончаров И. А. «Милльон терзаний» (Критический этюд) // А. С. Грибоедов в русской критике. М.: Худ. лит., 1958. С. 244.

Об авторах

Адамович Георгий Викторович (1894—1972) — поэт, критик, переводчик, мемуарист. В эмиграции с 1922 г., с 1923 г. жил во Франции. Один из влиятельнейших литературных критиков Зарубежной России, ведущий сотрудник газеты «Последние Новости» и журнала «Звено» (Париж). В 1939—1940 гг. — доброволец во французской армии. Автор книг: «На Западе. Стихи» (Париж, «Дом Книги», 1939); «Одиночество и свобода» (Нью-Йорк, изд-во им. Чехова, 1955); «Вклад русской эмиграции в мировую культуру» (Париж, 1961); «Комментарии» (Вашингтон, «В. Камкин», 1967); «Единство» (Нью-Йорк, «Русская Книга», 1967); «О книгах и авторах. Заметки из литературного дневника» (Париж, 1967) и др.

Бем Альфред Людвигович (1886—1945) — поэт, публицист, филолог, критик, переводчик. Ученый хранитель Отдела рукописей Библиотеки Российской Академии наук. В эмиграции с 1920 г. Жил в Варшаве, Берлине и Праге. Профессор Русского Народного университета. Русского Педагогического института и Карлова университета; секретарь Русского Педагогического бюро, член Пушкинского Комитета в Праге; руководитель объединения «Скит поэтов», редактор и издатель журнала «Скит» (1933—1937). В мае 1945 г., после вступления советских войск в Прагу, был арестован и погиб в заключении (по некоторым данным, покончил с собой). Автор книг: «К вопросу о влиянии Гоголя на Достоевского» (Прага, 1928); «Тайна личности Достоевского» (Прага, 1928); «У истоков творчества Достоевского» (Прага, «Петрополис», 1936); «О Пушкине» (Ужгород, «Письмена», 1937); «Достоевский. Психоаналитические этюды» (Прага, «Петрополис», 1938) и др.

Ильин Владимир Николаевич (1891—1974) — философ, богослов, историк литературы, музыковед, публицист. В эмиграции с 1919 г. Жил в Константинополе, Берлине и Париже. Приват-доцент Русского Богословского института в Париже, профессор Русской консерватории в Париже. Участник евразийского движения, соредатор «Евразийского сборника» (1929). Автор книг: «Преподобный Серафим Саровский» (Париж, YMCA-Press, 1925); «Запечатанный Гроб. Пасха Нетления» (Париж, YMCA-Press, 1926); «Шесть дней творения» (Париж, YMCA-Press, 1930); «Всенощное бдение» (Париж, YMCA-Press, б. г.); «Религия революции и гибель культуры» (Париж, YMCA-Press, 1987) и др.

Кизеветтер Александр Александрович (1866—1933) — историк, театровед, публицист, мемуарист, общественный деятель. Профессор Московского университета, член-корреспондент Российской Академии наук; член ЦК партии кадетов, депутат 2-й Государственной думы. Выслан из России в 1922 г., жил в Берлине и Праге. Профессор Русского Юридического факультета и Карлова университета, сотрудник ряда научных учреждений. Автор книг: «М. С. Щепкин. Эпизод из истории русского искусства» (Прага, «Пламя», 1925); «На рубеже двух столетий. Воспоминания 1881—1914» (Прага, «Орбис», 1929); «Исторические силуэты. Люди и события» (Берлин, «Парабола», 1931) и др.

Кульман Николай Карлович (1871—1940) — филолог, историк литературы, критик, публицист. Профессор Бестужевских курсов и Женского Педагогического института в Петрограде. В эмиграции с 1919 г. Жил в Белграде, Софии и Париже. Профессор и декан русского отделения при Сорбонне, профессор Франко-Русского института. Редактор однодневной газеты «Пушкин» (Париж, 1937). Воспитатель короля Сербского Александра.

Луганов Андрей — псевдоним Е.С. Вебер-Хирьяковой (ум. 1939), автора ряда статей и рецензий, опубликованных в эмигрантской печати. См.: Русская печать в Эстонии, 1918—1940. Био-библиографические и справочные материалы к изучению культурной жизни русской эмиграции. Сост. О. Фигурнова. М., ИМЛИ — «Наследие», 1998. С. 268.

Минорский Владимир Федорович (1877—1966) — ориенталист, дипломат, бывший первый секретарь и поверенный в делах русского посольства в Тегеране, впоследствии профессор Кембриджского университета. Подробнее о нем см., напр.: «Известия АН СССР. Серия литературы и языка... Т. XXVI, вып. 4. М., 1967. С. 398-399.

Никольский Александр Александрович (1864—1942) — публицист, журналист, общественный деятель.

Осоргина Антонина Михайловна (1901—1985) — историк литературы, автор книг: «История русской литературы (С древнейших времен до Пушкина)» (Париж, YMCA-Press, 1955). «Пушкин и его творчество» (Париж, YMCA-Press, 1969).

Пильский Петр Моисеевич (1879—1941) — журналист, критик, прозаик, публицист, мемуарист. В эмиграции с 1920 г. Жил в Кишиневе, Таллинне и Риге, возглавлял литературный отдел газеты «Сегодня» (Рига). Автор книг: «Тайна и кровь» (Рига, «Литература», 1927); «Затуманившийся мир» (Рига, «Граматы Драугс», 1929); «Роман с театром» (Рига, 1929) и др.

Плетнев Ростислав Владимирович (1903—1985) — критик, историк литературы. В эмиграции с 1920 г. Жил в Белграде, Праге, после второй мировой войны переехал в Канаду (Монреаль). Профессор Монреальского университета.

Погодин Александр Львович (1872—1947) — историк литературы, славяновед. Профессор Харьковского университета. В эмиграции с 1920 г. Профессор Белградского университета, председатель Русского Археологического общества, член «Союза Ревнителей чистоты русского языка». Автор книг: «Древние литовцы» (Вильно, «Литва», 1920); «"Идиот" Достоевского и "Калисте" де Шаррьер» (Белград, 1930) и др.

Святополк-Мирский Дмитрий Петрович, князь (1890—1939) — поэт, переводчик, критик, историк литературы, публицист, общественный деятель. В эмиграции с 1920 г. Жил в Польше, Греции, Англии. Доцент Лондонского университета; участник евразийского движения. Автор книг: «Чем объяснить наше прошлое и чего ждать от нашего будущего?» (Париж, 1926); «Две смерти, 1837—1930. Смерть Владимира Маяковского» (Берлин, «Петрополис», 1931; в соавторстве с Р. Якобсоном) и др. В 1931 г. вступил в Коммунистическую партию, принял советское гражданство и в 1932 г. вернулся в СССР. Арестован в 1937 г., умер в лагере.

Словцов Р. — псевдоним Николая Викторовича Калишевича (ум. 1941), журналиста и критика, штатного сотрудника газеты «Последние Новости» (Париж).

Струве Глеб Петрович (1898—1985) — сын П. Б. Струве, историк литературы, критик, поэт, публицист, переводчик, мемуарист. Лектор Лондонского университета, профессор Калифорнийского университета, почетный председатель Русской академической группы в США. Редактор ряда периодических изданий, публикатор собраний сочинений русских классиков XX века (Б. Пастернака, Н. Гумилева, Н. Заболоцкого, Н. Клюева, А. Ахматовой и др.). Автор книг: «Русский европеец» (Сан-Франциско, 1950), «Русская литература в изгнании» (1-е изд.: Нью-Йорк, изд-во им. Чехова, 1956) и др.

Струве Петр Бернгардович (1870—1944) — философ, экономист, историк, социолог, публицист, общественный деятель; член ЦК партии кадетов, академик, бывший профессор Петроградского Политехнического института. С 1910-х гг. постепенно перешел с марксистских позиций на позиции либерального консерватизма,

стал одним из лидеров правого, национального лагеря. В эмиграции с 1918 г. Жил в Лондоне, Париже, Софии, Белграде, Праге. Редактор ряда газет и журналов, глава многих научных и общественных организаций, профессор Русского Юридического факультета в Праге, Русского Научного института в Белграде. В 1941 г. был арестован немцами, однако пробыл в заключении недолго. Автор книг: «Статьи о Льве Толстом» (София, «Российско-Болгарское книгоиздательство». 1921); «Размышления о русской революции» (София, 1921); «Историко-социологические наблюдения над развитием русского письменного языка. Мысли и справки» (София, 1940); «Социальная и экономическая история России с древнейших времен до нашего, в связи с развитием русской культуры и ростом российской государственности» (Париж. 1952; исследование не завершено); его основные критические работы собраны в книге: «Дух и Слово. Статьи о русской и западно-европейской литературе» (Париж, YMCA-Press, 1981).

Тхоржевский Иван Иванович (1878—1951) — поэт, переводчик, историк литературы, публицист, мемуарист. В эмиграции с 1920 г. Жил в Париже, сотрудничал в газете «Возрождение» и иных изданиях. С 1937 г. — председатель Национального объединения русских писателей и журналистов в Париже. После войны — редактор журнала «Возрождение» (1949). Автор книг переводов: «Омар Хайям. Четверостишия» (Париж, 1928); «Новые поэты Франции» (Париж, «Родник», 1930); «В. Гете. Диван» (Париж, «Родник», 1931) и др. Создатель монографии «Русская литература» (1-е изд.: Париж, 1946, в 2-х тт.), которая вызвала бурную полемику в эмигрантской прессе.

Ходасевич Владислав Фелицианович (1886—1939) — поэт, переводчик, историк литературы, критик, публицист, мемуарист. В эмиграции с 1922 г. Жил в Берлине, Чехословакии, путешествовал, с 1925 г. — в Париже. Член Союза русских писателей и журналистов в Париже, сотрудник газеты «Возрождение». Автор книг: «Тяжелая лира» (Берлин, З. И. Гржебин, 1923); «Державин» (Париж, «Современные Записки», 1931); «О Пушкине» (Брюссель, «Петрополис», 1937); «Некрополь. Воспоминания» (Брюссель, «Петрополис», 1939) и др. Член Центрального Пушкинского Комитета в Париже.

Цеглин Михаил Осипович (1882—1945) — поэт, прозаик, критик, переводчик, мемуарист, издатель. В эмиграции с 1910 г. (в 1917—1919 гг. возвращался в Россию). Жил в Париже. Член Комитета помощи русским писателям и ученым во Франции и Союза русских писателей и журналистов в Париже. Соредактор журнала «Окно» (1923), редактор отдела поэзии журнала «Современные Записки». В 1942—1945 гг., после переезда в США, редактировал «Новый Журнал» (Нью-Йорк). Автор книг: «Прозрачные тени» (Париж, «Зерна», 1920); «Рассказы» (Берлин, 1924); «Декабристы. Судьба одного поколения» (Париж, «Современные Записки», 1933) и др. Часто выступал под псевдонимом «Амари». Умер в Нью-Йорке.

Яблоновский Сергей — псевдоним Сергея Викторовича По-тресова (1870—1953), поэта, переводчика, критика, мемуариста. В эмиграции с 1920 г., жил в Париже. Член Союза русских писателей и журналистов в Париже.

Содержание

От составителя

ИЗ НАСЛЕДИЯ РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ

«Цена крови» Грибоедова

В. Ходасевич. Грибоедов

Н. Кульман. А. С. Грибоедов (К столетию со дня кончины)

П. Струве. Лицо и гений Грибоедова

Речь, произнесенная на грибоедовском вечере Белградского Союза Русских Писателей и Журналистов

А. Погодин. Грибоедов как государственный человек

Петр Пильский. Грибоедов (К столетию со дня его смерти)

А. Кизеветтер. Грибоедов и его комедия

Сергей Яблоновский. Без Чацкого

Андрей Луганов. А.С. Грибоедов

А. Никольский. Александр Сергеевич Грибоедов

О романе Ю. Тынянова «Смерть Вазир-Мухтара»

1. Георгий Адамович. Смерть Грибоедова

2. Глеб Струве. Роман о Грибоедове

3. Д. Святополк-Мирский Роман Тынянова о Грибоедове

4. М. Цетлин

Р. Словцов. Мать Грибоедова

Грибоедовское барство

А. Л. Беем. «Горе от ума» в творчестве Достоевского

Иван Тхоржевский. Грибоедов (1795—1829)

А. М. Осоргина. А. С. Грибоедов

В. Н. Ильин. Горе от ума — вечное горе

Р. Плетнев. А. А. Чацкий в «Горе от ума» Грибоедова. Попытка развенчания героя

НАУЧНО-СПРАВОЧНЫЙ РАЗДЕЛ

Комментарии

Об авторах

ЛИЦО И ГЕНИЙ

Зарубежная Россия и Грибоедов

Ответственный за выпуск В. Е. Волков
Редактор В. А. Кожевников
Художник В. М. Мельников Корректор Е. А. Платонова
Операторы верстки Т. В. Покатов, М. И. Григорьев

Подписано в печать 20.02.2001. Формат 70х100 1/32.
Гарнитура «Академическая». Бумага офсетная. Печать офсетная.
Печ. л. 10,0 + 0,5 вкл. Тираж 5000 экз. Заказ № 3947.

ЛР № 071422 от 07.04.97
Издательство «Русский мир»

123459, Москва, Туристская ул., 19, корп. 5
Отпечатано с оригинал-макета в ОАО «Рыбинский Дом печати»
152901, Рыбинск, Чкалова, 8